Я догоню вас на небесах

Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен.

Я просыпаюсь рано. Лежу и боюсь — страх свивается у меня под сердцем во сне.

Начинает говорить радио. О перестройке. О катастрофах. Нынче многие умирают в немыслимых катастрофах. Это лучше — по крайней мере не скучно. Молодых жалко.

Включаю телевизор. Телевидение показывает катастрофы и видеоклипы. Видеоклипы очень похожи на катастрофы.

За окном город. Он на грани истерики. Со всего украдено. От всего откушено.

Мы станем сильными и подлинно великими, когда весь мир пройдет сквозь нас. Мир уже прошел сквозь нас. Оставил холод в наших сердцах.

Я подхожу к окну, чтобы взглянуть на небо, далекое и голубое. Говорят, оно в трещинах.

Старые немыслимые петербуржцы влачат по улицам ампирную мораль и потому, что сами они уже далеко позади греха, тычут ею в лицо молодым. Грех на медном коне обогнал стариков, обскакал орденоносцев и комсомол. Дети его догонят и обратят в свою пользу. Старики не пускают детей. Но понимают, что удержать их нельзя. Дети рвутся вперед. Старики пытаются придержать их рассказами о войне.

Ко мне приходит писатель Пе, мой фронтовой друг. Он приходит не каждый божий день, но все же часто. Он говорит: «Брось думать о небе. Ты же сильный мужик. При стечении обстоятельств мог бы стать кандидатом наук. Радуйся. Мы, старик, весело жили. Мы жили банкетно. Мы видели небо в алмазах. Мы боролись за урожай».

Он говорит уже не так гордо: «Мы, не думай, не виноваты. Не бойся дня».

И я повторяю себе каждое утро: «Не бойся дня. У тебя есть костюм, есть ботинки».

Я надеваю костюм. Я выхожу.

Город мой неопрятен. Голубое небо над головой, говорят, дало трещину. И

древние боги заливают мои следы скудным своим половодьем.

— Ой, не ходи ты чужими дорогами, — говорят они мне.

— Да кабы знать, какие дороги наши.

И я иду на войну. И в детство, где я был богат. Под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшееся, как пережженная гербовая эмаль.

Поезд был сформирован в Бологом только до Чудова: запломбированный пульман, цистерна, уголь, зачем-то коровы симментальской породы, осоловевшие от свежего сена, присыпанного отрубями и солью. И пассажирских вагонов два — старорежимные, зимние, с узкими окнами. Пассажиры — в основном женщины с ребятишками-школьниками. В основном ленинградки. И мужчин трое. Средних лет полувоенный с лобастым мальчиком-крепышом… Путеец высокого ранга, осанистый, хорошо выбритый, с той отмытостью кожи, которая бывает у людей, привыкших высыпаться и пользоваться парфюмерией. Путеец вез девочку лет четырех. Третий — парнишка шестнадцати лет, у которого ничего не было, кроме мучительной способности краснеть.

На станции Дубцы поезд стал. Серый от бессонницы машинист сказал, вернувшись из станционного зданьица, что откатит в Малую Вишеру: мост через Волхов разбомбили, в Чудово вот-вот войдут немцы. Кто-то из женщин его осадил: мол, насчет немцев в Чудове — вражеская пропаганда — за такое в висок получить можно.

Машинист посерел еще больше.

Полувоенный подтолкнул вперед своего лобастого сына, и они зашагали по шпалам. Брюки у них были подвернуты, заплечные мешки хорошо подогнаны. За ними потянулись женщины с кошелками и узлами. Поначалу их мотало от рельса к рельсу. Они дергали своих ребят — получалось, что ребята специально путаются у них под ногами. Потом движение наладилось.

Был август сорок первого года. Бубенчики льна звенели по Волхову.

Парнишка шел в Ленинград. Там у него была мать. Там у него был дом.

Станет этот парнишка солдатом — сержантом. Закончит войну в Берлине. В орденах и медалях, шрамах от ран, с заиканием от контузии. А на тот августовский теплый день он еще ни выстрелов не слышал, ни смерти не видел.

В первые дни войны, как и все его одноклассники, двинулся тот парнишка в военкомат, но был унижен и оскорблен черствостью военных чиновников, не желавших знать, что право на героизм — неотъемлемое право советского

человека. Потом решил, если уж не суждено ему участвовать в быстром разгроме фашистской силы, поехать на лето в деревню.

Оттуда он и возвращался, полный нервного страха, рожденного словами и образами, вдруг потерявшими смысл. Иногда он повторял про себя: «Осоавиахим», «Ворошиловский стрелок», «Броня крепка, и танки наши быстры». Не наполняя эти слова иронией, он как бы ощупывал их и, ощупав, клал на место.

Парнишка помахал машинисту рукой, и машинист ему помахал в ответ. Поезд пятился неуверенно, словно в туфлях без задника. Но вот фукнул паром в черный песок и пошел, набирая скорость. И, уже порядочно откатившись, машинист дал гудок, прощаясь с ними, решившимися на неведомое.

Люди шли по шпалам. Женщины в пестрых платьях. С ними ребята. Собственно, ребята и послужили причиной этого похода. Родители вывозили их из деревень, куда отправили еще до объявления войны. И путеец ездил за своей девочкой в деревню — наверное, жена его была деревенская. Сам-то из инженерской семьи, может быть, из профессорской, — наверное, тоже профессор.

Девочка прыгала со шпалы на шпалу и вскоре устала. Путеец посадил ее себе на плечи. Девочка закрывала ему глаза и смеялась. Он улыбался и целовал ей ладошки.

Парнишка замыкал шествие. Шел трудно. Ноги у него болели. Руки болели.

Из деревни в Бологое он отправился лесом. В лесном озере решил искупаться: когда ему еще так придется — поплавать в лесном озере, зеленом и прозрачном, как леденец.

Где-то посередине озера у него свело ноги. Сразу обе. Он бы не выплыл и утонул бы — исчез в безгласном лесу, видя все вокруг черным, захлебываясь и хрипя, позабыв о кролях и брассах. Но вдруг почувствовал, что стоит на чем-то непрочном.

Пообвыкнув, он осторожно окунулся, пытаясь под водой размять окаменевшие икры и пальцы ног, наползшие один на другой. Выпрямился вздохнуть — услышал шум автомобильного двигателя. Малоезженной лесной дорогой шла полуторка. Он закричал. Замахал руками. Полуторка остановилась. «Быстрее!» — велели ему. Но быстрее он не мог: «Судорога у меня!» Но все же поплыл, не шевеля ногами, принырывая, чтобы удержать тело в горизонтальности.

К нему саженками подмахал мужик, тот самый — полувоенный, который шел сейчас впереди всех со своим лобастым крепышом сыном. Мужик подтолкнул

его разок-другой. И помог встать, когда он выполз на берег. И помог в машину залезть. В кузове, уже на ходу, они оба оделись. Вот тогда старуха в белом платочке, завязанном под маленьким сморщенным подбородком, сказала: «Сейчас купаться нельзя. Судорога вся от тяжелых мыслей. Она в голове…»

Парнишку подташнивало. Ломило икры. А парнишка думал, что было бы даже смешно вот так утонуть в начале войны в пустом лесу, когда немец прет к Ленинграду. Парнишка негодовал. И от негодования у него дрожал подбородок и отсыревал нос. Сердце внезапно падало, он всхрапывал — это было рыдание, освобождение от смертельной тоски.

Впоследствии лесное озеро настойчиво возвращало его память к своему неподвижному мягкому блеску, к своей тишине. тоже мягкой и мягко-прохладной. Парнишка уверился, что он один жил тогда в озере — плавал и дышал, остальное все оцепенело в ожидании решения, жить ему или нет, и когда решение вышло положительным, кто-то, может быть души уже ушедших, подставили ему под ноги свои плечи.

Путеец иногда прыгал через шпалу, а то и через две. Девочка тогда смеялась. Слушая ее смех, парнишка стал согреваться. И в голове его стали возникать героические картины его будущих подвигов.

Самолет вынырнул из-за леса. Что летит немец, все поняли сразу. Но стояли, смотрели в оторопи и любопытстве к летательному аппарату и к летчику. Что им бояться, бабам? Видно же сверху, какое их войско ситцевое.

Самолет пошел низко над железной дорогой. Отделяясь от свистящего рева пропеллера, отчетливо и капризно застучал пулемет.

Пули расшвыривали щебенку, отрывали от шпал щепу. Этот смертельный пунктир надвигался. Женщины завизжали, бросились врассыпную, подхватив детей. Они падали, зарывались в высокие травы, вскакивали, кричали своим ребятам, чтобы те головы не высовывали. Ребята вели себя проще и собраннее.

Самолет прошел над парнишкой — грохот, взвихренный воздух, кресты. Парнишка даже не испугался, только рот открыл. Самолет ушел в перспективу и взмыл вверх.

В двух шагах от парнишки стоял путеец. Девочки на его плечах не было. Она лежала на шпалах. На правом боку. Руки прижимала к груди. Ноги ее слегка согнулись в коленях и скосолапились трогательно, как у всех малышей, когда они спят. Лицо было тихим.

Потом парнишка все думал, почему не прочитывалась на ее лице боль. И только

став взрослым понял, что ткани ее лица, никогда не знавшие страха, еще какое-то время жили и, отъединенные от сознания, успокоились, возвратились к привычному безмятежному состоянию, к состоянию счастья и радости, любви и тепла. Девочка лежала, как бы ожидая, что ее накроют мягким одеялом и поцелуют на ночь. И завтра все будет снова ярко и чудесно.

У парнишки в голове было черно. Ему хотелось пасть на колени от какого-то всеохватного стыда. Летчиков парнишка ставил превыше всего — летчики начинали двадцатый век. У него отчим был летчик.

Мыслей в голове у парнишки не было, только тоска.

«Он же летчик, — бормотал парнишка. — Как он мог — он же летчик…» — но эти слова нельзя было назвать словами, они уже не имели смысла. Смыслы рушились, как дома, как мосты, как храмы.

Подошли женщины с ребятишками. Они окружили путейца и его дочь разноцветным венком. Дети стояли рядом с матерями. И не плакал никто. А война, еще не осознанная как безумие, вдруг осозналась. Вдруг осмыслилась. И у всех заострились черты.

Солдаты в серых шинелях лежат на озимом поле. Вокруг ростки, миллионы зеленых лучиков. Солдаты похожи на не пропаханные плугом кочки, на плешины, куда не легло зерно. Эта картина будет для парнишки впоследствии как бы символом смерти на войне, ее безмерности — поле до горизонта и на нем все кочки, кочки… Но долго эта картина не держится, ее взрывает яркий августовский день сорок первого года. Девочка, скосолапив ножки, лежит на прогретых бурых шпалах. Девочка заслоняет все видения солдата. И голос ее обезумевшего отца заглушает все голоса: «Анечка… Анечка…»

А парнишка тот — я.

Часть, в которой служил Сержант — будем его покамест так называть, — шла на Потсдам через Михендорф и Потсдамский лес. Сержант по причинам разведки мчал на машине по другому шоссе вдоль узкого Тельтов-канала, торопился в свою бригаду, чтобы вместе со всеми, а может, и впереди других, попасть в этот город среди озер.

Сержант попадет в Потсдам, попадет, но в тот день он попал в окружение.

Остатки батальонов Девятой армии фюрера и просто одинокие немецкие солдаты, позабывшие номера и названия своих частей, отупевшие от бессонницы и отступления, заросшие грязью и злым волосом, стремились уйти за Эльбу.

В небольшом поселке в одну улицу — домов тридцать и все розовые, с красными черепичными крышами, — сгрудились пять «тридцатьчетверок», батарея гаубиц и бронетранспортер Сержанта — семь человек, включая водителя.

Поселок, названия которого Сержант так и не узнал, был зажат между кряжами, поросшими сосновым лесом, не подсочным, тонкоствольным, будто подстриженным, но матерым, кондовым — сосна к сосне, все красавицы.

На выезде из поселка «тридцатьчетверки» встретились с отступающей немецкой колонной, подбили три сине-черных «бенца» с радиаторами, похожими на кулаки. Техника, шедшая за «бенцами», попятилась, покатила в объезд, но пехота, усталая, злая и отупелая, пошла кряжами. С улицы поселка было видно, как она идет, — каждый солдат по отдельности. Каждый сам себе и оружие, и машина, и человек, полумертвый, отказавшийся от всех иллюзий.

Там, за Эльбой, он поднимет руки. Смотреть в глаза американцам, подняв руки над головой, ему будет все же полегче, можно сказать — совсем легко: американцеву маму не расстреливали, американцеву сестру не угоняли, американцева меньшого брата не били по голове.

Танкисты сразу же заперли входы в поселок: три танка в одном конце улицы, два танка в другом.

Капитан-танкист сказал молодому лейтенанту-артиллеристу:

— Поставь по две гаубицы позади нас, чтобы нам хвосты фаустами не подпалили. Да не стреляй, слушай, по ним — не воюй.

Сержант такую просьбу капитана мысленно одобрил: пока немцы уходят каждый сам по себе — не страшно, но разозли их, они тут же организуются, немцы это делают быстро — айн, цвай, драй! Сойдут с кряжей — и амба: пехоты в поселке семь разведчиков.

— А ты, Сержант, — сказал капитан, — ты, наоборот, постреливай. Стань в теньке, чтобы все видеть и слышать. Ты у нас основная живая сила. Так что постреливай. Пусть помнят — спускаться сюда не надо. Конец войне не тут, конец войне там. В Берлине…

Берлин и «конец войне» были недалеко — за лесом, за озерами и плотинами, за

поселками Николае-Зее, Целендорф, Лихтерфельде, маленькими и уютными, как ленинградская Стрельна. В той стороне, в небе, висела серая шапка пыли и копоти. Берлин гудел тысячами непримиримых звуков: криками атакующих рот, пулеметными очередями, ржанием лошадей — грохотом тротиловых ниагар.

Вот такая была дислокация.

Воевал в экипаже Сержанта Писатель Пе, тоже сержант. Парень смелый. По военной необходимости излишне вежливый. Но можно, наверное, так сказать — вежливо-незастенчивый. Имя у него было Валерий.

Когда в роту приехал майор из газеты писать очерк о разведчике, ему отрядили Валерия. Валерий майору рассказывать отказался, объяснил необидно, что сам имеет намерение стать писателем.

Майор посоветовал ему, с чего нужно начать: мол, с уважения к старшим и к чистой бумаге.

Теперь о певице по имени Розита Сирано.

Была у немцев такая певица, модная, как у нас Изабелла Юрьева.

Возил Писатель Пе маленький патефончик и, когда позволяла обстановка, слушал Розиту Сирано. Представлялась она ему в черных чулках и страусиных перьях — в этакой белой пене. Вокруг нее мужчины с тросточками, в тесных пиджаках, в канотье. И не вскипало у него к немецкой певице никакой неприязни, хотя, прямо скажем, была она ему чужая насквозь.

— Пойду пройдусь, — говорит этот Писатель Пе. — Может, пластиночка новая попадется.

— Ты понимаешь, что мы в окружении? — спросил Сержант.

— Тут все насквозь — если что, за мной дело не станет.

Ударила гаубица резко да еще с каким-то шлепком, это она подпрыгнула от выстрела на асфальте. Запахло горелой расческой. Не выдержал молодой лейтенант — пальнул.

Сержант подумал, подумал да и отправился с Писателем Пе — надо же осмотреть поселок. Может быть, воевать придется, если молодой лейтенант не возьмет себя в руки.

По кряжам над поселком шли немцы. По сосновому бору. Сержант чувствовал их движение, упорное и глухое, как будто шел по лесу пожар без пламени и без

дыма.

Солнце почти вплотную придвинулось к земле.

Перед домиками чернели тюльпаны.

— Зайдем сюда, — предложил Писатель.

Домик, им выбранный, отличался от других домиков окнами. Окна у него разные: и стрельчатые, и прямые, и круглые. Они придавали домику веселый пристальный вид, будто не Сержант рассматривал его, а он, домик, рассматривал Сержанта и находил его нестрашным. Но распотешил Сержанта цоколь, украшенный осколками чайной посуды с цветами и птичками. Осколки были вмазаны по всему цоколю, уплотняясь и укрупняясь к углам: там сияли половинки и даже целые блюдца.

Соседние дома — такие же двухэтажные, с дорожками из перекаленного, положенного на ребро кирпича, с белыми рамами и кустами бульдонежа, не подступающего близко к стенам, чтобы не заводилась на стенах сырость, — тоже были аккуратно сработаны, но не было в них проникающей во все детали согретости и умилительной колыбельности, такой, будто дом накрыт кружевами, и облака над ним не простые, но тюлевые.

Сержант покуривал, дожидаясь Писателя Пе с пластинкой Розиты Сирано, на которой будет изображена белая собака, слушающая граммофон, и улыбался фарфоровой выдумке. Был в ней какой-то детский подход к красоте, хотя, если подумать, желание Бога — есть детское желание прижаться к маме.

И захотелось Сержанту пить.

Сержант поправил автомат, приспособленный для стрельбы с ремня, поднялся на крыльцо неспешно и, нажав изогнутую кованую ручку с шаром-противовесом, потянул дверь на себя. Дверь пошла тяжело и бесшумно, выпуская на Сержанта мыльный запах тревоги и ожидания беды.

В чистой намастиченной прихожей у стрельчатого окна на подставочке стоял горшок с бегонией, похожей на вислоухого пса.

Из прихожей внутрь дома вели три двери и лестница наверх. Наверху Писатель Пе перебирал грампластинки. Одна из дверей, правая от входа, вела в подвал — жители во всех домах ютились в подвалах, побеленных и обставленных для ночлега.

Сержант прошел на кухню. Из водопровода вода не текла, но кран был начищен. Все было вымыто, выскоблено. Но не было мужика в этом доме, такого

старательного и умелого, — в стене у двери, ведущей во двор, торчал согнутый гвоздь. Забивали его зло, гвоздь согнулся, его так и оставили, не зная, что делать, как его выпрямить, не вытаскивая, и вытаскивать не желая — нужен был этот гвоздь, — наверно, натягивали в кухне веревку для просушивания пеленок в дождливые дни.

Сержант зачерпнул ковшиком воды из ведра — эмалированного, с крышкой. На столе стояли маленькие кастрюльки, в каких варят малышам манку и кипятят молоко. Сержант отодвинулся от стола.

Услыхав какие-то звуки, Сержант вышел в прихожую.

У двери в подвал стоял немец-солдат в грязной шинели, с лицом веснушчатым, плоским и светлоглазым. Впалость щек, и щетина, и воспаленные веки — особенно, дрожание губ — придавали ему вид помешанного. Он собирался с силами, чтобы открыть дверь в подвал, — поднимал руку и вновь опускал ее. Страшно было ему. Страшно не за себя. Сержант сразу понял, что это хозяин — вирт, — война сделала Сержантово сердце понятливым. Понял Сержант, что привело этого некрасивого плосколицего немца сюда, к этой двери в подвал, — там сейчас была та, кого он любил, может быть, больше жизни. Но понимал Сержант, что не надо было немцу это делать, надо было идти войной, не сворачивая к дому своему…

Немец увидел Сержанта. Пальцы его сжались в кулак до побеления в суставах. Губы, вмиг загрубевшие, растянулись в оскале. Винтовка у него была закинута за спину, у Сержанта автомат на ремне, ладонь на шейке приклада, палец на спусковом крючке. Но, наверное, не было в его лице надлежащей суровости — кулаки у немца ослабли, оскал преобразовался в улыбку, и в улыбке этой была то ли просьба, то ли согласие.

— Вирт, — сказал Сержант. — Хозяин?

— Яволь, — улыбка немцева стала растерянной, он забормотал шепотом: — Кинд… Беби… — А сам все тряс ручку двери…

Сержант левой рукой распахнул дверь в подвал.

— Гее! — сказал.

В темноту, в восковой свет свечи, вела крутая лестница.

Сержант отступил на шаг, закинул автомат за спину и кивнул немцу: ступай, мол, я тебя тут дождусь.

Улыбка немца стала смущенной, даже униженной. Он шагнул вниз, неуклюже и

тяжело, — наверное, нога у него была ранена, — стал спускаться. Шинель нараспашку делала его бесформенным и громадным в свете свечи.

Скорее всего тем, внизу, он показался зверем. Выстрел прозвучал сухой и негромкий, как шлепок мухобойки. Стреляли из маленького револьвера, наверное даже никелированного. Стреляла женщина — мужик, какой ни на есть, пальнул бы из двустволки или армейского оружия. Оружием Германия была завалена.

Солдат постоял секунду, схватился за живот обеими руками, подогнул голову и покатился по лестнице, громыхая винтовкой.

Сержант прикрыл дверь. Вышел на крыльцо. Шар солнца коснулся земли.

Вслед за Сержантом вышел на крыльцо Писатель Пе с пластинкой.

— У нас такая Розита есть, зашарканная. А эта, гляди, новая. — Он вынул пластинку из конверта и, заслонившись ею и щурясь, посмотрел на солнце, запалившее лес над поселком. Он ничего не знал о пришедшем домой хозяине. Потом он сунул пластинку в конверт и сказал: — У меня чувство, что она померла. Погибла в бомбежке…

Еще раз резко ударила гаубица — что-то почудилось молодому лейтенанту-артиллеристу в разливах закатного пламени. Короткими очередями отозвались пулеметы Сержантовой машины.

Ночью поток отступающих немцев иссяк.

Утром Сержант уже воевал в Потсдаме. Правда, войной это можно было назвать условно, поскольку Сержанту было велено от боя не уклоняться, но стрелять выше кустов.

— Понял? — спросил его генерал, командир части, именно он дал Сержанту такой приказ. — Ты ленинградец, ты понять обязан. Представь себе Петергоф. Довоенный, конечно. Это похоже. Парк прекрасный. За кустами мраморные Артемиды. Они хрупкие.

— Так точно, — ответил Сержант. — Понял. Немцы, если они там окажутся, будут стараться нас ухлопать, а мы в ответ будем весело палить в небо.

— Зачем весело — пали грустно…

А приказано было Сержанту прочесать королевский парк Сан-Суси.

Немцев в парке не оказалось ни военных, ни штатских — только солнце в

регулярных аллеях с подстриженными кустами, чистые стекла оранжерей да девы белого мрамора.

Одноэтажный дворец Сан-Суси, который дал свое имя всему ансамблю, тоже был пуст. В золотистых залах лежали горы летней дешевой детской и женской обуви — наверное, нечем было прикрыть драгоценный паркет от ужасных русских фугасов.

Не было на стенах ни шпалер, ни картин, и это было красиво — ничем не заслоненное рококо — из залы в залу, как ленты кружев.

Сержант действительно вспомнил довоенный Петергоф — военного ему увидеть не довелось, и по какой-то сложной ассоциации тот розовый домик с фарфоровым цоколем. Услыхал он свистящее хриплое дыхание немца-солдата, стук его тяжелой винтовки, упавшей к ногам жены, и песню Розиты Сирано, роскошно-доступную, как харч в дорогом ресторане.

Сержантом тем был я.

Писатель Пе с этим домиком меня, конечно, опередил: вставил его в какую-то свою абсурдистскую повесть — этот домик кому-то там снится. Он снится только нам — нам обоим.

Приходит однажды Писатель Пе — на груди галстук в косую полоску, брюки наглаженные, сам причесанный. Глаза удивленные, как у собаки, которой вместо каши с мясом дают компот.

— Неуютно мне, — говорит. — Надысь побывал я у студенток в библиотечном институте. Изжога…

— И что студентки?

— Молчат. Это тебе не университетский филфак. Слушай, у студенток филфака зубы в три ряда. Трехрядная гармошка. Хромка. Баян. А тут студентки тихие. Сидят, как пугливые птички. Но есть и крупные. В библиотечном институте чем крупнее студентка, тем больше она знает. Детерминанта у них, понимаешь, рост. Опора!

— Что значит «опора»?

— Слово. Слово было в начале — поэтому в жизни так много слов. Слово было лишь в самом начале — поэтому нужные слова позабылись. Слово в тебе самом. Надежды развеются, любовь пройдет — останется слово. Умирать будешь наедине с собой. Говорить только сам с собой. Если даже твои слова будут обращены ко всем. Если хочешь понравиться людям, иди к ним с вымытой

головой.

Писателю Пе нечего мне сказать. Когда он приходит ко мне, у его совести всегда вид отсутствующий. Помолчав, он восклицает громко и жизнерадостно:

— А как твое здоровье, старик? Надеюсь, тебя не очень беспокоит грыжа?

Говорю:

— Ее у меня никогда не было.

— Никогда… Так это же хорошо. Ты мне пивка не нальешь?

Я выставил бутылку пива. Писатель Пе набросился. Я выставил вторую. Писатель Пе закинул ногу на ногу. Для своего способа жить он изобрел метод трагического оптимизма, и сейчас, выпив пива, изображает ангела, выпорхнувшего из химчистки.

Я же представил себе дело так: приходит Писатель Пе в хорошем костюме к студенткам, читает им что-то не совсем готовое, не понимает, брат, что студенток нужно смешить, потом говорит им экспромтом, что вовсе не глаза, а наши вопросы есть зеркало нашей души. «Поспрашивайте, — говорит, — меня. Не стесняйтесь».

Студентки тихо разглядывают маникюр, тихо жалеют Писателя Пе и тихо дышат, гадая, кто же, кто встанет и, принеся себя в жертву приличию, задаст вопрос безвкусный, как взбитый белок: «Над чем вы сейчас работаете?»

Наконец этот вопрос произнесен. Писатель Пе дает невразумительный ответ.

Букет улыбок. Лукавство в глазках. Все довольны тем, что встреча кончилась. Писателя ведут на кафедру пить чай.

Но, оказывается, было все не так.

Сразу поднялась крупная студентка Мария. Активистка.

— Я, — говорит, — не удовлетворена. Творчество писателя Пе представляется мне излишне элегантным, изысканным, эстетским — комильфо. Так о войне не пишут.

Другие, мол, писатели изображают войну хлестко и очень правдиво. Не скрывая грязи. До сего дня она не подозревала, что писатель Пе воевал сам и даже награжден орденами, был самолично ранен и контужен, участвовал в сокрушении Берлина и даже имеет темные пятна в биографии. Тем более она удивлена. Покачивая бедрами:

— Ответьте, почему вы не описываете грязь войны?

Писатель Пе разоблачен, повержен. На нем стоит красивая нога в колготках за семь семьдесят.

И говорит он снизу:

— Студентка милая Мария. Видите ли, дорогая, в Великую Отечественную войну со стороны фашистов воевали асы, суперлюди, тигры, викинги, нибелунги, мертвые головы, белокурые бестии, а с нашей стороны учителя, художники, артисты, поэты, доктора. Я называю не профессию, но склад души. И не могло быть двух солдат с одинаковым внутренним зрением. Одному бегущему в атаку запомнилась цветущая сирень, другому — оторванная взрывом нога, о которую он споткнулся.

О Мария, почему вам требуется грязь как правда? Мы на войне, Мария, очень часто мылись. Даже под дождем.

— Вы могли съесть хлеб убитого?

— Конечно. Зачем убитому хлеб? Оружие ему тоже не нужно.

— И сапоги?

— Мария, солдаты на передовой были обуты в башмаки с обмотками.

Затем писатель Пе попробовал встать на ноги с помощью метафоры. Мол, представьте — из квартиры, где жил великий человек, все вынесли в музей. Сначала бриллианты, изумруды, произведения искусства, дорогую мебель, фраки. Потом мебель поплоше, белье, кухонную утварь…

И вот, когда квартира опустела, явились разыскатели — такие, с лихорадочно блестящими глазами. Где-то нашли окурок, где-то соскребли плевок. «Вот правда, скрытая от нас!» — воскликнули они, давясь восторгом. Побежал по их жилам кипяток ликования, и почувствовали они себя почти богами. А может, даже надбогами, ведь приобщение к великому через дерьмо — такая радость. И немцы в каждом кинофильме, такие ражие, такие Зигфриды, принялись резвиться под струей в фонтанах, водопадах, в Карпатах, в Альпах, в Арктике. А

наши люди, Мария, погружались в такую необходимую вам грязь.

Мария, вам не жаль, что в нынешнем искусстве золотоискателя вытеснил дерьмоискатель?

Тихие студентки-птички распушили перышки. Наверно, они не все любили отличницу Марию.

Но она не убрала свою красивую ногу с груди поверженного Пе. Она сказала:

— У ваших произведений хромает форма. Если вы выстраиваете гору Фудзияму, то гора эта пустая внутри.

— Я не выстраиваю гору Фудзияму. Я создаю сосуд. Чтобы вы наполнили его вином своей любви и своего воображения. Ах, вы не пьете. Увы! Я создаю сосуд из хрусталя, чтобы ваш любимый суп с большим количеством моркови налить в него было по меньшей мере неловко.

— Так и сказал?

— Ну не совсем. Профессора сидят, доценты, кандидаты. Примут на свой счет. Сказал: синдром судьи — услада неофита. Вы судите Деву Пречистую за целомудрие. Вы не устали, Мария? Великий Фидий создал чашу для вина, сняв форму с девичьей груди. Форма Фидиевой чаши совершенна — в сущности, солдаты идут в бой за Деву…

Я познакомился с Писателем Пе давно. Мы вместе воевали. Он не курил. Был непривычен к хмельному. Горд до строптивости. Когда окончилась война, ему еще двадцати не было. Он прожил трудовую жизнь, но на нем это вроде и не отразилось. Если бы ему пришлось выбирать из ста производств, он выбрал бы что-то слепящее — хрусталь или иконы.

Именно этот его осуществленный выбор влияет и на мое видение мира. Он так настойчив, а мне так смешно…

Над полем озимой пшеницы высоко в небе кружили итальянские бомбардировщики «Каприни-Капрони». Их называли просто «макаронники». Бомбардировщики не пикировали, вываливали бомбочки с высоты. Напитанная влагой земля взметывалась черными хвостами.

На озими топтались солдаты. Они пришли сюда первыми. Солдаты падали, сминая нежные ростки пшеницы, и засыпали. На межу они не желали падать, межа была крепкой, как корка черного деревенского хлеба.

Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном.

Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу — в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем, и он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно: все молодые солдаты, а их в роте было более двух третей, отравились и на долгое время потеряли охоту к вину, даже к разговорам о винопитии. А вина было много — Румыния. Спирт не давали, не давали и — нате вам! — выдали.

Башковитые старики придумали следующее: как только молодой обслюнявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легохонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и ухмылялись, как коты.

А этот, будущий писатель Пе, выпил полкружки спирта, запил водой, заел хлебом с консервами, расхрабрился и еще налил. Его дружки-приятели, я в том числе, стояли наготове с водой. Пе глотнул закипающий на языке спирт, схватил, не глядя, кружку, но в кружке той была не вода, но опять же спирт.

Дыхание Пе остановилось. Глаза вылезли. Их выдавливали изнутри коленом. В голову сунули раскаленный камень. Кожу исхлестали хлыстом. Облили чем-то неароматным.

Пе закружил по полю, сжимая бутылку слабыми пальцами. Он материл всех нас в ритме вальса. В «Каприни» он плюнул, но не попал. Один солдат рядом пожелал попасть в «Каприни» струей, но струю отнесло ветром на нас.

Аве, Мария!

Потом Пе отглотнул из бутылки еще глоток, уже весело и бесшабашно, и упал в воронку, мягкую, как илистый берег, — от пашни шел запах талой воды, — поднялся на локте, ласково оглядел поле, вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул, похожий на шкварку в ржаном тесте. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом.

Некоторые его товарищи, я в том числе, еще боролись с вращением планеты, но в основном уже спали, свернувшись калачиком в черных воронках. И никто не обращал никакого внимания на «макаронников», которые все закладывали виражи и бросали с небес свои бомбочки. Летчики, наверно, сфотографировали павших противников и, наверно, получили за храбрость и меткость при бомбометании итальянские медали.

Когда солдаты проснулись, суглинок, высохший на щеках, так стянул кожу, что нижние веки вывернулись и все они казались бешеными.

А на следующий день мы лежали в передовом окопе под дождичком, хоть и

бисерным, но весьма мокрым. Такое впечатление было, что он падал не с небес, а зарождался прямо над нами.

Чтобы вода со дна окопа не заливалась за шиворот, под голову я подсунул толстый кусок дернины.

И говорю:

— Спишь, Пе? А у меня задница так намокла и набухла, что, полагаю, стала белой и рыхлой, как рыбье брюхо. Полагаю, на ней можно сеять табак.

— Почему именно табак? Почему не сорго?

— Потому что курить хочется.

— Ты и мою и свою махорку выкурил — сдохнешь. Посмотри, бабочка под дождем. Ты когда-нибудь видел бабочку под дождем?

Бабочка порхала над бруствером, хотела сесть на землю, но земля была водой. Бабочка снова вздымалась. И снова садилась. И снова вздымалась. Но вот она нырнула в окоп, прицепилась под нешироким земляным карнизом и медленно, даже величественно, сложила крылья.

Писатель Пе сказал:

— Очаровательно.

Рядом с ним, втянув голову в воротник, унылый и многомудрый, сидел сержант Парин, старший группы. Мы должны были идти в тыл к румынам взрывать мост. Взорвали. Потом командование задавить хотело того, кто взорвал. Очень нужный был мост.

Не ломайте мосты, не взрывайте их, не бомбите — берегите, как храмы!

Вот Парин и говорит:

— Ну народ — сейчас в тыл идти, а они кто про задницу, кто про бабочек под дождем. Если говорить о чем, то о девках. Это самая главная тема войны — главнее математики.

— Извините нас, — ответил Парину Пе.

Он вообще извиняться любил. И сейчас считает извинение в числе главных средств налаживания коммуникации.

Сержант Парин погиб под Люблином, умер у Писателя Пе на руках. После

Парина я принял машину.

Как-то мы с Писателем заночевали в немецком городке, еще не занятом нашими частями. В разведку мы ходили вчетвером, но двое ребят, не разделявших нашу любовь к губительно мягким немецким перинам, потопали по снежку в бригаду с донесением, что в городе частей противника нет и фольксштурм не наличествует. Рассчитывали они и на жаренную со свининой картошку. Ротный повар у нас был артист — пел и всегда жарил картошку для себя, для командира роты и для разведчиков, обещавших вернуться. Повар любил смотреть, как разведчики «кушают», и все расспрашивал и выведывал: подходы, подъезды, где что и что как. Случайно в котле кухни мы обнаружили восемь штук шелка. Нужно отдать повару должное — шелк он припас для барышень нашего банно-прачечного отряда. Он роздал шелк при нас и все улыбался и шаркал ногой, как народный артист Ильинский.

Мы с Писателем Пе не первый раз ночевали в городах, еще не взятых. Танки — оружие для войны днем. Фауст-патрон — такая удобная и простая штука, — мальчишкам под силу и девушкам. Танк беспомощен в городе с узкими улицами, тесными перекрестками, низкими крышами.

В город, где нет противника, танки входят колонной с рассветом.

Тут мы с Писателем Пе их и поджидали с усталым видом: мол, не сомкнули глаз — все бдели. А как же иначе…

В тот раз даже замок в дверях ковырять не пришлось: хозяева спустились в подвал, позабыли его замкнуть. Мы пожевали на кухне курятину. У немца всегда вареная курятина в стеклянных банках на крайний случай — жили они голодно. Но ведь мы и есть крайний случай.

После курятины мы в спальню. Луна, снег и звезды освещение дают — крупное все разглядеть можно. Широкая кровать, подходы к ней с двух сторон, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный стол с зеркалом. Различаем, хоть и темно все же, — что-то розовое в мелкий горошек. Может, сиреневое. Может, даже голубоватенькое…

Нам, выходцам из коммунальных квартир, все эти оттенки в немецких спальнях казались чем-то греховно и непростительно буржуйским.

Залезли мы под перину, не снимая покрывала, чтобы кровать все же не казалась такой разоренной. Конечно, в башмаках и обмотках. Конечно, с автоматами — тут уж, греши не греши, — война.

Сверху перина. Снизу перина. Спим, как зародыши. Впрочем, у разведчика сон

как бы марлевый — вроде еще спишь и вроде уже проснулся.

И вот я понимаю, что мне на ноги кто-то садится, как на свое…

Я тоже сел, автомат наготове. Писатель Пе из перины торчит, готовый чуть что стрелять. А у меня на ногах женщина. По силуэту — пожилая. Это ее кровать. Она на ней ребят своих зачала, и, наверно, воюют ее ребята где-то незнамо где — тоже солдаты. А может быть, уже не воюют. Наверно, она пришла взять что-то из тумбочки.

Писатель Пе говорит ей:

— Пардон, мадам. Извините, пожалуйста.

«Пардон, мадам» — понимают все.

Руки ее взлетают к лицу и вперед, словно она хочет нас оттолкнуть. Еще бы! Город ожидал русских. Откуда угодно. На чем угодно — на ослах, на верблюдах. Но не из ее любимой старинной кровати. И она рухнула. Без крика, без стона.

Мы поправили перины, положили женщину на кровать, рассчитывая, что, очнувшись, она примет все за мгновенный кошмарный сон, за причуду уставших от страха нервов.

До утра дремали мы в пустой пивной при въезде в город. Ее хозяин предусмотрительно оставил двери незапертыми, чтобы русские их не сорвали с петель.

— Пе, — говорил я, — если бы ты свое «извините, пожалуйста» не произнес, может, она и не рухнула бы. «Извините, пожалуйста» несовместимо с войной. Лучше бы ты «хенде хох!» крикнул. Старуха потеряла сознание не от страха — от абсурдности ситуации.

В другой раз, ночуя в еще не занятом нами немецком городке, мы положили под подушку будильник — танки должны были пойти в шесть.

Когда будильник зазвенел и мы, моргая, уселись в перинах, в комнате было темно и холодно. Трое фольксштурмовцев устраивались у окна с фаустами и пулеметом. Они только что вошли. И мы, в общем-то, не смогли бы сказать с уверенностью, что разбудило нас, их приход или будильник. Наверно, будильник треском своим перекрыл пробудившее нас чувство опасности.

Все дальнейшее зависело от квалификации. Мы хоть и спали, но в ритме войны. Фольксштурмовцы, озябшие от безнадежности, засуетились. Винтовки они поставили к стене, и каждый пожелал взять непременно свою.

Лица их были серо-зелеными, как их эрзац-мыло.

Уходя, мы долго ополаскивали лицо и руки. Вытирались чистыми махровыми полотенцами, пахнущими лавандой. И, надев шинели, застегнули их на все крючки.

В небе солнце белого золота. Каждый лист в парке узорчат. Лужайки свежи. И вдоль дорожек мраморные девы с нежными припухлостями — в ожидании Пигмалиона.

Бронетранспортер, ощеренный стволами, подкатил, наконец, обратно, к дворцу Сан-Суси.

Дворец был удивителен своей пустотой — отмытый солнцем от наростов живописи, гобеленов и портьер. Нам захотелось пройти по нему еще раз, уже не торопясь.

У дверей стоял ефрейтор в новенькой зеленой фуражке с новехонькой самозарядной винтовкой Токарева. К стволу примкнут штык-кинжал. Рожа у ефрейтора наглая, стоечка хозяйская, как у осодмиловца на танцплощадке.

— Вот это хват, — сказал упрямо-медленный Егор. Перевалился через борт и подошел к ефрейтору. Тот штык перед собой выставил. И так это невежливо Егору:

— Назад!

— Сразу и назад. Мы — победители, желаем дворец осмотреть. Ты глянь-ка, глянь, какое небо — это же куст сирени, его господь нюхает.

— Сказано, назад! Капитана позову. Вы уже осматривали.

— Осматривали один раз. А ты, значит, за нами потихоньку по-за кусточками. На полусогнутых воюешь? Сохраняешь себя для крематория?

— Иди — стрелять буду!

— Стрельнешь — они тебя в эту дверь вколотят по крошечкам, по атомам, — Егор кивнул на нас. — Похоже, тебя мама от злости родила.

Ефрейтор сглотнул, прижался спиной к дверям, он понимал, что превысь он

какой-то допустимый в его положении уровень хамства — и его действительно в дверь вколотят. А вот Егор не понимал, — что же такое случилось? Почему этот ефрейтор перед ним не трепещет? Не восторгается? Не предлагает закурить? Не чтит?

— А по соплям? — сказал ефрейтору Егор.

— Под трибунал пойдешь.

— Да там же ничего нет, во дворце! Что ты охраняешь, ублюдок?

— Под трибунал пойдешь, — повторил ефрейтор, в голосе его уже вызревал визг. Сейчас он выстрелит. Не в Егора — в воздух. Прибежит начальник караула. Мы, конечно, уедем. Но не хотелось. Нам было обидно.

Мы, конечно, были герои. Мы даже понимали что-то, хотя у героев с пониманием туго, — чувствовали, что у такого вот ефрейтора мы, кроме злобы, других чувств не вызываем, что этого кота войны, такого гладкого от сала, сливок, девок, подкармливают и дрессируют на нас, как на мышей, а мы стоим под подозрением, под приказом об усилении дисциплины в армии вплоть до расстрела. Мы уже были лишними на войне. Какая там разведка? Зачем? Рвущийся к победному майскому дню фронт с маршалами, генералами, героями уже накрывала волна тылов — специалистов, экономистов, искусствоведов, прокуроров, комендантов и конвойных рот.

Егор психанул вдруг:

— Пустоту охраняешь, сука! А если я вот этой мраморной Диане да по титькам?

— Валяй, — ефрейтор осмелел снова, заблестел рожей. — Я двери охраняю во дворец. А статуи хоть разнеси. Мне они тьфу. Вы их катком. Во захрустят.

У бронетранспортера перед радиатором каток, чтобы можно было столкнуть и смять что-то, мешающее на пути.

Егор пистолет выхватил из-за пазухи.

— Нас сюда посылали, чтобы мы тут ни-ни, не зашибли, не повредили. Искусство! Не дай бог! А ты, гниль. Дерьмо собачье. — Егор навел пистолет на мраморную деву. — Я ее, курву Афродиту. Я, значит, воюю, а эти суки по кусточкам — и медаль.

Я выкатился из машины, прыгнул Егору на спину. Он долбанул меня локтем в солнечное сплетение так, что я скорчился под кустом барбариса. Ребята, показалось мне, были на стороне Егора, даже будущий писатель Пе,

интеллигент паршивый.

— Не будь свиньей, — сказал я Егору, икая и пуская слюну, он разбил мне живот, как пустой грецкий орех. — Другие тоже хотят.

— Чего хотят?

— Стрельнуть в нимфу.

— Пускай стреляют. Вон их тут сколько. Курвы.

Шофер Саша помог мне встать. Посетовал, что статуя не бронзовая, на бронзовой дырки можно было бы зачеканить.

Из машины выпрыгнуло все отделение. Парни называли места, в которые желательно было попасть с точностью до миллиметра.

— Они не спрашивали, когда Петергоф жгли. Может, нам тут и нос выколотить нельзя?

Ствол пистолета шарил по мраморному телу Девы. Егор выискивал местечко, куда вогнать пулю.

Наверно, в такие минуты что-то происходит в природе: облака стали темными, небо выцвело, парк с ровно постриженными кустами определился в перспективе, он собирался в одну точку там, за спиной Девы, и в этой точке должен был возникнуть Трактор — бешеная машина. Она бы ворвалась в парк, в тишину, где тяжело дышали мы и, затаив дыхание, стояли мраморные Артемиды. Вон как их много за свежей зеленью постриженных кустов. Торчат их головы. Их руки. Их пальцы почти прозрачные. Их груди — они вмещаются в ладонь… Трактор все сокрушит. Раздавит. Перемолотит. Бешеная машина. Мы были Трактором.

Раздался крик:

— В писю-ю! Бей в писю-ю!..

Кричал ефрейтор. Он пританцовывал у двери. Лицо его блестело от пота, губы были вывернуты. Он шевелил пальцами, похожими на окурки.

Егор прыгнул к нему, выбил у него из рук винтовку ногой, сорвал с головы новенькую зеленую фуражку и фуражкой той, захватив ее изнутри двумя пальцами, с наслаждением защемил ефрейтору нос. Пальцы у Егора были железными. Когда он их разжал, шкуры на ефрейторском носу не было. Из глаз текли слезы, и слова вымолвить он не мог. Егор поднял его винтовку и

зашвырнул в кусты.

Уже в машине, когда мы отъехали, Егор сказал мне: «Извини, сержант». Он был постарше нас и за свою холодную отвагу пользовался особым уважением. Он никогда не срывался — психануть мог любой, но не он, — он был спокойно-ленив. Но ефрейтор обжег его душу.

— Вот кусок, — бормотал он. — Вот ведь прыщ на сгибе. И главное, такие прыщи над вами, ребята, будут стоять.

— А над тобой?

— Я на Север подамся.

От дворца послышался выстрел. Это ефрейтор, достав свою самозарядную винтовку из кустов, вызвал начальника караула.

Но мы не прибавили скорости, мы не убегали, мы ехали себе по песочку гордо и несколько расслабленно.

У распахнутых чугунных ворот, ведущих в город, на зеленую безлюдную улицу, стоял кирпичный каретник. К стене его были прислонены высокие плоские ящики. Тут же штабелем лежали доски. И кучи стружек, не столярных, но чистых и ровных — лентообразных.

— Картины, — сказал я, не веря этому слову. Чувство, заполнившее мою душу, было бессилием вынырнувшего из глубокой гиблой воды: эта барабанная дробь сердца, эта флейта отрикошетившего снаряда — это осознание кровью того, что ты жив и удачлив.

Здесь: голубые облака, скирды свежих тополиных листьев над головой — деревья у сарая не стрижены, пряная тень и цветущие темные травы.

Там: парк Сан-Суси — высвеченные солнцем розовые дорожки, широкие и прямые, дворец, акварельно раскрашенный и пустой, как новенький детский садик.

Там: ефрейтор с ошкеренным носом. Там он люто страдает и пускает гадючью слюну — на нестрашных полянах.

Здесь: восторг и ужас гнездятся здесь, за дверью сарая. А вдруг все хлоркой облито и кислотой, и все в куче — узлом, как внутренности животных?..

Мы распахнули дверь — картины стояли плотно, как книги в шкафу, громадные, выше вытянутой руки.

Поскольку у каждого из нас после прицеливания в Афродиту что-то сгорело и в сердце и в голове, то при виде этих картин наши руки и все прочее: брови, губы, уши дернулись в противоречащем случаю направлении — мы жалко кривились, улыбались и даже стеснялись, как будто нас пригласили к столу, а мы не умыты.

— Тут же все… Миллионы… — бормотал Егор. — Это же лопни мои глаза. Это же… Зачем, спрашивается, дураку хрустальный рубль? — Последнюю поговорку Егор позволял себе только в минуты крайней растерянности.

Мы трогали холсты руками. Гладили лакированные поверхности, для чего протискивали руки между картин. Мы отчетливо, как стук часов, слышали усталое дыхание судьбы, чувствовали зыбкость и непрочность разума…

Такое солнце. Такой день. Такие стружки, пахнущие сосной!

Мы выдвинули один из шедевров осторожно, покачав его и убедившись, что ничто его не удерживает, не скребет. Картина полыхнула пурпуром, голубым шелком и женским телом. Глаза, затененные ресницами, глядели на нас с пониманием и тоской. Дева, похожая на ту, мраморную, была живой, дождавшейся Пигмалиона.

— А ты, сучонок, стой там, стой! — крикнул Егор. — Стереги пустой дворец. А я вот возьму сейчас закурю и спичку нечаянно уроню в стружки, — Егор вытащил спички.

— Перестань, Егор, — угрюмо предостерег его Писатель Пе. — И без твоих шуток страшно.

— Чего — перестань-то, чего — перестань? Я сейчас могу опозорить всю нашу армию. В другой день я хоть что делай — дурак, скажут. Ну, под суд отдадут. А сейчас… Никто ничего не скажет…

— Заткнись, — сказал я и шевельнул автомат.

— А-а… — протянул он скучно. — Ты, сука, можешь. — Заметив, как все подобрались, приготовились на него прыгать, Егор спрятал спички в карман. — Эх, вы, шпана. Я же теоретически. Распирает меня. Вы же не понимаете, что такой случай не каждому выпадает, что сейчас здесь присутствует дядя Бог. Миллионы! Страшенные человеческие судьбы. Национальная гордость фрицев. И я могу все спалить. И себя заодно. И вас. Житуха — она такая затейливая. После Победы уеду в Арктику — не смогу гнить по соседству с трудовой

сберегательной кассой. — Егор повернулся ко мне. Он был бледен, лицо его блестело, как полированная кость. — Хорошо, что ты на меня бросился, а не на ту Венеру — заслонить своим телом. Тебе бы я морду набил, а тому сучонку вонючему… Я бы его убил.

Егор слегка расшевелил картины, вытащил из какого-то прощелка между подрамниками узкое, длинное полотно. Его все не оставляла мысль о возникновении узлов судьбы и вплетении в эти узлы чьей-то воли, способной навлечь на людей кошмар. Егор считал, что этой волей сейчас был он. Но то ли Бог, то ли еще кто повлиял на него усмирительно.

«Что человека на острие удерживает? Не говорите, что знаете. Никто не знает. Может быть, бабка моя меня удержала. Я думаю — бабка…» — говорил Егор много позже.

На узком, длинном, метра полтора, полотне был написан вечер, вернее — «Вечер в пустыне», а может быть, «Караван на склоне горы».

Зной оседает как муть. Небо мглистое, хотя и ни единой тучки на нем. И караван верблюдов уходит вдаль. Написана картина прозрачно, в серо-золотистой гамме. Там, где это нужно, попонки на верблюдах, тюки, — лепными мазочками, как у Вермеера.

Мы прицепили картину к заднему борту транспортера, она поместилась как раз. Двери каретника закрутили на проволоку. И на всякий случай оттащили стружки подальше. Хотел я Егора оставить и Писателя Пе для охраны, но решил почему-то, что пик опасности для картин миновал, теперь они сохранятся.

Ехали молча, и я уверен, что все думали о какой-то давней своей удаче, такой, где они чудесным образом остались в живых. У меня в глазах блестело тихое круглое озеро в лесу под городом Бологое. Молчали птицы, молчали листья деревьев и что-то необъяснимое и непрочное подплывало мне под ноги.

Может, для этого часа, для этих картин в Сан-Суси я тогда был спасен.

Генерал стоял, окруженный офицерами, все знакомые — наши, один капитан — чужой. Мы развернулись перед командиром бригады с достойной лихостью и подпятились к нему задним бортом.

Я выскочил из машины, доложил, что задание выполнено. Парк чист. Дворец Сан-Суси пуст. У дальних ворот парка, в каменном каретнике, — картины.

— Там сухие доски и очень много стружек. Случайная спичка, окурок — и картин не спасти.

Генерал смотрел на уходящий по склону караван.

— Снимите, — сказал он своему адъютанту.

Пока адъютант и Писатель Пе отвязывали картину, я показал на карте каретник. Генерал послал туда полувзвод автоматчиков из роты управления.

— А вы, — сказал он мне, — немедленно отправляйтесь к Люндорфской плотине. Там уже командир вашего взвода.

— Я настаиваю на строгом дисциплинарном взыскании, — возразил чужой капитан. — За хулиганское нападение на часового.

У генерала нашего было спокойное лицо с чуть прищуренными глазами, высокий рост и высокий лоб. Посмотрел генерал на капитанскую фуражку, нам даже показалось, что он имел намерение сбить с этой фуражки паучка или пылинку, но он заложил руки за спину.

— Потерпите, капитан, война скоро кончится и они отсидят свое; я полагаю, об этом вы похлопочете. Можете идти, капитан… Да, приготовьтесь принять от нас картины по акту. Нужно, знаете ли, работать, а не куражиться у пустых дворцов… А вы что топчетесь, сержант? Задание получили и — бегом!

Я в машину взлетел. Саша-шофер дал газ. Но куда ехать, к какой плотине? Наш командир взвода стоял рядом с нашим генералом, и вид у него был такой, что мы ему как боевая единица совсем не знакомы, — может быть, даже, по его мнению, чересчур экзотичны.

Надо бы встать поперек своего пути. Самому для себя устроить плотину. Чтобы грустная вода памяти поднялась под горло, вскипела и, набрав мощи, привела в движение долота и сверла правды.

Собственно, о ком я в силах рассказать правду? Только о самом себе. Поэтому я не буду писать об атаках и языках — героическое не дает нам возможности быть к себе снисходительными. А без снисхождения к нам, беззаветным, правда станет неправдой.

Да, будучи хоть и озорным, но в высшей степени лояльным школьником-пионером, я выкалывал «козьей ножкой» глаза маршалу Блюхеру и маршалу Тухачевскому на портретах в школьном учебнике. Нынче они, уже не враги народа, поворачивают ко мне со страниц газет и журналов проколотые мною

глаза и не видят меня.

Мы ослепили их. Нам не приказывали, мы ослепили их сами, по велению сердца. Нам приказывали заклеить портреты бумажкой. Но сердце наше было свободно от Бога. И сильна была наша воля.

И захотят ли обиженные мною маршалы по прошествии времени иметь там на небе меня рядом с собой?

Или там все слоями — пообидно?

И тогда мой слой те, у кого в здоровом теле крепко держался здоровый дух, кого футбол и мытые уши чаще всего заставляли быть впереди других. Этот слой, наверное, самый мощный, самый обширный. В нем нет ни гениев, ни пророков — известно, дурак дурака ничему хорошему не научит, — так кто же в нем есть?

В нем есть мы.

Бронетранспортер медленно катил по улицам Потсдама, вдоль скверов и трехэтажных домов с парадными дверями, застекленными и заглубленными в стену, с приличными небольшими колоннами серого камня и чистыми необшарпанными ступеньками, ведущими к этим парадным дверям. У дверей на стене, чаще всего серой или темно-бурой, оштукатуренной под дикий известняк, так мне помнится, были прибиты эмалированные квадратики с половинку игральной карты — номера домов. На синем поле белые цифры.

Егор стоял у заднего борта с малокалиберной винтовкой и стрелял по этим номерам. Пульки выкалывали в квадратиках эмаль. Было скучно. От скуки мы зябли. И все же когда Егор вложил винтовку в руки Писателя Пе, тот поднялся и прицелился в очередной номер и выстрелил. Нам стало еще скучнее. Писатель Пе мазал и бранился: мол, и трясет сильно, и не шофер, а водило необученное, и не машина, а шарабан.

Саша-шофер рассердился, остановил машину у тротуара.

— А пошел ты, — сказал.

Писатель Пе прицелился в номер, все ждали, что он снова промажет, надо было, чтобы он снова промазал, но он не стал стрелять.

— Музей, — сказал он и выпрыгнул.

Бронетранспортер стоял у трехэтажного особняка с двустворчатыми стеклянными дверями. По обе стороны дверей пилоны с каннелюрами, капители

с ионическими загогулинами, над дверями герб, над гербом балкон — и какой-то во всем этом деле ампир, что-то конногвардейское.

А там, за дверями прозрачными, с начищенной медью, в просторном холле, в стеклянных шкафах-витринах экспонаты: роскошные мундиры с эполетами, шнурами, лентами, шлемы с плюмажами, с пиками на макушке, ботфорты и лаковые сапоги с высокими пятками, перчатки, ленты. Блеск золотых пуговиц и золотых позументов, синее и красное, черное и оранжевое, белое и серебряное.

Писатель Пе уже звонил в звонок. Тут же толпились все: Егор и Анатолий, Шаляпин, Паша Сливуха и я. Шофер Саша из машины не вылез.

— С одного музея мы уже схлопотали, — сказал он мрачно.

На звонок в холле появился старикашка с усохшей грудью и острыми плечиками — лысый и оттого ушастый. Выражение глаз его было настороженным, но не пугливым. Он был похож на старого лакея, который видел всяких господ, знает цену подкупу, шампанскому и благородным дамам. Был он в оттянутой на локтях вязаной бежевой кофте, толстых твидовых брюках, в толстой несвежей трикотажной исподней рубахе с начесом. Он застегнул кофту, чтобы рубаха из-под нее не выглядывала. И открыл дверь. А рубаха все равно высовывалась, и тонкая сморщенная птичья шея свободно проворачивалась в ее горловине.

Старик спросил, чего мы хотим. А Писатель Пе с подхалимской улыбочкой ответил ему:

— Музеум. Желаем посетить. Вен ман канн. Мы только что из Сан-Суси. Зер гут. Прекрасно. Шон.

Старик насупился, глаза его глубоко ушли под седые брови, он сделался похожим на старую, потерявшую память дворнягу или на сыча, упрямого и тупого; потом он вдруг закивал — «Музеум. Музеум…» — на его лице написалась какая-то блеснувшая ему надежда и некая хитроватая важность.

— Гешлоссен. Шлосс. — Старик попытался вежливо закрыть дверь, но Писатель Пе обнял его за плечи и внес в вестибюль, готовый, если надо, пол подмести.

— Верцайхунг, герр папаша. Мы интеллигентные люди.

Пять хищных рож сияли за его спиной.

— Шлос-с, — шипел старикашка, вяло шевелясь в объятиях Писателя Пе. Наверно, от нехватки воздуха голос его ослабел.

Тут вмешался Паша Сливуха. Отнял старикашку от Писателя Пе, кофту на нем

поправил и взял разговор на себя. Когда Паша Сливуха вдохновлялся, он мог даже немного поговорить по-немецки. В сельской школе в Рязанской губернии он считался очень способным к языкам и математике.

— Не бойся, папаша, вир аккуратен. Хенде нихт немен.

Паша запер входную дверь, дав тем самым понять старикашке, что других славян, мало ли их тут будет шляться, он не допустит — только мы, интеллигентные люди, способные на причастность к духовным ценностям. Перед Пашиным внутренним взором полыхала пурпуром Дева с той громадной картины, спрятанной в каретном сарае, уходил караван, увозил бирюзу, улыбалась избежавшая злой пули мраморная Диана с нежной грудью, легко умещавшейся в его ладонь.

Старичок кашлял.

Мундиры в витринах были красивы. Шлемы парадны. Сапоги начищены. От всего этого так и веяло кайзером и Мендельсоном. Одежда генералов всегда немножко для дам. И древние бравые полководческие выкрики, наверное, были похожи на «ку-ка-ре-ку!».

В воздухе стоял запах свечи и сердечных капель.

На стенах в холле висели картины в золотых багетах — битвы и натюрморты со съестным припасом: дичью, фруктами и овощами.

По второму этажу холл опоясывала колоннада. На потолке цвета снега висела сердитая люстра.

Мы шли по широкой мраморной лестнице тесным клином. Впереди Писатель Пе, как самый из нас просвещенный.

Наверно, не туда мы шли — старичок прокашлялся, наконец суетливо забежал вперед, раскинул руки крестом и запаниковал, борясь с одышкой.

— Найн! Шлосс! Верботен! Хальт! — выкрикивал он.

— Вир аккуратен, — терпеливо возражал ему Паша. — Хенде нихт немен. — Паша готов был помочь старичку почистить картофель, выколотить ковер, вбить, если надо, гвоздь в стену — у Паши чесались тимуровские прививки. Он похлопал старичка по плечу и открыл первую от лестницы белую с виньетками дверь. За ней была спальня с неприбранной кроватью. Стоял тот же запах сердечных капель. Мы переглянулись. Но и тогда еще ничего не поняли.

А старичок мышкой забежал в следующую комнату с такими же молочно-

белыми высокими дверями. И оставил двери открытыми.

Это был кабинет. Большой. Светлый. Строгий.

Когда мы, оробев, втянулись в него, старик сидел за письменным столом. Кулаком правой руки он опирался на колено, левую вытянул вдоль стола к лампе, отчего левое его плечо поднялось и круглая голова оказалась как бы на склоне гипотенузы — вот-вот покатится. Лицо его было поспешно гордым. Глаза окаймлены красными веками. И от этих красных век по щекам разбегались красные трещинки. Он был очень стар, но морщины не обезображивали его, к тому же по природе он, наверно, был смешливым.

И вот что — он не был жалок.

Он был потрясающе монументален в теплой исподней рубахе, окончательно овладевшей его воинственной шеей. На лысине у него темнело родимое пятно, как пупок, отчего голова делалась похожей на детский животик.

О господи, прости нас за грехи наши, но деда этого мы разглядывали сквозь влажную призму какой-то бессознательной, но безусловной симпатии.

На столе, большом, темного золотистого клена, под настольной лампой с золоченой ампирной подставкой и гофрированным абажуром из плотной мраморной бумаги, похожей на пергамент, стояла серебряная рамка и в ней портрет — рьяный кайзеровский генерал, усатый, с круглыми глазами, в шлеме с плюмажем.

Мы переводили взгляд с портрета на старика — это был он. Безусловно, он — реликт, хвощ, тиранозавр…

На стенах висели картины в багетах — баталии, пейзажи с руинами и впечатляющий портрет старика, тогда еще молодого генерала. На портрете он стоял ровно, без намека на малейшую вольность, стиснув колени и прижав локти к бокам, как на Большом Смотру перед кайзером.

Сейчас старикашка напоминал гимназиста, гримасничающего перед зеркалом в безнадежном порыве стать на минуточку отцом нации. От напряжения у старика вздулись вены на шее и на висках. Это его «ку-ка-ре-ку!» могло плохо кончиться. Все мы молчали.

Паша Сливуха вздыхал.

Вдруг он пошевелил старика за руку.

— Эх, гроссфатер. Наин зерсторен унзер херц. Гляйх шпрехен зофорт: «Их бин

генераль-аншеф». А мы что? Мы вам митфухлен.

Что-то в старом генерале надломилось. Он упал грудью на стол, вытянул перед собой руки, сухими кулачками ударил по блестящему дереву. Паша Сливуха очень душевно погладил его по голове. Острые лопатки старика, как обломанные надкрылья, шевельнулись под вязаной кофтой.

И я, и Писатель Пе подумали об одном — о женщине, упавшей в обморок возле своей кровати, из которой мы вылезли, как из броневика. Но ей было легче, она могла, очнувшись, списать нас как галлюцинацию — болезнь измученного страхом мозга. У старика такой возможности не было…

Наверно, все же надо было бы ему надеть добротный костюм — на роль истопника он не годился, на роль шута — тем более. Но не было противника, равного ему по чину, он это предвидел, — не перед кем было шпагу ломать. А вот комедию…

Он застонал, заколотил кулачками по столешнице.

Мы вытолкались из кабинета. Но не ушли.

Егор и Анатолий на балкон вылезли, дверь туда была приоткрыта для воздуха. Писатель Пе исчез — наверно, наткнулся на граммофонные пластинки, отыскал Розиту Сирано. Шаляпин брякал на рояле собачий вальс. Паша Сливуха появился откуда-то взъерошенный, поманил меня в короткий коридорчик на задней стороне особняка.

Окна тут выходили в сад. Я думал, он кухню нашел с чем-нибудь вкусным, но он открыл незаметную среди прочих дверь.

Это была большая кладовка, снизу доверху набитая добротными кожаными сундуками и чемоданами. Ясное дело — хозяин в свое время много воевал и путешествовал, может быть, даже в Африке.

— Ну и что? — спросил я.

— А то — почему он свою амуницию не поклал в сундуки, а выставил ее на обозрение? Почему не смылся перед нашим приходом?

— Старый потому что. Никому не нужный.

— Нет, он дает понять, что он чихал как на Гитлера, так и на нас. Это его такой надменный сарказм. Недаром он генерал-аншеф.

— Почему ты думаешь, что аншеф?

— А может, генерал-фельдмаршал…

Но тут послышалось:

— Комм, фрау, комм…

Мы с Пашей выскочили на галерею.

Ходоком у нас был Шаляпин. Но он играл собачий вальс.

Писатель Пе откуда-то с третьего этажа вел за руку женщину лет пятидесяти — может, генеральскую дочку, а может быть, генеральскую экономку, но очень важную.

Она шла сдаваться величественно и надменно.

Писатель Пе подвел ее к кабинету.

— Герр генераль весьма кранк. Паша, скажи ей, что у ее аншефа может случиться кровоизлияние в мозг. Ферштейн? — спросил Писатель у важной дамы. — Герр генераль ер бин гросе кранк. — Писатель Пе считался у нас знатоком медицины. Он роды принимал у коровы. На Украине. Литр самогона заработал.

Больше в генеральском доме нам делать было нечего. Мы попросили фрау, чтобы она за нами закрыла, и посоветовали ей либо занавесить двери шторой, либо убрать мундиры из витрин — эта отчаянная наглость старику уже не по годам и не по здоровью. Да и промашка в замысле — у наших солдат любознательность превалирует над почтительностью.

Она кивала, то ли улыбаясь нам напудренными щеками, то ли презирая. Что ж, она старика знала хорошо — ей было виднее.

У бронетранспортера мы нос к носу столкнулись с капитаном, желавшим нас засадить. Он обшарил нас взглядом — не тащим ли мы из этого особняка что-нибудь. Тогда бы он нас скрутил за мародерство — шкуры с носа ефрейтора для нашего ареста все же было, как ни верти, маловато. Потом капитан подошел к дверям.

— Музей! — сказал он удивленно. — Везет вам на музеи.

А мы ему сказали:

— Это не музей, капитан. В этом доме наш знакомый генерал-фельдмаршал проживает, старинный заслуженный антифашист. Вы уж приглядите за стариком, не сочтите за труд. Сердце у генерала-фельдмаршала от радостной встречи с нами частит. Мы на вас надеемся, капитан.

Комендантские капитаны любят хвататься за пистолет, но этот был все же умный. Он сказал даже не очень зло:

— Доберусь я до вас. Наглецы.

А там наверху, в кабинете, перед своим блистательным портретом умирал старик. Сам виноват, не нужно было даже в мелком лукавить. Надо было встретить нас в самом красивом парадном мундире и в шлеме с плюмажем. Мы представили себе старика — в красно-синем, с золотыми пуговками. Вот он спускается по мраморной лестнице. Останавливается на середине… И переламывает шпагу о колено. Можно было бы ее подпилить предварительно. А важная дама несет нам всем на серебряном подносе кофе. Мы говорим: «Зер гут. Гитлер капут».

И все-таки интересное дело — выбор врага. Для капитана врагами были, конечно, мы, причем уже давно, и, как враги, вызывали в нем самую сильную страсть — немцев он готов был любить. Он станет их благодетелем и в конце концов почетным гражданином города Потсдама и окрестностей. Для нас же врагами были не он и не его дурак ефрейтор — мы о нем уже и позабыли, — у нас был впереди Берлин и многое другое. Впереди были мы сами.

О Мария, я понимаю, что не смог насытить ваше любопытство к неопрятному. Вот если бы мы изнасиловали важную напудренную даму! А умирающий старик — кому он нынче нужен?

Он нужен мне.

Когда мне в руки попадает школьная «козья ножка», я думаю о красных полководцах: маршале Блюхере и маршале Тухачевском.

От этих мыслей сдавливает виски. И тогда потсдамский старикан бросается на стол лицом, вытягивает руки и стучит кулачками по лакированной столешнице. Если бы не старческие пигментные пятна, не седые волосы на вздутых венах, его руки могли бы показаться детскими — своей беспомощностью. Такая судьба для красных маршалов была бы во сто крат страшнее.

Они зачтут мне то, что я дошел до Берлина, и встретят меня, пускай не с распростертыми объятиями, но и не ослепленные обидой.

Писатель Пе (причудливый каприз, конечно) утверждает, что часто по ночам беседует со старым генерал-аншефом — о странных судьбах немецкого и русского народов, о волхвах, о феях. О том, что Крошка Цахес, один из самых изощренно современных персонажей, не вылупился из недр общественного сознания, как из фольклорно-инкубаторского яйца: Гофман был милосерден к людям — Крошку следует понимать как злой туман, поднимающийся по воле фей, на стыке романтического и меркантильного.

Вы же, Мария, требуете разоблачения волхвов, срывания покровов и упразднения непорочного зачатия, прекрасной выдумки зороастрийцев. Непорочное зачатие, Мария, как предприятие вне греха, вне войны и вне корысти, как предприятие, замысленное исключительно во имя грядущей Девы и грядущих знамен любви, более не ритуально — оно насущная необходимость всех.

Путеец поднял дочь. Прижал к груди. Постоял в растерянности, даже в смущении. Из его горла вырвался хрип, он сказал нам что-то, скорее всего: «Извините», притиснул девочку к себе, вскрикнул: «Господи!» — и пошел обратно в Дубцы, все убыстряя и убыстряя шаг.

Женщины глядели в центр круга, где только что лежало тело девочки, но вот их ситцевый венок смешался; плача, они сошли с пути: на ржавых шпалах, на щебне, среди пятен мазута алела кровь.

Потом я видел много крови, но никогда она не была такой акварельной.

Женщины шли чередой. Впереди молодая, с головой, похожей на осенний осиновый веник, и две ее большеглазые дочки. Позади всех, чуть приотстав, шагал я. Убитая девочка закрывала мои глаза ладошками, как совсем недавно еще закрывала отцу…

Но надежда сноровиста и живуча. Она пробилась в сознание словом «переправа»! Ну взорвали мост, разбомбили, победим — отстроим. Широкий и легкий, как лезвие бритвы. А на это время наладят переправу: буксир, баржу или речной пассажирский пароход, Волхов — река судоходная.

Мне представились молчаливые пожилые саперы, свайный пирс из тесаных желтых сосен. Саперы курят махорку. Лицо, шея, мысок на груди, кисти рук у них цвета хорошо копченных колбас, а вот лоб, плечи, руки — белые. Когда они моются, это видно. Острые топоры они заворачивают в вафельные полотенца.

Саперов не было.

Переправы не было.

Полувоенный и его сын-крепыш отчерпывали воду из полузатопленной зеленой лодки, принадлежавшей, наверно, смотрителю моста или обходчику — в ней лежали весла и форменная железнодорожная фуражка.

— Нас возьмите! — Женщины полезли в лодку и совсем ее утопили бы, но полувоенный сказал резко:

— Нельзя, гражданки! Лодка течет. — Он был хмур и правдив. — Сначала мы вдвоем переправимся на ту сторону — Вова без устали будет отчерпывать. Я достану там хорошую лодку, большую. Найду добровольцев на весла, может быть, даже катер. Переправим всех. Не волнуйтесь, гражданки, потерпите еще час-полтора.

Женщина с осиновым веником на голове долго глядела на тот берег. Дочки ее скинули сандалии, зашли в воду, и война отступила от них. Сначала они взялись брызгаться, потом сняли платья и поплыли — по дну руками.

Переправится полувоенный — за нами катер пришлют. Два катера!..

— Сына оставил бы, — сказала полувоенному женщина-веник. — Может, он уже там...

Ее поняли все, даже дети. Девочки вылезли из воды, схватили свои платья и сандалии.

— Что это вы? — с тревогой и возмущением сказал полувоенный. — Этого не может быть. Что это вы?.. — Он вгляделся в тот берег: глухие черные крыши, березы, снова крыши, тополя, как зеленые горы, и опять крыши. — Мы переправимся. Вова будет отчерпывать... — Полувоенный провел лодку по мелководью, впрыгнул в нее, расставил белые икрастые ноги и навалился на весла.

Мы смотрели, как они удаляются, как поклевывают лодку, пронзают ее насквозь солнечные ножи.

Посередине реки, в светлых нестрашных брызгах, без огня и грохота, лодка исчезла. Немцы вколотили в нее снаряд резко, как гвоздь в мокрую доску.

Женщины подхватили ребятишек, бросились от кромки берега в кусты.

Тихо стало. Так тихо бывает в зной. Солнечная метла запахала реку, и снова — нет горя.

Мы ждали: может быть, выплывет полувоенный, может быть, его сын-крепыш. Когда поняли, что никто здесь не выплывет — течением отнесет, чувство вины охватило нас всех, будто мы подтолкнули полувоенного, поторопили.

Женщины вдруг уставились на меня. Дыхание мое прекратилось, как в перетопленной бане.

— Возвращайтесь в Окуловку, — сказал я. — Оттуда на Кириши. Там, наверно, поезда идут. А я вниз по реке. Вам с ребятами не пройти, да и кто знает, что там...

Еще полчаса назад женщины, полные решимости и боевого духа, не стали бы меня слушать, даже смотреть не стали бы, но сейчас разум их повернулся в сторону реальности и здравого смысла. Кто-то попросил меня, если дойду, позвонить мужу. Другие тоже забеспокоились. Нашлась тетрадка, карандаш. Я записал телефоны и адреса. И они потянулись назад к Дубцам, вдруг уставшие и разобщенные. Осталась только «веник» с дочками.

— Мы с тобой, — сказала она. Ее дочки подошли ко мне, взяли за руки и строго, как младшие сестры, на меня посмотрели.

Мне стало неловко даже думать об их матери как о «венике». Но худа она была, и желтые волосы дыбом, хотя, я это уже понимал, не лишена женственности и привлекательности.

— Как вашу маму зовут? — спросил я девочек.

— Наталья.

В моде тогда были Ната и Тата. Наталья — звучало, как если бы Анну назвали Нюрка.

— Может, лучше «Наташа»?

— Не лучше. Она «Наташа» не любит. Так ее ейный муж называл. Она его ненавидит. «Наталья» — чего тебе не нравится.

— Наталья Сергеевна, — сказала «веник» с ухмылкой.

Это меня устроило.

— Пошли, — сказал я. — Наталья Сергеевна, вы себе отдаете отчет?

— Я никому отчетов не отдаю, даже себе, — сказала она.

Мы пошли. Девочки впереди, вприскочку. За ними Наталья Сергеевна. И, поотстав, я. Насвистывая.

Поселок вниз по реке назывался Волховская пристань.

На улице никого. И на самой пристани никого. И никаких пароходов.

Старик высунулся из будки. Сказал:

— Ушли пароходы — все уплыли…

Я сел на скамейку, лицом к мосту. Его не было видно. Но я видел. Он был нарисован на небе — многоарочный и бесконечный.

Я любил мосты. Я верил в них. Верил в звезду, в слово, но больше всего в мосты. Мост для меня был главным знаком. Мне даже во сне мосты снились и снятся сейчас. Но особенно в детстве. Они вели меня в какой-то чудесный город, пропахший морем. Мне туда и сейчас очень хочется.

Мосты! Величественный Понт дю Гар, виадук Гарби, мосты через залив Ферт-оф-Форт, мосты Хокусая, мосты Марке, мосты деревянные, деревенские, над которыми неподвижно висят стрекозы.

Потом я взрывал мосты, и всегда у меня перехватывало дыхание, когда разламывалась сталь, ферма с хрустом, даже как бы со стоном, опускалась в воду. Это как человек, убитый у реки, — голова в воде, а ноги на берегу — это как бы двойная смерть.

До вечера я просидел на пристани. Наталья Сергеевна с дочками пошла разузнать «о возможностях транспорта» — так она выразилась.

Пришли ее дочки, принесли хлеба, соли, луку. Посидели рядом, повздыхали, как вдовы, и проскрипели:

— Лодку воровать будешь.

Они заглянули мне в глаза, прикоснувшись лбом к моему лбу, как кошки. Что они увидели в моих глазах — не знаю, но в их глазах была тайна, тайна полного

детского доверия.

Кроме мостов я люблю довоенных детей и довоенный хлеб. Детей я тогда воспринимал сердцем — контактно. А хлеб просто-напросто до войны был вкуснее.

Девочек звали Аля и Гуля. Они мне открылись: мол, Аля — по-настоящему Ариадна, а Гуля — Евдокия.

Лодок было много, они соприкасались друг с другом, стукались друг о друга и будто тянулись острыми мордами к кормящей руке.

Когда сумерки загустели, я отвязал лодку, единственную, в которой валялось весло — рулевое, небрежно вытесанное из доски, но с достаточно длинным веретеном.

Наталья Сергеевна пришла еще засветло с большой ношей сена, перевязанной ее пояском.

Навалив сена в лодку и разровняв, она с дочками легла в нос. «Подвергать девочек такому риску она не имела права», — я так думал и поглядывал на нее свирепо. Но она вроде не замечала моих взглядов, была спокойна и углублена в себя.

Я вытолкнул лодку в течение. Мне показалось, что на берегу в тени будки стоит старик. Наверно, это была его лодка.

Я не опасался, что нас прибьет к занятому немцами берегу, река здесь плавно изгибалась, я боялся, что, безвольно плывущих, нас занесет в камыши, туда же, куда вынесло полувоенного и его сына. Может, они изранены осколками и от потери крови не могут выбраться на берег? А может быть, выбрались? Скорее всего, выбрались. Почему они должны утонуть — снаряд развалил лодку, их мог и не задеть.

Но что-то говорило мне: дурак, правде надо смотреть в лицо.

А какая она сейчас, правда? А какое у нее сейчас лицо?

А лицо ее — надежда.

Я тогда так думал.

То, что я лодку украл, меня не тревожило. До той поры, пока я не написал этой фразы, я с уверенностью мог сказать, что в жизни ничего не украл. Теперь поправочка выйдет — я украл лодку, для кого-то, скажем, для старика сторожа,

может быть единственное, что в ту пору имело реальную цену.

За бортом шуршала волна, она катила быстрее лодки. Звезд на небе было много. Беззвучно трепетали августовские зарницы. На реке что-то ухало — на реке всегда что-то ухает. Сеном пахло и смолой. Девчонки спали, как два котенка, прижавшись к матери. На левом берегу нет-нет да постреливали. Иногда пулемет вскидывался, как дурной пес.

У Натальи Сергеевны юбка сзади задралась, белели ее ноги. В темноте было не разобрать, но, наверное, тощие. Получалось, что я заглядываю ей под юбку. Я принялся отыскивать Полярную звезду, а ее и искать не надо — вот она, и обе Медведицы, и Лира, и Сириус и Бетельгейзе.

Вскоре я, будь что будет, сел в корму, взял весло.

Весло сразу ударилось в черную массу, я вздрогнул — может, полувоенный? Но то был труп лошади. Зарница осветила реку. Впереди плыл еще один труп, и еще… Мне казалось, что рядом с конями плывут телеги. И мокрые гимнастерки вздулись на спинах возниц, навсегда окунувших лицо в воду.

Сколько времени мы плыли в этом обозе…

И я старательно отводил глаза от ног Натальи Сергеевны.

Утром мы были в Киришах. Спросили ближайший поезд на Ленинград. Путейцы кивнули на состав, груженный каменным углем.

Наталья Сергеевна достала из сумки две простыни, закутала в них девчонок. Села рядом в своем платье с короткими рукавами — белом в синий цветочек с черными сердцевинками. Я достал из рюкзака свитер, хоть и бумажный, но толстый. Протянул ей.

— Мог и раньше подумать, — сказала она. С того момента, когда мы вылезли на берег, она то ли улыбалась, то ли форма губ у нее стала ироничная.

— Вы спали.

— Женщину для дела всегда разбудить можно. Это во-первых. Во-вторых, не спала, мне было страшно — за всех нас, за всю Россию.

Я угрюмо вытащил из рюкзака две рубашки, стираные, но не глаженые, и надел их поверх той, что была на мне.

— Ты прав, капитан, — Наталья Сергеевна раскутала девочек, напялила на них еще по два платья и снова закутала в простыни. Девочек мы посадили между

собой и, не дожидаясь, когда состав тронется, все четверо мирно заснули.

Осмыслить настроение ленинградцев августа сорок первого года — дело весьма нелегкое: город наполняли беженцы, но всем еще верилось в некую быструю блистательную победу — вот остановится фронт на заранее подготовленной позиции и покатит назад. И без остановки прямо в гнусное логово. Первые миллионы погибших уже лежали в земле, но для советских людей верховная совесть была еще ничем не запятнанной бронзой, сверкающей нравственным превосходством войн справедливых над войнами несправедливыми, и атеисты гневались, не понимая, как это Бог терпит такую гниду и сволочь Гитлера.

Сейчас понимание войны прямодушное, античное, — смерть, независимо от фирменного знака на атомных головках.

Атомная зима! Неделя — и весь мир в сосульках. Растаяв, они отравят атмосферу густым зловонием, но никто этого не заметит. Никто не поделится воспоминаниями о розах. И ни Фидий, ни сэр Исаак Ньютон не воскреснут на мертвой земле, ни Эль Греко, ни Себастьян Бах не сойдут с пустых небес.

Первой блокадной зиме так и не воздвигли памятника, даже если отнестись снисходительно к танцующей бронзе Аникушина. Скульптура, живопись тут бессильны. Литература тоже. Блокада не породила эпоса. Не была сентиментальной. Тогда от чего человек заплачет? Через что поймет? Можно музыкой и поэзией вызвать рыдания, такие очистительные, но не воссоздать бесконечную боль блокады.

И какая-нибудь студентка Мария в своем затянувшемся до седин подростковом самоутверждении, вильнув бедром, скажет: «Довольно! Хватит! Американец Хайдер голодал полгода. Речи толкал в защиту мира. Они, мол, речи, оказывается, полезные при голодании, как витамин „Б“. Может быть, благодаря речам ленинградцы выжили в блокаду. И памятник пора создать речам».

Ногами бьем чечетку.

В руках пучок газет.

И сердце замирает от кошмара…

Товарищ Сталин, вы большой ученый и даже, извините, вы поэт. Товарищ Берия был тоже не слабак. Лысенко — тоже был ветвистый академик. Все, как один, Герои Соцтруда.

Еще бы выяснить, что же такое соцтруд?

Все это затуманивает мой разум, когда я пытаюсь отыскать в себе цвета

блокады, ее звуки — не грязь, не копоть, не стоны и хрипы, а чистые цвета и звуки.

Мы бьем чечетку, делаем шпагат. И все-таки, студентка милая Мария, я вам рекомендую раскапывать дерьмо не для того, чтобы найти дерьмо погуще, но чтобы отыскать хоть что-нибудь святое.

Состав с углем остановился в центре города, у Боровой. Мы соскочили с платформы, сняли девочек и побежали к трамвайной остановке.

Шлагбаумщица, старая женщина, окликнула нас, сдерживая смех, посокрушалась и вынесла из будки чайник с теплой водой: «Девочкам умыть личики». Ткнула Наталью Сергеевну чайником в бок, спросила:

— Ишь, вы трое беленькие, а братишка твой темный?

— Он врожденный урод. Я в папу, а он в соседа. Когда он родился, у меня волосы встали дыбом на всю длину — так и хожу метла-метлой. Но он добрый, — Наталья Сергеевна обняла меня за плечи и провела мокрой ладошкой мне по лицу.

— Наверно, в трамвай не пустят, — сказал я.

Шлагбаумщица успокоила:

— Пустят. Сейчас таких, как вы, много. Немец Кингисепп взял. К Гатчине подступил.

Мы молча пошли к трамвайной остановке.

На Невском пересели на «пятерку» — Наталья Сергеевна жила на Большом проспекте Васильевского острова, я — в Гавани.

Я не был в Ленинграде полтора месяца. Город за это время изменился мало. Правда, Гостиный двор пугающе напоминал острог. На других магазинах забранные досками витрины были оклеены плакатами и выглядели повеселее.

Автобусы были редки. Это я заметил — моя мать работала в автобусном парке водителем. С год назад она перешла в таксопарк на Конюшенной площади, но опять-таки водителем автобуса.

На Шестнадцатой линии я помог Наталье Сергеевне с девочками сойти и сам сошел.

— Ну, — говорю.

— Чего? — спросила она.

— Попрощаться. Вы мне обузой не были.

— Приходи, капитан. Дай запишу адрес. Нам с тобой было весело. — Она записала свой адрес в тетрадку под адресами женщин, шагающих в Окуловку. Наверное, они еще идут — с ребятами по шпалам… — Если бы ты нас не взял, мы бы еще знаешь где околачивались?

Она, конечно, издевалась. Как бы это я их не взял? Я мог только от них удрать.

— Представления не имею, где бы мы околачивались — может, уже в плену. Как немец прет — обалдеть. — Послюнив платок, Наталья Сергеевна оттерла уголь с моей щеки и поцеловала. — Послушай, капитан, зови меня просто Наталья. Неужели это так трудно?

Аля и Гуля потянулись меня поцеловать, пришлось присесть.

— Приходи, пожалуйста, у нас пушка есть и кинжал черкесский.

Со стороны можно было бы подумать, что я действительно ее братишка — девчонкам дядя Леня. И когда они на меня сердятся, они надувают губы, глядят исподлобья и говорят мне: «Ты нехороший дядька Ленька».

Взгляд со стороны в этом рассказе нужен еще потому, что описание внешности героя всегда получается убедительнее от третьего лица, нежели от первого.

Он был крепким пареньком, еще по-детски длинношеим, с приятной внешностью, какую принято называть интеллигентной. Волосы носил длинные, видимо выдержав большую борьбу с официальным школьным парикмахерским каноном, спортивной модой и представлением матери о гигиене. Мать поливала ему в кухне на голову из чайника и говорила хриплым табачным голосом: «Ты завейся. Я тебе щипцы куплю».

Но старший брат его не порицал. Старший брат тоже носил длинные волосы. Это было у них как заговор, как тайный знак.

Дома никого — ни соседей, ни матери. Коридор пустой и длинный. В коридоре ничего не держали, так было договорено, — и в кухне ничего лишнего. В каждой комнате часы тикают — у каждого жильца свое время — одному в самодеятельность бежать, другому идти в церковь.

Я не успел лица помыть, только грязь размазал, как раздался звонок в дверь. Это была почтальон — тетя Луиза. Она глядела на меня как-то медленно, и

тоже медленно и брезгливо кривился ее рот. Она сказала: «Явился» — и подала мне конверт. У нее было их несколько, одинаковых.

Мы, конечно, издевались над ее котом-кастратом Христофором, таким громадным и таким жирным, что когда он, извиваясь, как гусеница, передвигался, брюхо его волочилось по земле. У него был пушистый прямой хвост. Он был чудовище.

Тети Луизино брезгливое выражение не было связано с моим отношением к ее коту: все-таки мы ему сострадали, хоть издевались над ним словесно. Он нас не боялся, даже в руки шел — тяжелый, как больной ребенок. Да и не было у тети Луизы выражения брезгливости — она еще не привыкла к этим конвертам и, зная, что в них, не могла не рыдать.

Красивая студентка Мария, отличница и активистка, обвинила писателя Пе в том, что в его сочинениях часто плачут.

О боже! О Мария! Ваши пальцы, пахнущие луком, конечно, могут объять необъятное, даже поцарапать его или ущипнуть, но парадигмой слез все же являются слезы Марии-Девы, омочившие лицо Христу.

В жизни нашего с писателем Пе поколения было так много поводов для слез, что их не спрячешь ни в ирониях, ни в сарказмах, ни в эмалевом небе среди орденов и медалей. Когда нам заявляют, что мы заплатили за победу двадцатью миллионами жизней, то, может быть, пора спросить: но почему так дорого? И слезы бессилия накатятся на глаза — мы заплатили вдвое — втрое — вчетверо, чтобы вернуться к человеческому, не пожелав в конце концов стать ни полубогами, ни получертями.

Сколько себя помню, я никогда не плакал. Это не облегчило мне жизнь, не подняло ее над жижей. Мать утверждала, что я не плакал с рождения и ей приходилось шлепать меня ладошкой по голому заду, чтобы вызвать слезы. «Ну хоть слезиночку. Я думала, что ты бесчувственный. Ты все равно не плакал, только смотрел на меня удивленно, кряхтел и улыбался».

Я не заплакал и в тот раз, когда прочел похоронку на моего брата Колю. Мне казалось, что это обман, но обманула меня не военная канцелярия, обманул меня Коля — бросил одного и ушел, а он никогда меня не бросал. Он и меня научил не бросать.

Он был всегда впереди, и я шел за ним. Я ему не подражал, это было невозможно, у нас были разные характеры, природа определила нам разные цели. Мы вздымались по разным лестницам, но он был всегда выше. И непотому, что старше, — мое сердце училось у его сердца.

Я спрятал похоронку в свой школьный портфель и вышел на лестницу.

Почтальон с красными глазами спускалась сверху.

— Тетя Луиза, не говорите маме об этом письме, — попросил я.

— Ты его не порвал?

— Нет. Я его спрятал.

— Нехорошо это. — Она посмотрела на меня пристально, и мы оба поняли, что думаем об одном и том же: известие о моей гибели мою мать не сломило бы, но брат Коля…

— Ладно, — сказала тетя Луиза. — Иди умойся.

Я умылся и нажарил картошки. На столе лежали продовольственные карточки и записка от матери — она повезла людей на окопы. Приедет через неделю и снова уедет. По числам выходило — сегодня.

Я могу признаться, что в блокадную зиму чаще вспоминал брата. Брат был ласковее со мной. Наверно, он и был мне матерью, а мать — по распределению ролей — отцом, финансовой силой, дланью, меня наказующей.

Брат был богаче меня родственниками — у него была мать, был я, были отец, три мачехи, третья — прекрасный человек, тетя Валя, и еще братик маленький с фиалковыми глазами и сестричка — совсем крошка, суровая и непреклонно властная. «Гу-у!» — говорила она, когда хотела сказать, что никакой расхлябанности не потерпит.

В ранние годы, в моменты нашей отчаянной бедности, брат брал себе всегда меньший кусок. Я его не понимал, мне думалось — он сам больше и кусок ему следует больше, но все же научился у него, понял, что это так естественно и потому не натужно.

В школе он учился на тройки. Уроков не готовил. Бросал портфель под кровать и уходил куда-то или садился читать. Школьная программа не устраивала его своей линейностью и слабоструйностью. Струйность, тем более слабую, он не признавал. Он обучался сам. Вливал в себя премудрость тазами, ведрами,

бочками. Причем в этих тазах и бочках было столько всякого — но очень мало школьного.

И вот он вдруг прославился на весь район как гений математики. Но гением он не был — так он считал.

В шестом классе он подружился с девочкой — девятиклассницей. Стал ходить к ней в гости, беседовал с ней и ее родителями, пел с ними. Я спрашивал ехидно: «Втрескался?» Он пожимал плечами: «Не ощущаю».

Девочка хромала по всем точным наукам, ей нанимали репетиторов, поскольку тройка в их семье считалась отметкой зазорной, как неприличная болезнь. Мой брат взял в библиотеке нужные учебники — в библиотеках его обожали, — проштудировал все по девятый класс включительно, а может быть, с разгону-то и далее. Он так толково объяснял своей подружке и алгебру, и химию, и физику, и тригонометрию, что она, как человек честный-благородный, поведала об этом чуде учительнице. Брат стал в школе звездой. Заведующая учебной частью приглашала инспектора роно и гороно — показывала им феномен. Брат отвечал на их вопросы спокойно и невозмутимо — и получал законные тройки по другим предметам, поскольку материал по истории, литературе, географии воспринимал только через свои умные книжки. Он предлагал взамен уроков поведать педагогам о Шопене и Кьеркегоре.

Физически он не был сильным, но, когда я слишком возгордился своими спортивными достижениями и, этак поводя плечами, стал подтрунивать над некоторыми головоногими, он пригласил меня на крышу нашего шестиэтажного дома и с легкого толчка выжал стойку на жиденьких перилах ограждения — правда, на углу.

Вопрос: когда он успел подготовиться?

Ответ: он знал всегда, что это необходимо, что это время придет, — он был старшим братом.

Я глянул вниз и понял, что он опять вырвался вперед, как стрела, как орловский рысак супротив осла, и дело тут не в стойке. Кстати, стойку на перилах я освоил быстро.

После седьмого класса брат пошел работать — учился он в школе рабочей молодежи.

Чего он не мог, так это рисовать, он рисовал скучно, линии у него были слишком определенными, как линии чертежа. Зато у него был слух прекрасный, а у меня — глухо. И у него был голос, а у меня — вой.

С одной из первых своих получек, а может быть, и с двух первых он купил мне патефон и пластинку «Катюша».

— Других пластинок не покупайте, — сказал он мне. (Брат жил с отцом.) — Если у тебя в голове хоть что-то есть музыкальное, «Катюша» вытащит. Крути, пока не запоешь.

Кто ему подсказал такой метод, не знаю. Другая сторона пластинки была исцарапана, заляпана лаком. Меня он уговорил. Нужно было еще и соседей уговорить. Но соседи его обожали.

Я крутил пластинку с утра до ночи. Сначала все соседи пели «Катюшу», потом стали поговаривать, что недурно бы мне оторвать мои бесталанные уши. Но пришел брат, и они согласились потерпеть еще. Я даже ночью пел. Проснусь и пою. Мать говорит:

— Опять бормочешь — не устал?..

— Я не бормочу — я пою.

— Зачем? — спрашивала она и засыпала. Она уставала очень.

И вот однажды я действительно запел. Это заметила соседка. Я жарил блины на кухне и напевал. Соседка делала что-то свое, морщилась от моего пения и вдруг глянула на меня этак странно, странность ее взгляда я отметил, и вышла. А чуть погодя раздались аплодисменты. В дверях кухни собрался весь наличный контингент соседей — все хлопали. Все были рады. Просили повторить. Потом сказали: «Слава богу, „Катюша“ кончилась. Купи пластинку „Рио-Рита“, она легко запоминается».

«Рио-Риту» я запомнил с одного прослушивания.

Мать приехала к вечеру, пропыленная, усталая, но не легла спать — пошла в баню и меня в баню прогнала.

В баню строем шли курсанты школы подплава в белых робах, с вениками под мышкой. Если искать в моих писаниях образ, повторяющийся чаще всего, то, наверное, это матросы с вениками, идущие в баню.

Вечером мы с матерью пили чай с мармеладом. Мать рассказывала, как горели

под Шимском бензохранилища. Отблеск этого пламени лежал на ее раскрасневшемся после бани лице. Руки матери были полные, предплечья формы лебяжьей шеи — именно такая форма говорит о мощи. Волосы она убирала в толстую тугую косу. Лоб у нее был прямой, без морщин, короткий прямой нос и властные серые глаза — матери бы родиться мужчиной да пойти служить по военной линии.

— Чего это ты «Катюшу» поешь? — спросила мать вдруг. — От Коли писем нет?

— Нету. Что, я действительно пел «Катюшу»?

— Весь вечер. Ты и сейчас ее поешь. Ты что, не замечаешь?

Я заметил, что легонько подвываю и размахиваю рукой. Я сунул руки под мышки. Заметил, что отбиваю такт ногой. Наступил ногой на ногу.

Мать рассказывала, как взлетали бензохранилища в голубое небо и извивались оттуда рыжим дождем, словно продырявилось солнце. Я не слушал ее — я пел «Катюшу».

— У тебя глаза какие-то волчьи, — сказала мать. — Устал?

— Да нет… Прет немец.

— Прет. Еще как прет…

Я думал о брате и о Турке.

В сороковом году брат окончательно вернулся от отца к нам. Поселился в нашей десятиметровой комнате на одной со мной оттоманке.

Турок был постарше моего брата, он в тот год уходил в армию. На холоде руки и скулы у Турка становились лиловыми, нос белым — это при черных густых бровях и черных, как смоль, волосах. А глаза светло-серые, льдистые, будто слепые. Весь его род был из Рыбинска.

Обладал Турок страшенной бурлацкой силой. Особенно знаменитым был его пушечный удар с правой. Когда он бил пенальти — «пендель», как мы тогда говорили, — вратарь выбегал из ворот.

Ворота были размечены на сараях. От ударов Турка лопались доски, владельцы матерились, бегали за футболистами с колуном, — бить с правой Турку запретили по уговору.

В тот день на поляне — так мы называли двор, где стояли сараи-дровяники, — парни от нечего делать били друг другу пенальти. Турок тоже хотел, но ему не

было пары. Мальчишки моего возраста суетились вокруг — может, дадут ударить.

Колю ребята знали, он приезжал к нам часто. Он встал в ворота — взял у Турка всю серию.

— И с правой возьмешь? — спросил Турок, глянув на Колю исподлобья. Он, когда сердился, голову опускал, когда смеялся, опускал еще ниже.

— Возьму, — сказал брат.

Кто-то свистнул, кто-то хихикнул, кто-то сказал: «Дурак». Я схватил круглый камень размером с кружку, сказал Турку, что пусть он лучше поостережется: брат не в курсе — потому и согласился. Но если он, Турок, ударит с правой, я проломлю его турецкую башку булыжником.

— Ты нос подотри, — сказал Турок. — Уговор, понял?

— Не шуми, — сказал мне Коля. — Он не забьет.

— Он убьет, — сказал я. — Турок — сволочь. Он никогда не бьет по воротам — только по вратарю. — И закричал: — Он убийца, садист!

Турок усмехнулся криво. Ему было лестно слышать такое. И парни, и мальчишки чувствовали себя неважнецки, словно были поднатчиками. Я схватил Колю за ногу, попытался укусить его за икру, но меня оттащили и держали.

Турок поставил мяч. Разбежался.

Коля шагнул вперед.

Турок ударил. Коля взял мяч на грудь. Охнул, упав. Мяч не выкатился у него из рук. Коля сел и долго кашлял.

Я побежал на Турка с камнем. Турок стоял столбом и с некоторым радостным удивлением улыбался своей подлой кривой турецкой улыбкой.

— Ну чего ты, пря, со своим камнем. Ты, пря, посмотри — никто не брал, он взял. — Турок увернулся от брошенного мной булыжника. — Да ты, пря, пойми, шкет — взял ведь.

Турок, он всегда говорил свое «пря», если говорил много. Он поднял мяч ногой, зажал его под мышкой и пошел, пожимая плечами, тяжелыми, как бы стеганными, приспособленными для переноски тяжестей.

Турок, хоть и сволочь, но был прав. Коля взял мяч. И ребята, собравшиеся

вокруг, не столько жалели его, сколько радовались и восхищались. Мне тогда было двенадцать, Коле шестнадцать. Турок осенью в армию уходил.

Коля кашлял в платок, и в платке была кровь.

Скрыть кровь от матери не удалось. Легкие у Коли были слабые. Мать, призвав на головы докторов все кары небесные, взялась поднимать его знахарскими способами.

«Ты у меня в армию пойдешь, как все, — кровь с молоком будешь, картинка с плаката».

Она выполнила свое обещание. Кормила Колю маслом с медом, с кагором и алоэ. Поила свекольным соком и отваром красного клевера. Давала ему барсучий жир. Он ел клюкву, лимоны, орехи.

В армию мать проводила его, сияя от гордости, — воротничок у брата был на размер больше кепки. «У меня так, — хвастала мама всем. — Сказала — будет воин, и нате вам, посмотрите — Добрынюшка».

Сейчас мать рассказывала о противотанковых рвах, эскарпах и контрэскарпах, о немецких мотоциклистах и «Фокке-Вульфах», бомбивших окопников, кружась над ними каруселью. А я думал о том мяче. Если бы этого мяча не было, если бы мне тогда удалось укусить брата за икру по возможности изо всей силы, мать не взялась бы накачивать его здоровьем. Его бы в армию не взяли. Он был рожден для чего-то другого.

«Если бы она знала, что у меня в портфеле лежит, — думал я. — Если бы она знала…»

После войны на углу Детской и Среднегаванской улиц ко мне подошел алкоголик в грязной шинели.

— Молодой человек, дайте три копейки, — сказал он.

Я узнал Турка. Узнал ли он меня? Он улыбался так же криво, как бы скрывая что-то. Был спокоен, даже грустен. Я же побежал по карманам руками, выгреб всю мелочь и рубль бумажкой — больше у меня не было.

Он удивился. Пожал плечами и отошел, пряча деньги в карман. Но уже не было в его плечах той надутости, не было в его как бы стеганой спине тяжелой бурлацкой сутулости. Только лиловые скулы да лиловые кисти рук. И нос, раньше белый от какого-то внутреннего напряжения, теперь был вялым и тоже лиловым.

Утром мы с матерью поехали в таксопарк на Конюшенную площадь. Мать привела меня в прокуренный отдел кадров, где уже договорилась, что меня возьмут автослесарем. Дала мне легкий подзатыльник и увезла на автобусе людей. Кроме автобуса на окопы ушли еще пять полуторок.

Я ждал Писателя Пе. Он позвонил, что идет в новом галстуке, и застрял.

Я без Писателя Пе скучаю. Вот он придет и скажет:

— Мы ждем перемен. Мы ждем рассвета. Мы все время чего-то ждем. Дай выпить.

А у меня уже рюмка приготовлена.

— На, выпей.

Он отодвигает рюмку.

— Дай пива. Водки выпью в двухтысячном году. Налью стакан и жахну. Может быть, помру на пороге нового века. — Воткнет подбородок в узел галстука и засопит: — Как у тебя с грыжей? Ах, нету… С параличом? Ах, тоже нету… Мы с тобой неприлично здоровые. Это от невежества. Любой инфантилизм, вплоть до впадения в детство, следствие утраты профессионализма. Нас некому судить. — Пе поднимает палец к потолку: — Там тоже нет профессионалов, — и снова сопит, устраиваясь в кресле боком. Он любит сидеть скорчившись.

Я познакомился с Писателем Пе в канцелярии полевого госпиталя на Украине. Нас выписали в одной команде, и направление мы получили в одну часть.

Писатель Пе был в белом полушубке — такой он получил подарок от дружка-однопалатника, штабного писаря, раненного в голову. «Пойдешь на фронт — продашь», — сказал дружок.

Но мы, нас было пятеро, продать не разрешили. По дороге в часть мы обменивали полушубок на самогон и под видом патруля отбирали его: двое обменивали — трое отбирали.

— Жулье, — говорило нам население без особого горя.

— И вы жулье, — говорили мы населению без особого раскаяния. — Гоните из гнилой свеклы сивуху-отраву, выменяваете на нее у солдат обмундирование. Солдат, конечно, в бой идет, ему все трын-трава. Но в бою он мерзнет и промахивается! Отсюда вывод!

В тот вечер мы были честные, как херувимы. Мы отдали хозяйке последнюю

банку сгущенки — ребятишкам полакомиться, — она наварила нам картошки и постным маслом намаслила.

Прибежала соседка — старуха на соломенных ногах.

— Ой Галина… У тебя, Галина, бачу, солдатики, а нет ли фершала? Чернуха моя разродиться не может, уж так страдает, так плачет, она же молодая, первотелок.

Не сговариваясь, мы уставились на Писателя Пе, уж больно правдивое — христианское — было у него лицо и полушубок белый.

Старухе мы объяснили, что Пе еще не совсем фельдшер — пусть знает, — но студент медицины, отличник по всем предметам, а по родильному делу у него оценка восемь с плюсом.

Писатель Пе встал из-за стола и вышел. Старуха на соломенных ногах за ним выскочила.

Когда он принес литр самогона, с нами случился шок. От изумления. Гипсово-бледный Пе обливал нас фосфорическим презрением, он тоже был в шоке. Все выпили противошоковую дозу, даже хозяйка. Писатель Пе поел, мы ему картошки оставили — все честь по чести, и я спросил у него:

— Ты что, действительно принимал теленка?

— Сомневаюсь… Помню, наорал на хозяйку, почему теплой воды мало, где полотенце, мыло, ножницы, зажимы? А тут корова эта, Чернуха, и говорит нам: «Нельзя ли, милые, потише?» — и очень легко разрешилась. Остальное старуха сделала сама, да так проворно! И все бормотала, как молитву: «Спасибо, фершал золотой».

Я уже говорил — в молодости Писатель Пе был смелым человеком. Сейчас он беспокоен. Бегает на собрания по демократизации и выработке решений. Его девиз: «Собрания против катастроф». Дело в том, что в катастрофах обязательно погибают его родственники: один-два…

Он позвонил мне, что идет.

И вот заходит… В новом костюме светлом и новом галстуке сиреневом, ближе к синему.

— Мама мне говорила, что человеку моего возраста и моего рода занятий нужно красиво одеваться. Тогда мне было тридцать лет. Ее золотые слова попали на благодатную почву и дали всходы.

— Через тридцать два года.

— А это неважно. Дай выпить.

Рюмка у меня приготовлена — сверкает хрусталем на блюдце с золотой каемочкой. И ломтик огурца.

— На.

Он огурец схрустел, а рюмку отодвинул.

— Недавно выступал в библиотеке. Вместе с двумя афганцами. Рассказывал, как книжки пишут. Они рассказывали, как воевали. И вот на вопрос: «К чему прежде всего вам пришлось пересмотреть отношение там, в Афганистане?» — они ответили: «К комсомолу и к ветеранам войны». Кстати, ты замечал, по телевидению или по радио — все ветераны сейчас разведчики. Пехоты нету. Выступает какой-нибудь козел и говорит: «Я был разведчиком. Языков хватал. Семьдесят языков схватил». А может, сто?.. «Сто!» А зачем? Куда ему столько?

— Солить. Но ты ведь тоже привираешь.

— Вру… А ты не язви. Если бы не моя глупость, я бы сейчас генералом был, может даже маршалом. Сидел бы верхом на белом жеребце…

По призыву Писателя Пе определили в пехотное училище в Уфе. Он даже поучился немного, потом пошел в медчасть и говорит:

— Док-к-ктор, я к-курс-сан-нт з-з-заик-ка. Ха-ха!

На этом его «Ха-ха!» в медчасть вошел начальник училища — генерал. Спросил с любопытством:

— Ты сумасшедший?

— З-з-заик-ка! — выкрикнул Писатель Пе.

— Списать в маршевую роту.

После первого боя Писателя Пе отнесли в госпиталь с разорванной брюшиной. А там хирургом доктор из училища. Писатель Пе обрадовался ему, как брату.

— Доктор! — кричит. — Гад буду, и вы тоже!

— Естественно. Пришел и говорю: «Т-т-тов-варищ г-генерал...» И генерал командует: «С-с-с-пис-сать!»

Умная читательница из дискуссии в «Литгазете» скажет: «Анекдот». А вот и нет — все правда, чистая, как дистиллят из слез девы Марии.

— Ты дашь мне выпить? — сказал Писатель Пе. — Жадность в тебе разрослась.

— Перед тобой рюмка.

— Этого я не пью. Я пиво полюбил. Как у тебя с давлением?

— Сто тридцать на семьдесят.

— Как у космонавта. Твоя жадность происходит именно отсюда. Все себе захапал, даже хорошее давление.

Писатель Пе не пьет. Про выпивку он говорит, чтобы уязвить меня. Я пил, пил крепко — можно сказать, по-черному. Ко мне это пришло лет в тридцать пять, накатило откуда-то из генетического мрака. Писатель Пе, конечно, уверен, что своим подкалыванием он помогает мне держаться. Но ведь, может быть, и помогает...

— У тебя глаза такие же ненормальные, как, помнишь, мы сопровождали генерала. Что-то я думаю о генералах...

— А я о брате...

Писатель Пе скорчился еще сильнее, подтянул колено к оскаленным зубам. Он никогда не говорил о Чернобыле и редко об Афганистане. Он считал, что именно Афганистан подтолкнул и перестройку и новое политическое мышление.

— Не бойся дня, — сказал он мне. — Дотянем до двухтысячного года и жахнем по стакану. И выкурим по сигарете. И споем. У нас, старик, есть два момента для гордости: Победа и Гагарин. Больше нету. Это надо понимать. Но это немало. Как думаешь, в двухтысячном году будет хорошая закуска?

— Наверно, будет, — сказал я. — Рольмопс...

Раньше командир корпуса приезжал в бригады на «виллисе» или на «додже» — с ним транспортер корпусной разведки. Теперь же, под конец войны, он почему-то пожелал ездить с эскортом. Потребовал для боевого охранения самоходку, бронетранспортер со счетверенным зенитным пулеметом, и нас — на связь, а

если что — и на отбитие десанта. Нас он помнил еще с Варшавы.

Вот двигаемся мы. Хороший вечер. На западе слепящее небо. Лес черный. И прямо на нас низко от круглого солнца налетел — как будто снялась с верхушек сосен черная птица — бомбардировщик. Самоходка, уж как она смогла так пушку задрать, ухнула по самолету. Зенитчики забарабанили. А мы — нет. Мы шли последними, и мы успели разобрать, что самолет — «ТУ-2».

Он прокатил над нами. Проволок дымный хвост куда-то в темные поля. Мы некоторое время стояли, оглушенные моторами, пушкой, пулеметами и неожиданностью ситуации. Генерал что-то размыслил — послал нас в штаб армии с пакетом.

Их мы встретили километрах в десяти от линии фронта. Трое стояли на обочине, четвертый лежал на плащ-палатке с поджатыми к подбородку коленями. У всех ордена на груди — мы орденов своих не носили.

Попросили подвезти их к госпиталю или медсанбату. Двое молчали, все поправляли раненому то волосы, то неудобно упавшую руку. Третий, старший лейтенант, страшно ругался. Говорил, что за своего командира он хоть пять генералов куда-то там засунет. И все допытывал, как фамилия нашего командира корпуса. «Ишь, разъезжает. Ну прямо царь! Самоходка, зенитчики, разведчики. Не хватает передвижного борделя. Где это видано, чтобы паршивая самоходка сбила бомбардировщик?»

Он все бранился, и приставал к моему экипажу, и обещал что-то нам показать ужасное, потому что мы, как ему сейчас точно известно, стреляли тоже.

Мне он сказал:

— Чего уставился? Летчиков не видал?

Тогда Писатель Пе сказал:

— Может быть, вынем господина пилота из машины? Он своими криками раненому дыхание затрудняет. — По голосу мы поняли, что Писатель Пе побледнел, а когда он бледнел, он становился опасным.

— Пусть кричит, — сказал я. — Может, господин пилот действительно считает, что на войне он самый главный.

Старший лейтенант не привык к такому вольному с ним обращению со стороны солдат — ну, он был очень гордый. Он прошептал громко, как бы решившись на все:

— А кто же, сявка? Ну скажи.

— Пехота, — ответил я ему спокойно. — Именно пехота. — Я расстегнул раненому капитану пуговицу на воротнике. Старший лейтенант взвизгнул:

— Не трожь командира! — Очень нервный был старший лейтенант или сильно обескураженный. Наверное, он был везунчиком, и это падение было его первым падением — все ордена да ордена, а мордой в кочку?

Ребята вскочили. Егор взял старшего лейтенанта за пуговицу. Паша Сливуха вынул у него из кобуры наган. Вскочили и молчаливые двое: штурман и стрелок-радист. Лучше бы сидели. Вскочив, они тут же лишились пистолетов.

— Да ладно вам, — сказал я. — Пусть лейтенант кричит. Наверное, ему надо.

Мы даже не заметили, что Саша-шофер остановил машину.

— Поехали, — сказал я. — Наганы отдам в медсанбате. Разрешаю материться.

Раненый капитан был похож на моего брата Колю. Не лицом — он и старше был, и скуластее, — а руками, спиной, позой, в какой лежал. Не того Колю, с толстой шеей, откормленного мамой для гордости перед соседями, а на обыденного, с худыми плечами и узкой ладонью — на того, что взял мяч сволочного Турка, на того, что кашлял кровью для гордости всего двора.

У медсанбата мы вышли все.

— Не сердись, сержант, — сказал мне штурман. — Сам понимаешь.

Я понимал, так мне казалось. И почему-то оправдываясь, я сказал:

— Мы, товарищ старший лейтенант, действительно не стреляли. — Штурман был, как и второй пилот, тоже старшим лейтенантом. — Мы сразу по звуку угадали, что самолет наш, а самоходы, они же ни черта не слышат.

— Да, — кивнул штурман. — А зенитчики?

— Какие они, к черту, зенитчики. Они из пополнения. Этот счетверенный пулемет используют для уличных боев, он лупит как брандспойт.

Я отдал штурману их пистолеты.

Паша Сливуха помог летчикам нести раненого. Мы им дали брезент.

— Он не выживет, — сказал я Писателю Пе.

— Но почему?

— Он похож на моего брата Колю.

— Дурацкая логика.

Логика моя была, к сожалению, безупречной.

Что нам известно о нашем легендарном времени? Из личного опыта — ничего. Легендарное время — раннее детство — заря. А на заре ты ходишь на четвереньках и говоришь с улыбкой полного счастья: «Ма-ма».

Но ведь что-то мы все же знаем из рассказов старших.

Наша с братом легенда начинается с появления нашей семнадцатилетней матери в деревне, где мы потом родились.

Рассказывали — мать прискакала верхом на рыжем высоконогом жеребце русской рысистой породы, звали жеребца Рыжим. Говорят, был он из Ниловой пустыни, монастырского коннозавода. Молодой дикоглазый, с белой звездой на лбу жеребец был материно приданое. А за пазухой у матери спал щенок по кличке Фрам. Кто ей подарил щенка на счастье? К мужу после венчания мать прискакала только через неделю.

Рыжего жеребца свекор продал. На эти деньги поставил маме избу, купил ей корову.

А когда мама в новую избу перешла уже с сыном, моим старшим братом Колей, дед принес молока в подойнике, мамина корова должна была отелиться, и сахару, и перекрестил их — благословил на счастливую жизнь в новой избе. Фрам, тогда уже годовалый пес, притащил в зубах каравай теплого хлеба — у бабки спер. Бабка-то позабыла невестке и внуку хлеб дать. Не по жадности, не по вздорности — бабка была добрая, — но по забывчивости. Дед говорил: бабка ветреная, чешет где-нибудь языком, или песни поет, или пляшет.

С того дня легенда перенесла свой высокий глагол с красавца жеребца на красавца Фрама.

Коля был нездоров в раннем детстве, весь в гноящихся прыщах, и все время ревел. Мать сутками не спала, все укачивала его. А он ревел. Она сидела с ним на крыльце и погибала: «Как подумаю, что вот такая она, жизнь… Уж лучше помереть…»

А тут оставила она сына на минутку в корзине и побежала к свекру — дед был у

нее главным советчиком и опорой. Прибегает обратно — корзина опрокинута, Коля на пол вывален, из пеленок вытолкнут — лежит он на теплом полу, и Фрам его вылизывает. Мама бросилась сына спасать, но Фрам зарычал на нее, повернулся к ней задом и не подпускал к Коле, пока не вылизал.

Мать говорит, что тогда первый раз выспалась.

Потом она уже не мешала Фраму вылизывать сына. Брат Коля и пошел на спичечных кривых ногах, держась за густую Фрамову шерсть.

«Ты-то, — говорила мне мать, — сам пошел. Шел на четвереньках — ты не ползал — ты, как собака, ходил и вдруг встал и пошел. И горя мало. А Колю Фрам на себе вывозил».

На Фрама мать оставляла брата, как на няньку. В крестьянстве невесткам дома некогда сидеть, а бабка ветреная, на нее надежды нет.

«И тебя Фрам вырастил. Приду — вы все трое в кровати. А если в кровати нет — вы все трое в собачьей будке».

Один эпизод — а все они начинались у матери со слова «прихожу» — она рассказывала чаще других.

«Прихожу, изба солнечная, стены, потолок, пол — все будто воском натерто, а я только корову подоила и подойник в избу занесла, тут меня отец крикнул (свекра она называла отцом), я выскочила, вернулась через минуту и вижу: в подойнике сидишь ты и хорошо тебе — рот до ушей, на полу лужа молока, а сын Коля и Фрам из этой лужи лакают. Прислонилась я к косяку — хоть реви, что за жизнь у меня: ребята здоровые, собака — золото, корова молочная, изба солнечная, а муж сволочь. Видите ли, он в Питере стал партийцем и теперь на профсоюзной работе то ли дворником, то ли канцеляристом. Ребятам хоть бы ситцу прислал…»

Отец все же вывез нас в Ленинград. Фрама мать оставила в деревне. Потом, я это часто замечал, вытрет слезу, хоть и крутая была, — значит, вспомнила Фрама. Она считала, что Фрам — ее единственный грех.

Фрама застрелили. Жил он в своей будке у своей избы. Поесть ходил к моему дядюшке или к деду, но не часто, где-то сам еду находил. Его побаивались и уважали. Он не пускал в деревню цыган. Ни в какую. Растопырится посреди улицы, ощерится, и видно — разорвет горло либо цыгану, либо коню. Приходилось цыганам телеги пятить. Заблудившегося теленка в деревню пригнал, когда хозяева уже и материться по нем перестали.

Застрелили его, потому что выл.

Однажды так жутко выл, с такой смертельной тоской и угрозой, сидя на крыльце у черного мужика Семена, что тот выстрелил в него из берданки в упор. В эту же ночь у Семена сгорели изба и двор. Соседнюю избу от огня отбили — после Фрамовой смерти сидели на улице, ждали беды.

Другую собаку я помню сам и, вспоминая ее, вспоминаю брата, тощего, с длинной шеей и наклоненной вперед головой. На его тощих ногах даже чулки болтались. Это тот момент, с которого я начал ощущать себя вдвоем с братом и понял его образ как образ брата. Ощущать себя как некую самостоятельную душу я начал позже, но вскорости.

Перед домом, где мы жили, стоял длинный — он мне казался бесконечным — дощатый забор. В щелки и дырочки от сучков были видны собаки. Там был собачий питомник и дрессировочная площадка.

Кто-то везучий нашел отодвигающуюся доску. Кто-то любопытный просунул в щель голову. Кто-то смелый протиснулся на площадку. За ним другой, третий. Брат Коля и меня втащил.

И вот мы удаляемся от забора вглубь.

Наверное, я занялся какими-то подножными исследованиями, потому что момент — и я вижу несущуюся на меня длинными прыжками собаку с черной спиной и песчаного цвета брюхом. Оборачиваюсь и вижу — мальчишки лезут в дыру на улицу, а брат бежит от дыры ко мне. Как он там очутился, когда только что был рядом?

Собака бежит, и брат мой бежит. И брат мой немного опережает собаку и становится впереди меня. А собака затормаживает так, что из-под лап брызжет трава. Подкатывает она по росе к брату, садится перед ним и заглядывает ему за спину.

— Я тут, — говорю я собаке. И выхожу из-за братовой спины. Собаки я не боюсь. И брат мой ее не боится. Боится стриженый парень в стоптанных сапогах и синей гимнастерке. Парень подбегает, свистя одышкой, и говорит:

— Хорошо, Буран. Молодец, Буран. А этих хороших мальчиков надо за уши оттрепать, чтобы они запомнили. — Голос у парня ласковый, только одышка сильная и глаза белые.

— А вы ее не бойтесь, — говорит парню мой брат и обнимает собаку. — Она вас полюбит.

Парень трясущимися руками пристегивает собаку на поводок, надевает ей намордник, и они провожают нас до забора.

А когда мы вылезли и брат, повернувшись, сказал: «Мы придем», — парень показал нам кулак.

— Я вам приду. Я вам так приду — неделю сидеть не сможете.

Парень очень боялся своей собаки.

А мама, выслушав наш рассказ, сказала:

— Это вас Фрам спас. Он вас воспитывал, он вам что-то свое передал.

Она обняла Колю. Тогда я и понял, что Коля для нее особеннее, но ревновать не стал. Тогда я и понял — на ее щеках слезы по Фраму. Впоследствии я всегда угадывал, когда она по нему плачет, даже если у нее и слез не было.

Сколько бы ни называли видов памяти, но есть одна, в основе которой лежит любовь. Коля любил меня. Моя же любовь к нему, наверное, была как эхо, и поскольку эхо это не ослабевает до сих пор, то можно предположить, что я не одинок, что душа брата живет где-то рядом — скажем, над моей головой в голубых небесах.

Я боюсь леса, зато память моя — как лес. В моем лесу много цветов и птиц. Поет в моем лесу иволга. Смешно, конечно, сравнивать парня, у которого ворот рубахи был шире кепки, с иволгой, но брат живет в моей памяти худеньким и смелоглазым. Он все время во что-то вглядывается упорно, упрямо и озабоченно. А иволга — это когда он поет. Во время песни глаза его отдыхают.

Вслед за гениальным Платоновым я выстраиваю цепочку, такой коротенький поводок: Бог есть совесть, совесть есть труд, труд есть добро.

Тогда я был маленьким мальчиком, не отягченным ни трудом, ни Богом. Слова «добро» и «зло» страшили меня, как сумерки, когда трудно понять, кто стоит на пути, теленок или медведь. Надо мной была властна только любовь. Мой поводок был всего из двух звеньев: любовь — совесть. Любовь — это любовь моего старшего брата ко мне, а совесть — это моя любовь к моему старшему брату. Спросите у хорошего знакомого, что такое совесть, и он тут же приготовит улыбку, уверенный, что ваш вопрос — начало не смешного, но актуального анекдота.

Мой товарищ, в молодости артиллерист, романтик, владеющий языками, сказал мне сурово:

— Совесть — есть страж души. Пора бы знать, не маленький. Отсюда страждущий — разыскивающий свою потерянную совесть. А это уже почти хенде хох.

Он прав? Наверное. Во всяком случае, красиво. Писатель Пе считает, что так оно и есть. Но кто знает все свойства совести? Она не устаревает, как знания, не сламывается, как душа, не ослабевает, как сила воли, не устает, не слепнет. Иногда она спит, но чаще бывает потерянной. Бывает чистой, бывает запятнанной. Грязной совесть не бывает. Цвета не имеет. Какой же она страж, если может только спать и теряться, если она боится пятен?

С самого раннего детства благодаря моему болезненному брату и одному мудрому доктору я знаю, что совесть есть функция памяти о ремне.

Когда моего отца, работавшего в ту пору завхозом водноспортивной базы на Крестовском острове, направили проводить коллективизацию в район Окуловки и мы остались без всего, даже без керосина, нам на трамвае бабушка, мамина мама, от Смольного привозила бидончик щей и немного хлеба. Мы съедали щи, возвратившись с биржи труда. Чуть свет мама брала меня с собой. Я сидел у батареи парового отопления в тепле на кафельном полу, посыпанном опилками, а мама, вся в черном, потертом до бурого, протискивалась в первые ряды толпы, надеясь, что ее, молодую, возьмут на работу подсобницей или на обучение. От толпы пахло махоркой, мокрыми лаптями, овчиной и дегтем.

Так почему же я, прежде чем вспомнить бабушку с каждодневным бидончиком щей, вспоминаю брата, сидящего в сбитой комком постели в чулках и в рубашке в крапинку. Тонкая длинная шея брата замотана ватой, бинтом и шарфом. На горячих щеках и на носу веснушки. Но глаза у него строгие, без улыбки.

Доктор легонько обстукивает его согнутым пальцем.

— Какой-то ты, братец, птичьей породы, — говорит доктор. — Какой-то мне незнакомой. Может, ты киви-киви? Сидишь вот молча. Из-под штанишек еще штанишки торчат. Я в твоем возрасте нагишом бегал и песни орал во всю мочь. «Хаз-Булат удалой» знаешь? Это штаны мужиков погубили, подштанная, понимаешь, затхлость. Снимай, понимаешь, все свои штаны, я тебя драть буду ремнем, тогда твоя совесть пробудится. И ты болеть перестанешь. Совесть силу организму дает. Совесть, братец ты мой, есть функция памяти о ремне.

— Я и в штанах поправлюсь, — говорит брат. — Мне болеть нельзя, я в нулевку хожу. Уже все буквы знаю и счет до ста.

— И не спорь, в штанах не поправишься. Хаз-Булат не поправился…

Про Хаз-Булата все пели, у него была бедная сакля.

Брат так серьезно снимает штаны, он такой тощий…

— Стегайте, — говорит, — я терпеть буду.

Доктор прописывает рыбий жир и уходит, лысый, в круглых печальных очках. Брат подзывает меня, извлекает из-под подушки конфету, большую, с белым медведем на фантике. Я тащу зазубренный хлебный нож, мама им колет сахар на ладони. Брат делит конфету, дает мне ту половинку, что хоть и немного, но все же побольше. На нем только рубашка в крапинку — косоворотка, и мы знаем, что теперь он скоро поправится.

Случилось так, что маму взяли на работу на завод «Севкабель» волочильщицей. И сразу замелькали перемены.

Мать пришла в красной косынке, румяная. Мужик один, по выражению матери «такой же идиот, как и ваш батюшка», устроился завхозом на водноспортивную базу и предлагает маме обмен жилплощадью, две комнаты в Гавани на Опочининой улице, на нашу казенную квартиру. Плюс дрова и переезд.

Ну, для нашего переезда особый транспорт не потребовался — мы переехали на трамвае. Две корзины с крышками, чемодан фанерный, узел и швейную машинку мужик привез на лошади. Он кашлял и думал, что на острове среди природы ему будет легче.

Колю перевели в школу на Опочининой улице.

И вот уже проснулись мухи на белой стене нашего белого дома и ходят. Я на них смотрю, но не ловлю — мне нельзя руки пачкать.

Прибегает Коля, хватает меня, и мы мчимся в его темно-кирпичную школу, где он заканчивает нулевку. Там ему дают стакан молока и булочку. Он отпивает чуть меньше половины, передает мне стакан и полбулочки и вытирает крошки с моих толстых щек.

Я толстый. Коля тощий. Мать велит ему рыбий жир пить. Но он не может. И вместо него я пью рыбий жир прямо из горлышка бутылки. Мать спрашивает:

— Рыбий жир пил?

— Пил, — шепчет он, глядя в пол.

Мать смотрит на бутылку и говорит:

— Я знаю, кто тут пил.

— Меня и дери, — говорю я. — А его не тронь.

— Его я не трону. Вот он помрет, и ты останешься один.

Мать не может ударить меня больнее. С эгоизмом у взрослых полный порядок и с изощренной жестокостью тоже. Это уже потом они гуманисты, когда сбиваются в кучу на профсоюзных собраниях и симпозиумах по проблеме: «Есть ли жизнь на Земле или одно сплошное мучение?»

Я рассматриваю старую похоронку, тонкий листок, желтый, как будто в нем держали хину. Я чувствую себя непосредственным виновником Колиной смерти. Паскудно я себя чувствую…

Писатель Пе утверждает, что толерантность, мне свойственная, должна исключать рефлексию, но ум, мне не свойственный, не может исключить глупости, поскольку ум и глупость сосуществуют в одном индивидууме, причем у глупости большая адаптивная емкость, что важно. А меня следует лечить катарсисом или высоковольтным электричеством. И вообще — пора ему выпить пива.

В двух комнатах на Опочининой мы жили хорошо. Они были почти пустые. Мы делали себе игрушки из катушек, резинок и пуговиц. Мы разобрали будильник, мы разобрали детекторный радиоприемник, который мать купила для укрепления своей эмансипирующейся души. И оба раза на вопрос: «Кто это сделал?» — Коля выступал вперед, как журавленок, и, повесив голову, говорил:

— Я.

Тогда я выкатывался вперед и тоже говорил:

— Я. Меня дери.

Мать не драла нас, потому что не драла Колю. Но когда я у нее остался один, с гуманизмом было тут же покончено. Я получил сполна за все годы ее терпения.

У мамы появился рыжий летчик. Тут же она послала отцу в район Окуловки развод. С разводами было просто — их давали без суда по заявлению одной из сторон.

Отец приехал утром на серой лошади, в седле. Мы ели манную кашу. Она не остыла, укутанная в платок, накрытая маминой подушкой. Мать сварила ее и ушла на завод, она всегда торопилась туда — там ей было интересно.

Отца мы увидели в окно. Он привязывал лошадь к фонарю.

Коля впустил его и сел за стол. Он вяло ел кашу, а я не ел. Я хотел кашу есть, но не ел из какого-то упрямства.

Коля сказал:

— Ешь.

А я сказал:

— Не буду. — И, чтобы прекратить разговор, высыпал в кашу соль из солонки и размешал.

— Не ссорьтесь из-за каши, — сказал отец. — Я съем. — И он съел — пересоленную. И ложку облизал.

Коля глядел на него глазами, полными слез. Подвинул ему и свою кашу. Отец и Колину кашу доел. Коля очень редко плакал, он был привычен и к боли, и к одиночеству, и к темноте, но глаза его быстро наполнялись слезами от сострадания.

— Вот так, — сказал отец. — Выходит, у вас больше нет папки.

— А его и не было, — простодушно сказал я. — Нам щи бабушка привозила.

— Ах, что там щи, — сказал отец. — Теперь, наверно, у вас другой папка будет, не родной. А вы ж мои. От сердца моего. — Он встал и обнял Колю.

Потом был суд — отец подал на раздел. Делили нас и квартиру.

Мы на суде были. Там было много красной материи. Портрет Ленина над судьей. Судья в синей косоворотке. И одна старушка в пенсне.

Мама хотела оставить нас обоих себе, суд не возражал, но вдруг Коля встал и сказал:

— Я хочу жить с отцом.

Мать так и ахнула.

И суд кончился. Больше не было вопросов. Отцу присудили Колю и комнату. Старушка в пенсне сказала маме:

— Гражданка, так господь рассудил.

Но мама знала, что так рассудил Коля. Ни подучить, ни настроить Колю было невозможно. Он был сильнее всех.

Мама с ним не разговаривала. Она решительно освободила одну комнату. И отец с Колей спали там на полу.

Когда мать ушла на работу и мы снова ели кашу, я спросил у Коли:

— Ты зачем к отцу попросился?

— Он один, — сказал Коля. — У мамы ты есть и рыжий летчик. А он совсем один.

— Он плохой.

— Но все равно один.

Память моя — как лес. В моем лесу много цветов и птиц. В нем иволга поет на заре, будит меня, и я думаю, как мне жить дальше. А иволга улетает в синее небо, оставляет мне свою песню. Но я не могу вспомнить ее мотив. Может быть, это «Катюша»? После похоронки я ни разу не пел «Катюшу». И очень мне бывает плохо, когда ее поет кто-то рядом. У меня такое чувство, что «Катюшу» я ненавижу, что она антипесня.

Мама вышла замуж за рыжего летчика. Была свадьба. Я не захотел пировать на ней, ушел к соседям на сундук, хоть и понимал свадьбу как веселые проводы старого мужа — радость свободы.

Писатель Пе относится к свадьбам проще. Он к ним относится хорошо. Хотя и говорит и даже настаивает на том, что свадьбы отличаются от поминок не в лучшую сторону. Если поминки, начинаясь на торжественно-печальной ноте,

потом раскручиваются в балдеж, что соответствует бренности всего сущего, то на свадьбах нервное театральное веселье и тщедушный двусмысленный юмор скатываются на грань истерики и мордобоя. И вдруг оказывается, что тема исчерпана — тоска. На свадьбах нет простоты. И если на поминках чувства у всех едины — усопший был более или менее хорошим парнем, — то на свадьбе все путано, не проявлено, окрашено зыбким светом надежд на кредит. «А вдруг господь в кредите откажет?..»

— Ты имеешь в виду любовь до гроба?

— Я все имею в виду — весь комплекс этой чертовой семейной жизни. Да кто, скажи мне, это выдержит без вмешательства Самого? Семья — лучшее доказательство воли божьей и наличия высшей силы.

Против высшей силы у меня нет возражений — она, конечно, есть и правит.

В прошлом году в мае мы с Писателем Пе поехали на бракосочетание его племянницы. На набережную Красного флота.

Когда мы подъехали ко Дворцу бракосочетания, буксир, похожий на вяленого леща, тащил по Неве крейсер «Аврору». Шел дождь — небо над Ленинградом плакало. Но все равно на набережной толпился народ. Пусть дождь, пусть ливень, но всем ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, чтобы «Аврора» шла своим ходом.

Трубы гордо дымят.

Рдеют флаги.

Грохочут машины — сверкают:

шатуны,

кривошипы,

шевроны…

Трансляция на весь мир. Пар! Брызжет масло.

— Сейчас «Авроры» уже нет, — сказал кто-то в толпе. — Наверное, в ней даже гальюнов нет — голубые писсуары, финские.

— Там ничего нет. Там будет зало с паркетным полом, шведским. На стенах картинки повесят про революцию. И лекторы станут рассказывать, какая «Аврора» была…

— Говорят, там сауна для главкоммора.

— Это теперь чучело крейсера революции. Душу вынули… Душа и у крейсеров бывает.

— А не было. Залпа, говорю, не было. Был выстрел холостой. А может, и выстрела не было. Может, свистнули в свисток или в два пальца.

— Был залп, — сказал Писатель Пе. Он вылез из машины и теперь стоял под зонтиком, красивый.

— Да как же из одной пушки можно дать залп?

— Шутя…

Мы пошли по дождичку с букетами роз. На «Авроре» из трубы шел белый дым. Кто-то безжалостно и немилосердно говорил, что это матросы чай кипятят для банкета по случаю конца.

А по телевидению в этот момент выступал руководитель проекта реконструкции «Авроры» и объяснял, что виноваты в данном странном коллективном сне все: и писатели, и директор Эрмитажа Пиотровский, и разноречивость мнений насчет залпа. Сказали бы нам: «Был залп. Чинить!» И никаких гвоздей. Мы бы ответили: «Есть чинить!» И починили бы. И все. И чин по чину.

Невеста плавала в слоях нейлоновой росы. Она угадывалась в прозрачном. Стройная.

Писатель Пе любил ее и называл — «Счастливая на пробковом ходу».

Сейчас — год прошел — она уже развелась. Папа, мама, дяди, тети воспитывают ее сына, чтобы ей не брать академический отпуск в институте. Кстати, имя Аврора — редкое для девочек ее поколения — ей дали по просьбе ее дяди, Писателя Пе. Ходят слухи, что она снова собирается в тенета.

Но иногда, но даже очень часто, Писатель Пе садится в кресло, обхватывает колени руками да и сгибается так, что позвонки проступают на спине, как у осетра шипы. Глаза его — как окна с выбитыми стеклами, как небеса без синевы…

— Тебе не кажется, старик, что шестьдесят лет мы прожили с тобой впустую? Собственно, вся наша жизнь — псу под хвост, окромя войны. Обозрели мы с тобой за эти годы тупичок, очень похожий на густозаселенное кладбище, на

котором даже дорожки, даже центральная площадь выстланы могильными плитами. А теперь мы возвращаемся обратно к тем дням, когда мороженое с вафлями и петушки на палочках были так желанны. Вчера иду по Невскому, у аптеки, угол Желябова, какая-то дама торгует булками с изюмом своей выпечки. Рядом парень галдит, торгует такими штуками, чтобы жарить хрустящий картофель. Хоть бы домашние котлеты продавали — так хочется вкусных котлет. А на Софье Перовской толпа — художники портреты пишут карандашами, картины продают акварельные. В магазинах все эстампы да эстампы — офсет. Знаешь, офсет у меня почему-то ассоциируется с дустом.

Писатель Пе подтянул колено ко рту, ну, кажется, сейчас укусит сам себя.

— Если бы, — говорит он, — форма нашего будущего не была столь расплывчата, ее нельзя было бы упаковывать, скажем, в такую фразу: «Вперед, к победе коммунизма!» Почему вперед, а не вверх? И почему к победе? Над кем? Почему не просто — в коммунизм? Как в лес. Как к морю. Как на Кавказ. Форма, старик. Лес — это форма. Кавказ — тоже форма.

Волос на его голове еще много, и еще не совсем седые они, но нет в них пышности, величавости. Нету у Писателя Пе и шеи. А ведь была. Был он гусь. А сейчас что-то вроде вороны. Движения резкие. Или совсем замрет, как филин.

— Нам нужно только ждать. Мы ждем рассвета, — шепчет он.

— Студентка милая Мария, отличница и активистка, кандидат в кандидаты наук, что вы там сделали с Писателем Пе? Так ли уж он вам не мил? Так ли уж вы строги? А если он умрет?

— Ой, не смешите. Пусть умирает. Мы не сдохнем. Оглупленные своей якобы грандиозностью, вы и допустить не могли, что пестренькое, волосатенькое, в соплях и заклепках, корригируется со средой, как губка, как лишайник. Оно устойчиво к чернобылям, слезоточивым газам, утрате предков, дальтонизму и многому другому. Вы же все время думаете о монументах. В сущности, вам больше и не о чем думать. Вы своим непрекращающимся нытьем о прошлом вашем героизме воспитали в нас равнодушие к смерти — стало быть, и равнодушие к небу…

— Извините, я хотел поговорить с отличницей и активисткой драмкружка Марией, студенткой.

— Не все ли вам равно с кем? Вы же хотели покрасоваться? Ну покрасуйтесь…

— Это Аделаида, — сказал Писатель Пе. — Я ее знаю. Аспирантка. Тоже высокая. Тебе с нею не совладать. Старик, мы ждем рассвета, чтобы разглядеть

самих себя. Поскольку уровень невежества при нас стал уровнем культуры, то мы, как изюм в тонкой лепешке, торчим насквозь. Ну, может, не изюм, может быть, тмин. Аделаида, она, стерва, нас видит четко, она знает, кто мы. Я думаю, мы представляемся ей недалекими. Я с нею согласен, иначе как объяснить ту ангельскую смелость и ту убежденность, с которой писатели всякий раз вскрывают, обнажают, поучают. Аделаида поняла, что дурак дурака ничему хорошему научить не может, и потому она ждет. Сейчас все умные ждут.

Писатель Пе считает, что литература нынче обязана не торопиться — поотдыхать в теньке, не рваться на дыбы, не ржать победно. Предмет искусства пока еще в пеленках, а все революционные слова произнес в свое время товарищ Демьян Бедный.

Но я хочу беседовать с Марией — студенткой, активисткой пинг-понга. С ней мне не боязно. Правда, иногда мне кажется, что теперь студенток нет, — все девушки устроились работать продавщицами, и именно поэтому у них на лицах такая скука и брезгливость. Но нам нужно быть терпимее к студенткам, поскольку очень долго мы были терпимы к их профессорам.

Терпимость к молодежи — первая ступень свободы. Что ты на это скажешь, Мария?

Вздох…

Мама увезла рабочих на окопы, и я остался один.

На работе у меня было все хорошо.

Парню, у которого руки растут оттуда, откуда они должны расти, автослесарем стать не трудно. Автомобиль — машина, в общем, примитивная. Разве что двигатель. Но он идет в моторную группу, где механики чумазы и высокомерны. Однако и в моторе нет сложности. «Сложность в простоте. Большое в малом» — любимые слова Писателя Пе. У него много любимых слов.

Автослесарю нужна сила. Парень я был здоровый — мотор из «эмки» вытаскивал без лебедки. Автослесарю нужна смекалка. Смекалка у меня была Не было ума, чтобы перейти из таксопарка на завод «Севкабель». Таксопарк наш переименовали в Авторемонтные мастерские Северо-Западного фронта, потом организовали завод по расточке цилиндров для танковых двигателей, и наши мастерские перевели с Конюшенной площади в гараж «Интуриста» на Петроградскую сторону.

В каждом сквере были выкопаны щели. Окна магазинов на центральных улицах зашиты досками. Но в столовых, где по карточкам давали обеды, окна были еще

без затей.

Гречку, рис, макароны, не говоря уж о картошке, вытеснила чечевица. Соседка за столом в столовой сказала мне: «Я родилась в семнадцатом году и чечевицу ем в четвертый раз. Первый раз совсем маленькая была, в другой раз уже осмысленно, в тридцатые годы — это вы помните, потом финская война — это вы тоже помните. И вот снова… Откуда она приходит, чечевица? Где она зреет?»

Писатель Пе купил чечевицы килограмм в магазине на Садовой. Двадцать пять лет назад. Он все грозит позвать меня на чечевичную кашу. Я думаю, в 2000 году позовет, тогда он выпьет стакан водки, закурит сигарету, у него такая мечта, и угостит меня тарелкой чечевицы. Может быть, к тому времени в продаже появится кокосовое масло. Хотя кокосового масла он не пробовал, он уехал из Ленинграда в начале чечевичной диеты.

Я спросил в бакалее у девушки с глазами птицы Гамаюн, нарисованно-громадными и мелководными, как лужи на мраморе:

— Чечевицы, барышня, нет ли у вас?

— Че-че… Чего? — спросила она надменно.

— Чечевицы.

Она не шелохнулась. И тут старуха, шелудящаяся за моей спиной, толкавшая меня кулаком — я ей что-то заслонял, — вдруг закричала ржавым голосом:

— Да чтоб она сгорела — пламенем! Ишь чего выдумал!

— А вы, бабуся, не кричите. — Нарисованно-громадные глаза упали, как очки на кафельный пол. — Я уже слышала сто раз: тут вот стояла бочка икры черной, тут бочка икры красной, тут севрюга лежала, тут семга…

Глаза у девушки как окна с выбитыми стеклами. Небо за окнами низкое — тяжелые остановившиеся тучи, подкрашенные пожаром.

Напротив нашего дома в Гавани жила молочница Мария Павловна. Домик у нее был одноэтажный, избой назвать нельзя — кирпичный. Забор с колючей проволокой по верхам, чтобы мальчишки не лазали за редиской. Огород был. Корова. Собака Альма. Альма рожала щенков разной породы. Муж Марии Павловны работал извозчиком.

Из нашего окна было видно, как утром он запрягает лошадь, как распрягает ее вечером. Как Мария Павловна загоняет корову в хлев. Городское наше окно упиралось взором в деревню. Но дальше, за кирпичными домами, за железными

крышами вызревал посев новой жизни — Дворец культуры имени Кирова.

Лошадей призвали в войска. Муж Марии Павловны ушел вместе с лошадью.

Потянулись по улице обозы с военными грузами — странно, почти фантастично выглядели на Большом проспекте телеги с ранеными. Корову Мария Павловна засолила. Альма исчезла.

В декабре Мария Павловна умерла. Муж ее к тому времени погиб. И птицы над ее деревней не летали…

А в конце августа — начале сентября дни стояли солнечные, теплые, можно сказать — жаркие.

Одному жить плохо. Товарищи вдруг исчезли: и одноклассники, и во дворе.

Чем меньше становилось еды, тем более сужался круг общения. Но когда еда исчезла совсем, снова стало возможным ходить в гости. Это справедливо для неохваченных — охваченные организационно жили иначе. Я бы еще мог, наверно, пойти работать на завод «Севкабель». Я это понял позже, и поздно. Тогда я этого еще не понимал. Мешало возбуждение. Очень, вопреки происходящему, хотелось победы. Чудесной, сиюминутной победы. Чтобы сообщили по радио: «Дорогие братья и сестры, победа на всех фронтах!!!»

Я поехал к бабушке.

Бабушка жила с внучкой, студенткой-первокурсницей. Отец студентки, мой дядя, и его жена каким-то образом оказались в Саратове. А бабушка с внучкой остались.

Сестра, я думаю, обрадовалась мне. Все говорила: «Мы победим. Но право же, мне непонятно — что происходит?» Сестра жила в Германии и видела фашистов вблизи — «Такие рожи!» Кажется, она даже Гитлера видела. А я видел, как крылатый человек стреляет в девочку. И девочка, лежащая калачиком на шпалах, сбивала мои мысли, мешала говорить красиво. «Крылья разве для убийства? Крылья для полета — для боя!»

Молчала моя бабушка, спокойная, привыкшая ко всякой беде, мудрая и немногословная. Она знала, что разговоры лишь усугубляют страдания, иссушают душу, лишают человека твердости. Бабушка пошевелила мне волосы, наверное, хотела перекрестить, да смутилась, спросила, есть ли у меня деньги. Деньги у меня были, мне дали аванс.

Мы попили чай с сушками, сохранившимися у них с довойны, и я поехал обратно. В тот день ко мне пришел Марат Дянкин. Марат — самое

распространенное литературно-блокадное имя — не Спартак, не Марксэн, не Ревмир, но Марат.

Но сначала о Музе.

Замечательная девочка Муза жила этажом выше. Мы громко играли в футбол. Муза играла на фортепьяно. У нее были чистые-чистые руки, белые-белые воротнички, гладкая-гладкая кожа и много веснушек. Она была славная, портили ее лишь чарующие звуки и грациозные телодвижения.

К тому времени, когда она впервые сказала мне «Здравствуй», погибло уже четыре тысячи пятьсот наших самолетов. Было смертельно тошно, когда «мессершмитт», как бы шутя, сбивал наших соколов. Но они шли на него. Шли на таран.

Муза столкнулась со мной у парадной. Она сказала мне:

— Здравствуй, я очень рада, что ты живой. Эти негодяи взяли Любань. Я там три лета на даче жила.

И тут к нам подошел Марат Дянкин в широченных брюках и вислом свитере. Поздоровавшись, он назвал свое имя.

— Очень приятно, — сказала Муза и, что уж совсем обалдеть, совершила изящное приседательное движение. У Марата покраснели уши. А я сказал, чтобы прекратить курятник:

— Немец взял Новгород.

Музины длинные загнутые ресницы дрогнули, выпрямились, готовые полететь и поразить врага.

— Злодеи, злодеи… — это ее слова. — Но если они войдут в город, я буду лить на них кипяток, потом выброшусь из окна.

— Зачем кипяток — раздадут оружие, — это сказал Марат.

Муза смущенно глянула на него, потом на свои чистые-чистые руки, улыбнулась робко и побежала вверх по лестнице, боязливо сведя лопатки: она боялась, что оружие в руках удержать не сможет и выстрелить в немца не сможет — в его поганое ледяное сердце.

Марат должен был, глядя Музе вслед, сказать: «Профурсетка», — но он сказал:

— Батя погиб…

— На брата Колю похоронка пришла, — сказал я в ответ.

Мы долго молчали, словно были виноваты друг перед другом, потом обнялись.

Чувством, владевшим всеми подростками в городе, была баррикадность. Хоть никто и не допускал возможности уличных боев, каждый видел себя в них победителем. То, что городу предстояло перенести, не могло и в голову-то прийти никому. Не только в голодных снах — а жрать уже хотелось постоянно — но даже душевнобольным на Пряжке. Интересно, вывезли их из блокированного Ленинграда, спасли мы для будущего психов и хроников? Наверное, спасли.

Сладкозвучную Музу с рыженькими веснушками, в белом-белом воротничке, я мог все же представить за пулеметом, но не с тарелкой студня, сваренного из столярного клея, не с блюдцем оладий, испеченных на малярной олифе из вымоченной в четырех водах горчицы.

Я ждал мать. Но она все не возвращалась с окопов.

И однажды в гараж пришла женщина с забинтованной головой — мойщица машин. Меня к ней послали.

Глядя в сторону ослепленными воспоминанием глазами, она рассказала, как погибла моя мать. «Сгорела. На нее бензин фукнул. Она бросилась в воду, и вода, ну, там, куда она бросилась, еще долго горела…»

Кроме мойщицы в гараж вернулись еще две женщины.

И все…

Мой школьный портфель перестал быть убежищем моих двоек, превратился в гроссбух моего сиротства; я достал из него похоронку на моего брата Колю и на обратной стороне уже начавшего желтеть листка написал дату маминой гибели.

Я сидел перед зеркалом, его подарил маме ее второй муж, рыжий летчик, и что-то осыпалось с моих глаз — не слезы, слез не было, — что-то вроде сверкающей невесомой парши.

Наверное, именно в тот день произошло смещение моих психогенов от романтического многогранника к смешливой загогулине, и зеркало способствовало этому смещению, даже в самые страшные дни оно корчило мне рожу.

Но в раннем детстве я никак не мог увязать простодушное свое отражение в

зеркальном стекле с собой живым, все пытался заглянуть зеркальному мальчику за спину, и терпел неудачу — ударялся о его гладкий холодный лоб своим тогда тоже гладким теплым лбом. Я пытался застать врасплох зеркального мальчика, но он всякий раз оказывался хитрее и проворнее меня.

А с Маратом Дянкиным я учился с третьего класса. Мы сидели с ним за одной партой. Все, что не касалось драк, мы с ним делали вместе. Долгое время, а еще точнее — всегда — он был моим самым близким душевным другом.

У него было много сестер от разных, они это особо подчеркивали, отцов. Брюнетки, шатенки, блондинки являли собой могучую заросль: идешь по кухне — она у них служила и коридором, и гостиной — и тебе загораживают путь полуодетые баобабы.

И мать у Марата была очень крупная, и отец тоже.

Отец, хоть и большой, но не могучий, работал пожарным. Сестры считали Марата за своего, называли Муриком, а вот к папаше его относились трамвайно. Мол, «пардон, разрешите пройтить...» От всех своих крупных, уже взрослых, сестер Марату перепадали двугривенные, и он брякал ими в кармане — привычка, прямо сказать, дурацкая и весьма неприличная. Когда я хотел его уязвить, я говорил ему: «Ну перестань играть на бильярде, Мурик». Вообще же все называли его просто Дянкин. Сейчас, пожалуй, мало кто и сообразит, что происходила его фамилия от варежек, которые наши бабушки упорно называли дянками. Они не говорили даже «рукавички», — только дянки. Перчатки считали глупостью, чем-то вроде противозачаточного средства.

Перчаток мы, конечно, не носили. Но очень хотели иметь и белый шарф, и шелковый цилиндр, и перчатки с кнопкой. И к этому ко всему — трость. Некоторым повезло: железо мимо них пролетело — они, потея и хихикая, напялили на себя в Германии цилиндры и в таком виде сфотографировались.

Писатель Пе называет такие фотокарточки возвратным тифом онанизма.

Марат Дянкин, широкоплечий, ширококостный, в широких брюках и широком обвислом свитере, брякал двугривенными в своих необъятных карманах, но мы не завидовали ему — мы не знали стеснения в деньгах. У нас была СВАЛКА — КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА!

Завод «Севкабель» вывозил на свалку и свинец, и медь. От него не отставали завод «Коминтерн» и другие заводы, в том числе и Балтийский. От них не отставали все слои населения: рабочий класс, партийцы, спекулянты, интеллигенция, артисты, учащаяся молодежь. Всем было ничего не жаль. Один раз мы нашли два серебряных кубка, связанных шелковой лентой. Не говоря

уже о серебряных ложках и вилках. А медные кастюли! Тазы! Фарфор. Фаянс. Книги. Готовальни.

Ларек «Утильсырье» стоял прямо тут, на выходе со свалки. Отечный вонючий утильщик в беспалых перчатках пытался зажилить двугривенный из скупой, назначенной им же самим цены. Мы боролись за справедливость — на ларьке висел прейскурант. И, победив, ликовали.

Прямо со свалки мы шагали в кинотеатр «Маяк», где на детских сеансах стекали горячими ручьями по наклонному полу и божественный страх и божественный смех малышей. Такого уже не будет, ничто уже не ввергнет детей в пучину абсолютной радости.

Дянкиного отца в семье называли Кум Пожарный. Дянкиновы сестры над ним подшучивали: потянувшись за сахаром или за солью, они норовили коснуться его лица грудью, как говорил Дянкин — «соском». Меня так заворожили их нравы, что однажды, придя к Дянкину, я сказал:

— Привет, Кум Пожарный.

По лицу «Кума» прошла судорога. Прохрипев что-то неразборчивое и неприличное, он схватил меня за шиворот и выбросил на лестницу.

— И чтобы ноги твоей больше тут не было!

Дянкиновы сестры, еще дверь не закрылась, за меня заступились: чего же, мол, оскорбительного в слове «кум»?

— Каждый щенок! Каждая сопля! Каждая проститутка! А я человек! — кричал Кум. — Я боцманом плавал! Руки у меня!..

Долго я не приходил к Марату, но однажды, пробегая мимо пожарной части, я услышал свое имя. Кум Пожарный сидел на скамейке под медным колоколом.

— Приходи, — сказал он. — Давай инцидент забудем. Ты понял, не называй меня так. Эти кобылы меня так называют — черт с ними, шлюхи чертовы. Я вообще у них с боку припека. Только Мурик со мной считается. Имя мальчику выдумали — Мурик… Не будь его, я бы да о-го-го! Я бы с Папаниным. Да, черт меня подери, я же ведь все могу. У меня руки… Родила она, понимаешь, мальчика, ну и пришлось, и терплю. В пожарку устроился. Я же его и вынянчил. Здесь-то сутки дежурю, трое суток свободный — халтурю. У меня ж руки — за что ни возьмусь… И за Маратом присматриваю…

Я пришел к ним в тот же день, и никто не подал виду, что имел место инцидент. Пахло ананасом — старшая Дянкинова сестра Нюра, служившая в Таллинне,

приехала в отпуск с ананасом и чемоданом подарков.

Она погибла в Таллиннском походе.

Мы с Дянкиным потоптались у моего парадника. Дянкин спросил о Музе и опять профурсеткой ее не назвал — он всех девчонок называл профурсетками. Ну, я сказал, что она не вредная, хоть и интеллигентка. Потом мы пошли к нему. Сестер его дома не было, все — я этого ожидал — были на фронте.

— Экипаж машины боевой, — сказал Дянкин. — Впрочем, в один танк они не запятятся. У них буфера как кастрюли. А задницы… Писем сколько наслали. Тебе приветы передают. А эта Муза — кипяток она будет лить! На каком она этаже живет?

— На четвертом.

— Кипяток, пролетая, остынет.

Мать Дянкина была деловая. О гибели мужа не сказала ни слова — говорила о песке, который не там разгрузили, о пустых бутылках, которые нужно собрать для заполнения их зажигательной смесью. «Мы — истребители танков» — говорила она. Она посещала курсы по истреблению танков.

В тот день, когда мы встретились у моей парадной, Марат Дянкин пришел из деревни, из Вологодской области.

Наверное, он был последним — блокада за ним сомкнулась.

Я забегал к нему часто. Глаза его с каждым днем становились все медленнее, все синее, а губы тоньше и бледнее и как бы наполнялись воском. Крупный, широкий в кости парень усыхал, превращался снова в мальчика — может быть, в духа, может быть, в медленно пульсирующую мысль, похожую на узор лесной паутины с искорками росы на стыках нитей. На работу его не брали.

Дянкин был нездоровый, поэтому, наверно, он так неудержимо быстро худел. Он мерз. Было тепло, а он мерз.

— Зачем ты из деревни ушел? — говорил я ему. — Жил бы с бабушкой. Корова, курицы, баранина…

— А ты чего же в Ленинград приперся, не захотел с бараниной?

Он спрашивал о Музе.

— Играет на рояле?

— Каждый день.

Он крутил головой — может, пытался услышать Музин рояль. С его воображением это было раз плюнуть. Он мог летать, мог стать лучом.

В душе параллельных линий нет, в душе даже лучи пересекаются. И где-то там, на небесах, подчиняясь высшему закону, Дянкин-луч пересечется с Муза-лучом. В точке их пересечения вспыхнет звезда.

Марат заболел по-идиотски. Его болезнь всю нашу школу смутила и сбила с толку. Одна девчонка из нашего класса побила его очень сильно. Он был воспитан в абсолютном уважении к женщине — тут и его мать постаралась, и его многочисленные сестры. Он не мог дать той девчонке сдачи, а нужно было ей немедленно врезать. И ей было бы лучше.

Она исцарапала ему лицо, пропахала ногтями череп. Он ни в чем не был повинен, она сорвала на нем свою злость. Мы едва ее оттащили, а он заливался кровью. Страшно было смотреть. Полосы от ее ногтей остались на его лице для меня навсегда.

Девчонка была созревшая телом, гуляла с ребятами много старше себя, причем с приблатненными. Кто-то из этих ребят сделал фотоколлаж — в порнографическую открытку впечатал ее лицо. Дянкин это художество у нее увидел на парте. Почему она не разорвала карточку, почему на нее пялилась?

— Успокойся, делов-то, — сказал ей Дянкин.

И когда мы ее оттащили от Дянкина, она изловчилась, ударила его ногой. Потом она ничего объяснить не могла. Перед Дянкиным не извинилась. А у него стала раскалываться голова. Может быть, ее ногти и его головная боль не были связаны между собой, но мы увязали, мы увязали крепко. Мы, конечно, не колотили девочек, но эту решено было девочкой не считать.

Ни температуры у Марата, ни кашля — просто раскалывалась голова, его тошнило от этой боли, а доктор ему не верила, говорила, что он симулянт. И только когда он упал без сознания, завуч вызвала «скорую помощь». В тот же день ему продолбили череп за ухом, потому что у него был менингит. Еще денек — и лежать бы ему в узком ящике, обитом саржей.

В наш класс он уже не пришел. После больницы его определили в школу взрослых, где вероятность случайных толчков и ударов портфелем по голове несколько меньшая, к тому же взрослые станут его беречь — так думали доктора и, в общем, правильно думали. Марат был доволен. Его действительно

берегли, списывали у него домашние задания, угощали яблоками, соевыми батончиками и карамелью.

Марат был счастлив тем, что ему не грозили ежедневные встречи с той девочкой, которую мы все уже девочкой не считали, но только кобылой.

Экзерсисы на тему «Дянкин Марат — больной» я проигрываю, чтобы коснуться его упорного поросячьего идиотизма — я тогда так считал. На свалке Марат набирал кроме меди и свинца большое количество ненужных вещей: тумблеры, верньеры, разноцветные выпуклые стеклышки, эбонитовые платы, конденсаторы и фиговины неизвестного нам назначения — все это в изобилии поставлял на свалку завод «Коминтерн».

Никто это дерьмо не брал, в «Утильсырье» за него не платили — лишь кучка тихопомешанных радиолюбителей видела в них скрытый от здорового населения смысл. Но Дянкин — он видел миры иные, иное небо, иные грозы.

Радиолюбители сооружали радиоговорители. Дянкиновы творения были таинственны и непонятны самому Дянкину. Они мигали, попискивали, тряслись, из них вдруг вылезали какие-то рычаги и тут же прятались. Они были безупречны с точки зрения бесполезности.

Я говорил Дянкину:

— Собрал бы хоть детекторный приемник — стыдно же, как ребенок. Хочешь схему дам?

Дянкин смотрел на меня с пониманием и прощением.

Он уходил от наших коллективных забот, свободных от сомнений, в пространство кривых зеркал, где уродство оборачивается гармонией. Что-то было в Дянкиновых творениях жуткое. Я рассказал о них брату Коле.

— Поведи меня посмотреть, — попросил он.

Дянкин разрешил, и мы с Колей пришли.

Коля смотрел долго, так смотрят на скульптуру или живопись.

— Убери эти платы, эти рычаги, надо конструкцию раскрыть и развивать ее в глубину, как бы в бесконечность. У тебя тема «Случай»? «Толчок»? Это, черт возьми, трудно. Всякое шевеление превращает скульптуру в игрушку. Попробуй статику. Скажем, «Предслучай». Все напряженно, все ждет.

— Я попробую, — сказал Дянкин. — Только ты да батя и поняли, что к моим этим

штукам… вещам надо относиться с точки зрения искусства, а не техники. А этот твой брат кретин…

— Но-но, — сказал я. — С точки зрения… — Я на Дянкина обиделся. Мог бы мне намекнуть. Что я, колун? Я бы понял.

На самом деле я бы даже и не захотел понять. Только Колин авторитет предостерег меня от ухмылок и снисходительной трескотни. Впрочем, «обиделся» — сильное слово, скорее я с досадой осознал вдруг, что Дянкин меня обошел на каком-то повороте и теперь он взрослый и умный, а я пузырь — брат Коля все же успел мне вложить, что существительное «ум» происходит от глагола «уметь». От меня красота, если она все же была, Дянкиновых конструкций ускользала, я воспринимал лишь реальные связи: пайку, заклепки; болты — но не ассоциации и уж тем более не функции частей во взаимодействии с пространством и светом.

Коля сказал мне, что Дянкин своим умом допер дотуда, докуда еще не просунулся авангардный художник Татлин Владимир Евграфович.

Татлина я понимал как пропагандиста-романтика, предтечу грядущего утра — мы тогда умели так говорить и так думать. В Дянкиновых хреновинах был абсолют и никакой зари — только бескрайность ночи с золотыми пуговицами застегнутого наглухо мундира. Что ты придумал, Дянкин?

После известия о смерти матери я занавесил зеркало простыней — мне все время казалось, что в зеркале я увижу ее, и Колю, и почему-то Дянкина. Я оставался после работы в гараже, писал призывы и указатели, сшивался у Музы, слушал ее рояль.

Но однажды ко мне пришла мать Марата.

— Я который раз к тебе прихожу, — сказала она. — Все тебя дома нет. Слыхала, что ты остался один. Горе, горе… — И вдруг спросила: — Зачем тебе одному шифоньер? Все твое барахлишко можно на гвоздик повесить. Я у тебя этот шифоньер куплю.

— Сколько дадите? — спросил я непроизвольно и почувствовал, что щеки мои горят.

— Килограмм сахару.

— Вы этот сахар поберегите.

Глаза у нее блестели, она гладила шифоньер рукой, обычный довоенный шифоньер, фанерованный дубовым шпоном, правда, хороший, необшарпанный.

— Да берите его бесплатно.

Она кивнула, стала вынимать из шифоньера вещи, складывать их на мамину кровать и на стол. А когда освободила и вытерла шифоньер внутри тряпкой, то вынула из своей сумки и поставила на стол два пакета сахару.

— Ты его развинти. Вечером я с подругой приду. И унесем. Мурик свинтит.

Шифоньер разбирался легко. Когда его унесли, на обоях осталось пятно, похожее на арку, и, как мне показалось, появилось пятно на моей совести. Не из-за сахара. Если у Маратовой матери есть сахар на шифоньер, наверное, Марат не голодный.

Ночью я не мог уснуть, мне казалось, мама хочет открыть шифоньер, а его нету. Она скребет стену…

Утром я поехал на Международный проспект, чтобы прорваться к Пулковским высотам. Меня остановили у рогаток, посмотрели документы и без объяснений прогнали.

Я работал. Я хорошо работал. И слесарем, и жестянщиком, и в моторе уже разбирался. Я вникал.

Хлеба теперь дают вместо четырехсот граммов триста. Вечером, после десяти, ходить без пропуска нельзя. От пустого места, где стоял шифоньер, деться некуда. Толкаюсь у Музы. У нее хорошая мать. Курит махорку, скручивает цигарки тонкими пальцами. Сколько я помню свою маму, она тоже всегда курила. Наверное, закурила на заводе «Севкабель», когда стала ударницей. Она быстро стала ударницей…

Дянкин сахар я не трогал. Понес Дянкину. Дянкина мать была исполнена благородства.

— Никаких разговоров, — сказала она, — сахар твой.

Шифоньер стоял в большой комнате, среди других чужих вещей.

Марат повинтил у виска пальцем и прошептал.

— Свихнулась. И мне никуда от нее не уйти.

— От кого? — спросил я.

Дянкин не ответил.

После войны, едва я вернулся в Ленинград, ко мне пришла одна из Дянкиновых сестер. Сказала:

— Мать хочет тебя видеть. Умирает она. У нее рак груди. Операцию сделали, но метастазы проникли в легкие, что ли. Ты ее успокой.

— Чем?

— Сам поймешь.

Она лежала в большой комнате на широкой кровати, тоже купленной за харчи. Она схватила мою руку.

— Мурик меня простит, как ты думаешь? Он должен меня простить. Я хотела как лучше.

Говорят, глаза у людей, медленно умирающих, обесцвечиваются. У нее, как и у ее сына, глаза были синие и влажные.

— Простит, — сказал я. — Вы же хотели как лучше.

Она была очень худая, блокада не кончилась для нее. Оттолкнув мою руку, она закричала визгливым тихим криком:

— Я негодяйка! Нужно было Мурика вывезти. Он был один у меня родной. Эти девки меня и за нуль не считают. Я им не мать. Шлюхи они. Мурику я была мать. Ты приходи. Я на тебя буду смотреть. Я умереть хочу. К Мурику хочу…

Маратова сестра проводила меня на улицу.

— Смешно. До войны я была всего лишь невеста. У меня было два жениха — моряки. А сейчас, поди ты, старуха. Вдова двух несбывшихся капитанов.

— Да ладно тебе, — сказал я ей по-братски. — Все еще у тебя устроится.

— Детей не будет. — В глазах ее загорелся тот же огонь, что горел в глазах ее больной матери. Что-то жгло ее изнутри, какое-то удушающее безумство.

В Берлине, в Моабите, стояли мы в незначительном скверике, грелись насолнце, чего-то ждали. Слух прошел, что Гитлер удрал на подводной лодке толи в Аргентину, то ли в Бразилию, в глушь. Но ведь кто-то подпишеткапитуляцию — не может быть настоящей победы без протоколов и подписей.

От машины к машине ходил чужой капитан, очень чужой — не фронтовой, но бравый, красивый, как артист оперетты.

Подходит капитан к нам и говорит тихо:

— Разведчики, ну вы же парни широкие — душа нараспашку. Сделайте подарок генералу-стажеру.

— Интересное звание, — сказал Егор с большим удивлением. — Разве такие бывают?

— Бывают, — ответил ему капитан. — Вообще он генерал-лейтенант. Большой тыловой начальник. К вам приехал на стажировку.

— Какая же стажировка? Гитлер уже удрал на громадной подводной лодке черного цвета.

Капитан засмеялся, и был у него во рту зуб золотой.

— Тем более, разведчики. Нужно ему привезти домой хороший трофей.

— Конную статую кайзера с рейхстага, — сказал Егор. — Очень приличная статуя.

Капитан улыбается, в глазах штиль. Достает из планшета бумажку и подает мне, причем из пальцев не выпускает. На бумажке написано, что отделение разведчиков преподносит уважаемому генералу такому-то аккордеон «Хонер», и подпись: «Сержант А. Сивашкин».

Угадав, что текст я уже прочитал, капитан выдернул бумажку из моих рук, в кулак зажать я ее не успел.

— Хорошо бы расписаться всем. Красиво было бы, — сказал он. — Генерал вашу простую, от души, записку в рамочку и на стену. Он такой. Его маршалы посещают.

— Парни, — сказал я, — сволочь Сивашкин подарил от нас, от всех, гармонь товарищу генералу-стажеру. А вот товарищ капитан-стажер хочет наши подписи.

— Мы его убьем! — крикнул Писатель Пе.

— Но, но… — капитан побледнел слегка.

— Они не вас убьют — идиота Сивашкина, — объяснил я. — Кстати, где идиот Сивашкин?

— Его в штаб вызвали с аккордеоном, — сказал Егор.

Капитан построил скучное лицо.

— Значит, как я понял, подписей под дарственной не будет. Но это же не серьезно. Какие-нибудь другие воины подпишут. — Он улыбнулся ослепительно. Лицо его было как заголенный зад — такая насмешка над нами. Подчеркивал эту насмешку зуб золотой. А в светло-серых глазах ни единой тучки — прозрачный на всю глубину кристалл без зрачка. Мне почему-то показалось, что в мирной жизни капитан работал в цирке со львами — у львов вырваны когти, подпилены зубы до обнаженного нерва, львы едят только фарш и омлет.

Минут через пятнадцать мы втроем пришли в штаб: я, Егор и Писатель Пе. Взвод управления знал нас всех как облупленных. Мы объяснили, что нам к генералу, — он вызывал.

— Генерал угрюм. Ваш Сивашкин на него тоску нагнал классикой. Вы так втроем и пойдете?

— Как вызывал, так и пойдем.

Штаб бригады помещался в подвале, сухом и чистом, хорошо освещенном, оборудованном под бомбоубежище.

У задней стены на скамье сидел наш Анатолий Сивашкин с аккордеоном, играл «Полонез» Огинского. Очень виртуозно. И очень грустно — до слез. Он всегда утверждал, что «Полонезом» Огинского можно даже из кирпича слезу выжать.

За столом сидели два генерала. Один наш — генерал-майор, другой — чужой генерал-лейтенант. С ними начальник штаба. Кофе пили.

Я подошел к Анатолию, а он, почувствовав, за чем я иду, сбросил ремень с плеча, привстал и протянул мне аккордеон, причем глаза его готовы были пролиться мне в ладони. Я передал аккордеон Егору. Тот пошел к выходу, но там дорогу ему заслонил капитан-стажер. Егор оттолкнул капитана плечом вежливо и передал аккордеон Писателю Пе. Писатель Пе заскакал вверх по лестнице через две ступеньки. Автоматчики сгрудились на лестнице, загородив

дорогу капитану-стажеру. К тому же Егор удержал его за руку со словами:

— Товарищ капитан, я хочу извиниться — я вас нечаянно плечом толкнул. Прошу простить. Давайте я вас почищу. Слегка испачкал… Я быстро…

Все это происходило от меня сбоку. Я видел боковым зрением. А прямо передо мной медленно вставал из-за стола генерал-лейтенант. Лицо у него было властное, победное, под маршала Жукова.

Я не дал ему и рта открыть, прокричал, вытянувшись в струну, по-уставному:

— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу генерал-майору!

Генерал-лейтенант то ли взял себя в руки, то ли вспомнил, что он тут стажер.

— Разрешаю, — сказал неласково.

— Товарищ генерал-майор, — проорал я, — разрешите забрать сержанта Сивашкина на задание по разведке минирования мостов в районе Шпандау!

— Разрешаю, — сказал наш генерал. — Что это ты тут устроил с аккордеоном?

И я уже тихим голосом, словно делюсь тайной, сказал:

— Извините — секрет. В роте разучивают музыкальный триумф к нашему святому Дню Победы. Торопятся. Говорят, Гитлер на подводной лодке в Аргентину удрал. Опустело логово.

— Забирай своего меланхолика — и марш! — скомандовал наш генерал и отвернулся в сторону, чтобы гость не прочел чего-то в его глазах. А начальник штаба, тот в пол смотрел.

Я отдал честь и, грохоча подошвами, пошел из подвала.

На рожах автоматчиков, радистов и телефонистов, даже на лицах их командиров я различил смущение, происходящее от удовольствия, только Сивашкин был красен, или ал, как мак.

На лестнице капитан-стажер сказал мне:

— Хам! Клоун! Колун!

Я откозырял ему.

— Разрешите с вами попрощаться, товарищ капитан-стажер.

Младший сержант Анатолий Сивашкин лопотал мне «спасибо». В машине он полез за аккордеоном, чтобы обтереть его фланелью и укутать в байковое одеяло. Аккордеона не было.

— Отдайте гармонь, — сказал он.

— А нету, — ответили ему. — Ты иди еще какую-нибудь дарственную подпиши.

— Подари стажеру мой парабеллум, — сказал Егор и вытащил из-за пазухи пистолет. — Смотри, какой страшненький. «Товарищу генералу-стажеру на память от Толика. С приветом». И подпись.

— Вы бы на моем месте тоже подписались бы. Когда генерал-лейтенант тебе улыбается. А у капитана глаза пустые, как будто из них все вылили. Подписали бы! — закричал Сивашкин.

— Я — нет, — сказал Егор. — Хватил бы аккордеоном об пол — и на губу. А может, и дальше…

— Я бы тоже не подписал, — заявил Писатель Пе. — Правда, аккордеон не разбил бы — жалко.

— А я бы — хрен его знает, — сказал Паша Сливуха. — Наверно бы, подписал, я генералов боюсь.

— То-то и оно, — поддержал Сливуху Шаляпин. — Я бы тоже подписал. Мне биография не позволяет вскидываться. Но все равно ты, Толька, сволочь.

— Отдайте гармонь! — завопил Сивашкин. — Сами вы гады. — Он вдруг сник и сказал тихо: — А в глазах у этого генерала-стажера что-то такое, на скулящей ноте, как у того генерала-аншефа в Потсдаме.

Мы представили старика-аншефа в веснушках, в растянутой вислой кофте, с сухими ручонками, когда-то державшими меч нации. Ему бы не перед нами капитулировать, а перед генералом-стажером, со щелканьем каблуков, с подписанием протоколов на мелованной бумаге с золотым обрезом, с дегустацией кофе, слушанием органа и при свечах. А потом спеть дуэтом.

— Отдайте гармонь, гады! — опять завопил Сивашкин. — Ну отдайте гармонь…

Шаляпин ему подсказал великодушно:

— Толя, извинись за «гадов» и попроси как следует, с осознанием своей подлой вины. Эх, «Ла Палома», «Ла Палома»…

Аккордеон был «Хонер», но мы иногда называли его «Ла Палома» — в честь того незабвенного красавца, на который Сивашкин без нашего ведома выменял нынешнюю свою гармонь и очень гордился своей удачей.

Была у нас в экипаже плохонькая хромка, мы ее выменяли у пехотинца еще в России за котелок муки, пшеничной несеяной. Правда, и машина у нас была тоже другая — канадский гусеничный бронетранспортер, вооруженный противотанковым ружьем. Имел тот бронетранспортер такое неприятное свойство вертеться волчком на поворотах, неумолимо сползая в кювет. Особенно быстро вращался он на мокром асфальте, навозе и гололедице. Он так и слетел в реку, проломив перила. Утонуло целомудренное противотанковое ружье, а вот хромка не утонула. И когда мы получили новую американскую замечательную машину вместе с сопровождающим, а именно младшим сержантом Сивашкиным, мы отметили это событие громкой истерикой нашей красноротой хромки. Младший сержант Сивашкин нашу игру застенчиво, но смело пресек, сказав:

— Так нельзя. Оно — инструмент. — Взял хромку в руки, склонился над ней, и она запела. И мы услышали, что наша хромка, издававшая в наших руках исключительно коровьи и козьи звуки, действительно инструмент задушевный.

Поиграв на гармошке минут пятнадцать, простодушно хитрый гармонист Анатолий Сивашкин сказал:

— Если бы аккордеон, тогда бы я дал…

Мысль об аккордеоне разрослась в каждом из нас в мечту. А у Сивашкина — в черную меланхолию. Мы ему саксофон приносили, банджо, скрипку, гитару — он на всем этом играл, но по-настоящему он владел только аккордеоном. В этом мы убедились, выбив из какой-то усадьбы, напоминающей небольшой Гатчинский дворец, подразделение немцев-зенитчиков.

Особняк мы осмотрели — факт. В нем было много зеркал в темных рамах и мало мебели — тоже темной, почти черной.

На кухне хоть шаром покати. Даже стулья хозяин-барин куда-то эвакуировал.

И вот в этом поместье, когда мы раздумывали, как быстрее и лучше выбраться на соединение с бригадой, а Сивашкин Анатолий ласкал краснощекую хромку, к нам подошел поляк и спросил: не желают ли паны аккордеон люксус? Поляк так громко зачмокал и так круто закатил глаза, что мы, конечно, сознались: мол, не только желаем, но даже мечтаем.

— То, панове, зараз немного буйки.

— А без буйки нельзя? — спросили мы.

— Без буйки зараз не можно. Една курва пушку захапала. Буде стрелить вшистко.

— Фашист?

— Не. Коллаборационист.

Этот коллаборационист нас очень заинтересовал. Может быть, больше аккордеона.

Поляк повел нас по красивой аллейке густого стриженого кустарника. В конце аллейки он попросил нас осторожно высунуться и посмотреть перед собой.

Писатель Пе тут же брякнулся на землю и сквозь безлистый снизу кустарник разглядел пушечку.

Мы тоже легли.

Пушечка была зенитная, сухонькая, как насекомое. Стояла она по ту сторону утрамбованной площадки, у такой же стенки кустов. И что самое для нас любопытное — пушечка дергалась, как паралитик, поворачивалась и опускала острый ствол в нашем направлении. Видимо, осваивал ее человек решительный, но сугубо штатский, может даже портной.

Из-за пушечки послышался крик: мол, если ты, курва Казик, привел русских жолнежей, то он (наводчик) не побоится ни черта, ни Матки Боски, ни русских жолнежей и вобьет каждому в дупу фугас, а курве Казику — два. Пушчонка для подтверждения пошла палить, срубая ветки у нас над головами.

— Аккордеон там, — сказал Казик. — Этот курва Збышек псих и вор. Немного буйки, Панове. Стреляйте с пистолей. Бросайте гранаты…

Впереди по дорожке стояла каменная беседка, ребята поползли к ней, мы же с Писателем Пе вернулись к особняку, вышли на параллельную аллейку и подошли к пушечке.

С той стороны поляк Казик кричал, что русские жолнежи пошли за минометом и от Збышека сейчас останутся только уши — маме на память.

На сиденье пушчонки скорчился горбатый парень, небритый, болезненный и злой. Когда мы слишком самоуверенно и оттого беспечно попросили его

поднять руки кверху, он вмиг развернул пушечку и нажал на гашетку. Но мы уже катились по утрамбованной земле и были уже совсем рядом с его насекомой пушечкой, иначе он выпотрошил бы нас, как петушков.

Когда мы вскочили на ноги, он закрыл голову руками, но Писатель Пе все же врезал ему левой снизу, а я завернул ему руку за спину.

От беседки бежал Казик, за ним шли парни. Они сразу сдвинули пушку в сторонку — мы даже и не заметили, что она стояла на стальных створках люка, закрытых на амбарный замок. Ключ был у Казика. Он открыл замок и отбросил его. Со скрипом распахнулись тяжелые люковые створки, и мы увидели обширный бетонный погреб, забитый доверху вещами: чемоданами, узлами, ящиками. Прямо сверху на перинах лежал аккордеон. В футляре он казался неестественно большим. Казик кивнул на аккордеон Егору и спрятал свои руки за спину.

Егор вытащил аккордеон и открыл футляр. И мы обомлели. В футляре, в складчатом белом шелке, сверкал инструмент. Белый, с золотыми узорами и золотыми мехами. Мы потянулись его погладить, и тут же отпущенный мною Збышек схватил с земли амбарный замок и хряснул Казика замком по голове. Казик завалился набок — он так и стоял на коленях над погребом. Мы бросились Збышеку руки выкручивать, он не сопротивлялся. Но тут из-за кустов вышла высокая осанистая полька лет сорока.

— Не мучайте его, — сказала она по-русски. — И вообще уходите. Они братья и сами между собой разберутся. — Дама помогла Казику встать на ноги, подала ему свой платок кружевной, чтобы он приложил его к ране — у Казика из-под волос стекала на лоб кровь — и очень музыкально, на высоких нотах, принялась их обоих честить. Братья сразу объединились, окрысились на нее.

Когда наша машина тронулась, мы еще слышали: «Курва… Украдла… До склепу… Пся крев… Курва…»

Склеп — это лавка. Наверное, братья и осанистая дама закладывали над погребом основы нового торгового товарищества.

Ах, как красив был наш аккордеон. Назывался он «Ла Палома». Итальянский. Толя Сивашкин мог бы играть на нем даже в бою, если бы не боялся, что пули или осколок порвут золотые мехи.

Но однажды в руках у него мы увидели перламутрово-серый компактный «Хонер» с мехами темно-малиновыми.

— Что за гармонь? — спросили мы надменно.

— У одного дурака выменял на «Палому».

— !!!!!!! — так звучало наше молчание.

— И вы дураки, — сказал он. — «Хонер» — лучшая в мире фирма, как «Стейнвей». Четыре регистра на голосах, два на басах. — Толя переключил регистры, и голос аккордеона окрасился высокой органной грустью.

У «Паломы» регистров не было — очевидный факт. Но мы сказали, взвинчиваясь:

— А красота?

— Красота ярмарочная. А тут строгость. Это — гармонь. Инструмент настоящий.

Он был, конечно, прав. Но морду ему набить стоило…

Погиб Анатолий Сивашкин третьего мая, когда вся наша часть целиком выбыла из войны.

Мы шли колонной в город Альтштрелец, из которого нам, кому раньше, кому позже, предстояла дорога домой, — так мы думали.

Толя Сивашкин наклонился ко мне, я сидел от водителя справа, а он на рундуке — выше и позади меня, и вроде тайком подал мне конверт.

— Пошлешь маме, — сказал. — Я сегодня погибну. Не знаю, застрелят меня или как…

— Что ты молотишь? — прошептал я ему, оторопев и разозлившись. — Полоумный псих, истеричка — кто тебя застрелит?

— Не знаю. Чувствую — укокошат. И не спрашивай. Я хочу, чтобы ты послал письмо моей матери, там все написано. Не хочешь — я попрошу Сливуху Пашу, он умнее… — В его голосе была мудрость чахоточного, уставшего от пустого участия и пустых надежд. — Считай, что я с тобой попрощался. — Он гордо отвернулся от меня, раскутал аккордеон — он возил его в байковом одеяльце, и заиграл что-то хорошее.

Выстрел раздался всего один.

Сердце мое сжалось в горошину; не оборачиваясь, я увидел все, что случилось. Увидел, как Толя Сивашкин медленно сполз с рундука, встал на колени и уже неживой стиснул мехи гармони, машину тряхнуло и он упал на стальное дно

бронетранспортера. В глазах его не было ни мечтательности, ни удивления — удар крупнокалиберной пули был так силен, что всякая тут мечтательность не всерьез.

Когда я обернулся, ребята уже прикрыли Толину голову байковым одеяльцем. Толя лежал грудью на аккордеоне и пальцы его как бы гладили клавиши.

Случилось же вот что: пулеметчик следовавшей за нами машины заметил, что пулемет его, крупнокалиберный «браунинг», почему-то стоит на боевом взводе. Не включая разума, пулеметчик нажал на спуск, и раздался только один выстрел — для Толи Сивашкина.

В пулемете, разумеется, не было ленты — был единственный позабытый в патроннике патрон.

Кто сочтет этот факт измышлением, тому легче. Но не следует горячиться — я бы тоже предпочел так считать.

Это случилось третьего мая по дороге из Берлина в Альтштрелец. И однажды, уже в Ленинграде, ко мне пришла Толина сестра — специально приехала из Калинина — и попросила меня все рассказать. Она ушла, так и не поверив мне, — почему-то легче верить в злой умысел.

В песчаную могилу мы положили сосновые ветки, постелили траву. Аккордеон, чтобы не давил Толе на грудь, мы поставили рядом с его головой.

Егор разрезал темно-малиновые мехи финкой.

Когда в одиночестве мы догоняли свою часть, Писатель Пе вдруг сказал:

— Надо было отдать гармонь генералу-стажеру. Анатолий бы не погиб. Богу безумных нужна была жертва.

Потихоньку этот бог прибрал в свою мерцающую утробу почти всех нас. Глаза его без зрачков, лицо бесстыжее, как заголенный зад, и — зуб золотой. Иногда что-то черное вплывает в его налитые до краев глаза и, постояв, проходит их, словно шлюзы: вот именно — это черный пароход нашей памяти.

Мой товарищ, тот самый — в бывшем кудрявый артиллерист, знакомый с иностранными языками, — сидя на скамейке в садике больницы номер один города Ленинграда, спросил меня:

— А скажи-ка ты мне, почему ты о боях не пишешь? Создается неправильное впечатление о войне. Хенде хох и дупель-кюмель. Что скажешь ты в свое оправдание?

Я ему объяснил, что о боях не пишу специально, потому что не умею писать страшно, а если о боях писать не страшно, то что это будут за бои такие, с точки зрения подготовки молодого бойца?

Это мое возражение он одобрил по-английски:

— О, йес!

Я сказал, что о боях хорошо написано у других писателей, — например, у него и у Василя Быкова. Это он подтвердил тоже по-английски:

— О, йес!.. Хочешь, я тебе один эпизод подарю, — сказал он. — Чистый бой, никаких штучек. Это было в Китае. Перевалили мы Хинган. Поставили пушки как надо. Смотрю, на мою батарею прут японские танки, пять штук. Командую: «Первое орудие, бронебойным… Второе орудие…» Ну и так далее. Точно видел, как три танка задымились. Тут меня сшибло. Но это все присказка — очнулся, на меня Салазкин Васька что-то льет. Три танка горят. Горизонт чистый. А от Васькиной воды пахнет ханжой. И в голове все кругами, кругами… Он мне и говорит: «Вставайте, товарищ капитан, полковник идет». Я встал, козырнул врастопырку. Фуражка моя где? А на маньчжурской березе. Полковник и говорит: «Контузило?» Отвечаю: «Есть немножко». Полковник и спрашивает: «Это ты танки поджег?» Отвечаю: «Так точно — мы». «Чего это от тебя ханжой пахнет? — спрашивает. — Я хотел тебя к ордену, а от тебя так ханжой пахнет». А я ему отвечаю: «Если я заслужил награду, меня родина наградит. А ханжу на батарее не держим». «Родина наградит?» — спросил он. И ухмыляется, гад, и зуб во рту золотой. «Ну, жди, — говорит, — когда тебя родина наградит. А я пойду, не буду тебе мешать». И ушел. Но дело не в этом — дело в том, что я-то ханжу не пил. Васька Салазкин меня спиртом отмачивал. Нашим, отечественным. Мы его из Хабаровска с собой везли… Слушай, вот я сейчас подумал: может, спирт они вылакали, солдаты, чертовы рожи, а в канистру ханжи налили? Ты как думаешь?

А я о другом думал — о том, сколько разных войн было у моего товарища — кудрявого артиллериста. Когда он по России отступал-бежал — одна война, самая страшная. Когда воевал под Сталинградом — другая война. Когда по России в наступление шел — третья война, и он уже совсем другой человек. Он уже начал иностранные языки учить. «О, йес!» Когда наступал в Польше — четвертая война. В Германии воевал — пятая — и он уже совсем-совсем другой.

В Китае — шестая. А бои были везде одинаковые: кто в бой идет — боя не помнит. Бой восстанавливают потом. И окрашиваются моменты боя иронией по отношению к самому себе.

У меня было меньше войн. Я наступал в России. Наступал в Румынии. Наступал в Польше. Наступал в Германии. Но у меня была за плечами Блокада. У Толи Сивашкина была только одна война — победная, под звуки нашей гармони. И, наверно, самым тяжелым Толиным боем была его музыкальная схватка с генералом-стажером… Он бы ее проиграл, гад, без нас…

Светилась могила Толи Сивашкина оранжевым песком у подножия оранжевых сосен. Комли тех сосен были траурно-черные. И похож был тот сосновый лес на золотые мехи «Ла Паломы» — гигантского нашего аккордеона. Оторвалась от его голосов душа сержанта Толи Сивашкина, улетела в небеса чистой высокой нотой.

Ты постой, душа, для тебя теперь время не фактор, ты дождись там всех нас…

Недавно я спросил Писателя Пе:

— Когда ты вспоминаешь блокаду, что тебе вспоминается прежде всего?

— Я ее не вспоминаю, — сказал он. — А когда под нажимом таких, как ты, заставляю себя, то вижу очень яркую осень. И сады, где красивые люди с противогазными сумками через плечо роют траншеи — щели, так их называли чаще. И толпы людей под репродукторами. Выражение у людей такое, будто им показывают фокусы, но скоро фокусы кончатся, и наступит радость. Оскаленных от голода женщин, везущих куда-то на санках своих мертвецов, я не видел, я уехал раньше. Это, старик, мифология, хоть это и подлинная чистейшая правда.

Блокада пока не тема искусства. Событие слишком растянуто во времени, а показать его нам надобно сразу, и воспринять его нужно в миг единый, как воспринимаем мы целиком всю жизнь и смерть могучего, засохшего на корню дерева. Нужен завтрашний гений, нужны завтрашние — открытые настежь архивы и «неудобства», которые испытывал от блокады Жданов: запор, гастрит, колит, кислород в задний проход для поддержания микрофлоры…

— Как был трепачом… — сказал я.

Но он возразил грустно:

— Нет, — сказал, — трепачом я как раз и не был.

Осень в Ленинграде действительно стояла яркая. Народ одевался чисто.

Девушки ходили по моде в маленьких красных беретиках. Беретики почти облегали голову, слегка морщинясь по окружности. В глазах у всех стоял гордый голод.

На фабрике-кухне — угол Большого проспекта и Косой линии — в тот день без карточек давали морковные котлеты, две штуки, тонкие, как оладьи, и маслянисто-прозрачные, уж и не знаю, как этот эффект у них получился, — такие на вид вкусные. Я выстоял очередь и, взяв тарелку с котлетами и вилку, пошел к высокому мраморному столу. Тогда еще не принято было есть стоя, но высокие мраморные столы стояли для тех, кто брал обеды на дом, — действия с судками и кастрюльками были предусмотрены: фабрика-кухня, будущее госнарпита, обещала освободить женщину-труженицу от плиты и примуса; в блокаду эта идея казалась людям неостроумной и, мягко говоря, преждевременной.

Я хотел проглотить морковные котлеты тут же по-быстрому и, погасив голодный блеск в глазах, со вкусом и не торопясь похлебать щей и жидкой чечевичной каши.

У столика стояла женщина в красном берете. Я поднял на нее глаза — это была тощая улыбающаяся Наталья. Вид у нее был веселый, даже ошеломляющий, наверно, из-за беретика, надетого по-шальному сильно набок. Короче, так: веник ее волос торчал с правой стороны, беретик лепился с левой. А сама она улыбалась посередине.

— Привет, капитан, — сказала. — Похоже, предстоит могучая диета. Но, спрашивается, зачем мне худеть, я же как балерина или как птичка. Не дали, черти, котлет для девочек.

Я сбросил со своей тарелки котлеты в ее кастрюльку.

— А ты? — спросила она, вскинув брови. — Ты обедал уже?

— Нет еще.

— Тогда возьмем шамовку и пойдем к нам. Дома поедим как люди.

Мы взяли еду в ее судки, и на девочек тоже — по детским карточкам кроме щей и чечевицы полагался добавочно манный пудинг с лиловой подливкой.

Тогда еще к щам давали тоненький кусочек хлеба: щей можно было взять две порции, но хлебушек только один, из-за чего интеллигентным женщинам с бледными губами не всегда удавалось сдержать слезы.

И тут я понял, почему Натальин вид показался мне ошеломляющим: не только

из-за беретика — у нее были ярко накрашены губы, ресницы и ногти.

— Назло врагу, — сказала она. — Пусть Гитлер сдохнет!

Мне стало весело.

Девчонки повисли на мне, как на воротах. Тут же показали пушку. Это была настоящая бронзовая мортирка. Может быть, в праздники из таких мортирок запускали в ночное небо огненные букеты.

— Мама сказала — за порохом дело не станет. Если фашист придет, мы зарядим пушку и — прицел сто, трубка сто — от Гитлера только вонь пойдет.

Четыре кулака замолотили по моему животу.

— Перестаньте, капитан еще не обедал, — сказала Наталья, ухмыляясь. — Распоясались.

Девчонки перестали по мне молотить, к слову «обед» они уже научились относиться серьезно. Впрочем, за обедом они болтали и толкались.

— Приходи, — сказала Наталья, проводив меня до дверей. — Нам с тобой хорошо.

— И мне с вами.

Она обняла меня.

— А ты не такая тощая, — сказал я.

— Не такая. Вообще я вся не такая.

К шестнадцати годам уже накапливался опыт случайных столкновений и объятий с девочками. В основном это случалось во время игр или когда в коридоре устраивали кучу малу. Или во время танцев — ох как мало мы тогда танцевали!

На Новый, 1941 год мы, вырядившись во взятые напрокат мушкетерские костюмы, пытались прижимать девочек к груди. Может быть, и им этого хотелось, но этикет не позволял.

Я шел от Натальи, и мысли, как мне тогда казалось, были у меня нехорошие. Для меня была она как бы не взрослая женщина, но и не ровня. На семь лет старше!

Мамин рыжий летчик был на семь лет младше мамы. Любовь у них была, как

сейчас говорят, — зашибись! Я знал, когда мне уходить из комнаты, — облегчал им жизнь как мог. Прожили они шесть лет. Мама с ним развелась. Говорила, что, мол, не хочет от него детей, а он настаивает. По ее словам, не хотела она потому, что, если бы родила, привязалась бы к нему, а он, черт, стал бы относиться к своему ребенку лучше, чем ко мне.

«Это зачем же я буду из-за какого-то рыжего кобеля своего ребенка обрекать?!» — выкликала она с большим напором в кухне перед соседями и подзывала меня, чтобы погладить по голове. В такие минуты мне бывало стыдно. Рыжий летчик относился ко мне хорошо. На свою первую Первомайскую демонстрацию я выехал на его плечах. Он купил мне маленьких книжек с картинками, о существовании которых я, правда, вскоре забыл. Он говорил мне: «Если у мамы родится сын или девочка, мы будем относиться к ним, как подобает мужчинам, сдержанно и щедро. Ты согласен?»

Я был согласен.

Первая женщина моего брата тоже была старше его на семь лет. Она работала кассиром в таксопарке. Была веселая. «Водила компанию с шоферней» — это мамино выражение. «Интересная ты, Изольда, баба, тебе нужен интеллигентный мужик, с образованием, а не шоферня эта…»

Мама и попросила Изольду соблазнить Колю, чтобы не втюрился сглупа, дурак, в какую-нибудь курицу или проститутку. Чтобы с него первый пыл сошел и он огляделся бы вокруг и полюбил сердцем. Обе они, и мама, и Изольда, хотели, чтобы их кто-нибудь полюбил сердцем. Рыжий летчик, так считала мама, сердцем ее не любил: «Кобель. Только и знал одно. Я от него за шесть лет одиннадцать абортов сделала».

Изольда согласилась соблазнить моего брата, как мне показалось, легко и даже радостно. Они с мамой меня не видели. Они пилили дрова, а я с товарищем моим, Маратом Дянкиным, загорал на крыше сарая.

Изольду я сразу возненавидел. И вознегодовал! Мне, конечно, не терпелось все рассказать Коле, чтобы он гордо и гневно бросил бы Изольде при встрече фразу, что она, мол, падшая.

Придя вечером домой, я застал брата Колю и Изольду целующимися. Вот это темп. Брат был красен. Пунцов!

— Закрываться надо, когда целуетесь, — сказал я.

— Ах ты хмырик, — сказала Изольда. — Стучаться надо.

— Еще что — я тут живу!

Изольда вытолкала меня в коридор и заперла дверь на ключ.

— Я маме скажу! — заорал я.

— Говори-говори, — засмеялась Изольда.

Брата мне было жаль. Но еще более жалел я, что не сказал он гордо Изольде — «Падшая!» Это я ей сам сказал, когда она проходила мимо меня в парадной. Она остановилась, лицо ее омрачилось на миг, но тут же снова приняло веселое выражение.

— Сам дурак, — ответила она мне.

Я бросился домой. Сказал брату:

— Тебе не стыдно?

— Вот я и размышляю, — стыдно мне или нет, — ответил брат. И с того дня он стал что-то от меня утаивать.

Когда я устроился на работу в таксопарк, Изольда выдавала мне зарплату и продуктовые карточки и всегда улыбалась мне даже в самые трудные дни. Тогда мне, обессиленному, с иссохшей кожей, осыпающейся из рукавов, которые я специально перетягивал резинкой, чтобы не трусить эту перхоть на чужие одежды, казалось, что в громадном гараже, гулком и темном, живет только закутанная в платки Изольда, и на весь гараж, где когда-то ревели моторы, тепло шло только из кассы, от ее керосиновой лампы.

Я так и не сказал ей, что на Колю пришла похоронка, а в первые дни хотелось.

Отец и Коля ушли от нас с Опочининой улицы на следующий день после суда.

Сперва жили у отцова приятеля.

Вскоре отец устроился в Петергофе завхозом в доме отдыха. Он тоже говорил: «Из-за сына», — поскольку Коле нужен был чистый воздух. Позже я спросил у отца: «А ты не мог из-за сына стать академиком, на худой конец врачом?» Он глянул как-то поверх моей головы.

— Голос у меня. Я пою. Это во-первых. А во-вторых — женщины. Они много времени отнимают.

Тот же вопрос я и матери задал, когда она сказала какой-то подруге, что вот из-

за сына (из-за меня, значит) не вышла еще раз замуж. Она пошла пятнами. Пятна у нее возникали на шее и на груди.

— Гаденыш, — ответила она. — Я на тебя всю жизнь положила, а ты мне гадости говоришь. Сволочь ты, весь в своего батюшку.

Мне уже было шесть лет, когда я снова увиделся с братом. Рыжий летчик служил на Дальнем Востоке. Мама только что от него приехала.

Открываю на звонок дверь — отец стоит. Спросил про мать. Я говорю: «Она дома. Заходите». Мы уже давно в другом доме жили.

Он заходит — с арбузом.

Мать молчит.

— Анна, — говорит отец. — Это нехорошо, что ты не хочешь видеть Колю.

— Зато правильно, — отвечала она. — Ни тебя, паразита, ни сына-изменника.

Отец оставил арбуз и ушел. Мать вынесла арбуз на помойку.

Отец заявился на следующий день с бабушкой.

— Вот, — говорит, — пускай Екатерина Петровна скажет, я справедливее ее человека не знаю. Я бы и твоего брата Ивана привел, но он сейчас в Копенгагене.

— Ты как был подлец, так и остался, — сказала мать. — Маму привел! Ты у нее спроси, как она нам, голодным, холодным, щи каждый день возила.

— Я про сына говорю, — сказал отец.

— Про Колю, — сказала бабушка.

— Вы мне про Коленьку не поминайте — был у меня сын… — Мать упала на стол головой, потом упала на пол.

— Сумасшедшая, — сказал отец.

— Бешеная, — сказала бабушка. — Коля к тебе приедет в гости, и только попробуй его обидеть.

Коля приехал в костюме с галстуком.

— Чего не в пионерском? — спросил я.

— Еще только через год примут, — ответил он. Он пришел так легко и просто, как будто был у нас неделю назад. Он поцеловал маму в щеку. Она у стола сидела, и губы у нее задрожали. Я сомневался: выдержит, не заплачет? Она выдержала. Спросила:

— Это у вас в Петергофе такая мода, чтобы мальчики в костюмах ходили?

— Нет, — ответил Коля. — В Петергофе — в трусиках. Отец решил в город переезжать — жениться.

Мама губы поджала. Пошла на кухню разогревать еду. А Коля вытащил из карманов своего костюма шесть плиток шоколада и протянул мне.

— Я объелся уже, — сказал он. — К отцу отдыхающие дамы приходят в гости, а я должен этот шоколад есть. Сначала ел.

Изольда смотрела на меня из своей кассы, словно все обо мне знала — и про Наталью. Но ничего она не знала. И я не знал, что в свое время окажусь последним, кто видел Изольду живой…

Теперь город часто бомбили. Я часто ходил к Наталье. Больше мне, в сущности, ходить было не к кому — только к Марату Дянкину да еще к Музе.

Пошел к Марату. Его деловая мать мчалась навстречу мне с противогазной сумкой через плечо. В доме вещей прибавилось, даже картина в золотом багете — «Нагая у водопада».

У Марата вокруг глаз трехцветные синяки: фиолетовое, зеленое, желтое. Правда, еще не сильные, но уже заметные. Сидит, паяет какую-то штуку, похожую на каркас.

Спрашиваю : Что это?

Отвечает : Галактика.

Говорю : Дянкин, ты очень плох. Нельзя ли тебе куда-нибудь в Сибирь?

Говорит : Если случится тебе попасть на фронт, ты за меня врежь как следует.

Говорю : Не сомневайся.

Спрашивает : Ты, правда, не видишь, что это красиво? Галактика!

Вру : Я-то вижу. Но… Понимаешь — сейчас война…

Врет : Понимаю…

В общем : разговор у нас не получился. Я обнял его, прижал к груди, а он как из жердочек, и чувство у меня такое отчетливое, что я лично перед ним виноват. И мой шифоньер стоит в его комнате, как вампир, упырь, саркофаг. Как крест.

Когда я пришел к нему в свой последний большой обход, он лежал тут в комнате и глаза его еще были осмысленны, но он уже был там, где мы встретимся с ним, и я сознаюсь ему, что его «Галактику» постиг все же — сначала умирающим, потом на протяжении многих лет жизни. Но тогда сердце мое было переполнено щемливым ожиданием военного чуда и сквозные объемы, и безмерная мерность, и большое в малом не могли коснуться моего сердца.

На фронте я поминал Дянкина часто. Я помню его всегда, он, гад, на пару с цветным телевизором подавляет меня. Паяя свою «Галактику», он, наверно, нашел мне место в таинственной ее геометрии, в вершинах ее сквозных пирамид, в спиралях ее полей.

Иногда я встречал девочек из своего класса. Они были одиноки и скованны. Еще раз я ходил в военкомат, чтобы взяли в ополчение, или хотя бы копать рвы. Муза и ее мама были приветливы, но не бойцы — их рояль пел Шопена. Лишь Наталья была бодра, иронична, напевала что попало, в основном частушки, и ее девчонки были такие же. Я поделился с ними шифоньеровским сахаром.

Мы с Натальей раза три в «Музкомедию» бегали. И вот что чудесно: «Сильва, ты меня не любишь…» действовало на публику как призыв выжить и победить. Гораздо сильнее, чем «Три танкиста, три веселых друга». Эти бароны и графини как бы говорили в зал: «Держитесь, ребята. Бодрее. Впереди у вас много хорошего — Ялта, Сочи, „Утомленное солнце…“». И томительно сладко становилось от волшебной возможности погибнуть, полюбив красавицу Сильву. И все были вместе, весь зал, и все чувствовали одно — и это чувство нельзя было объяснить только ностальгической грезой о прошлом. Это была духовность, в основе ее лежала святая вера в единого бога — в победу.

В раздевалке театра, хотя никто и не раздевался, возникала некая улыбчивая толчея. Застегнуть пальто у театрального зеркала было приятно, и отразиться в нем тоже. Некоторые женщины приходили в шляпках.

По темной улице скользили синие блики, чем-то напоминающие нынешнюю милицейскую мигалку. В ней есть и тревога, и сирена, и ощущение голода, и вкус крови во рту.

Впереди какой-то мужчина пел застольным баритоном: «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» Женщина тихо ему отвечала: «Помню ли я?..»

— Она помнит, — сказала Наталья. — У нее память как амбарный замок. — И, не дав мне возмутиться, ткнула меня в бок локтем. — Я уверена, что и мне, и девчонкам моим счастье улыбнется. Не может не улыбнуться. Оно нам задолжало. Скольким оно, черт возьми, задолжало.

Муж у Натальи был недолго, водолаз-эпроновец. Поехал работать на Черное море, нашел себе с телом, да там и остался — «Был Никита, стал Микита — смикитил».

— На девочек присылает, и то… Я его и вспоминаю только, когда приходят алименты, — говорила Наталья. Работала она на «Электроаппарате» пропитчицей и училась в Электротехническом техникуме. — Прислал бы нам винограду…

Карточки отоварили кокосовым маслом, парфюмерным продуктом, похожим на хрупкий чешуйчатый быстротающий стеарин. От него во рту сытости не оставалось, только нежный едва уловимый запах, только удивление и детская боль по ушедшим парусным кораблям. Натальины дочки клали по кусочку этого масла в рот и рты не закрывали, чтобы не ускорять таяние.

Родились они в октябре. Я был громогласно приглашен на день рождения.

Мне хотелось подарить им что-нибудь такое, что напоминало бы «хоть и печальный, но гордый дух блокады». Мои тогдашние слова. Но и сегодня, ныряя в иронических волнах, забитых обломками крушений, я не отказываюсь от них, и в словосочетании «гордый дистрофик» не усмотрел бы ничего смешного. В сущности, как быстро зазеленели листья на засохшем было, но могучем от природы дереве. Оно еще и зацветет.

Подарок следовало купить за хлеб, что было естественно.

Рядом с гаражом «Интуриста», где я тогда работал, был Сытный рынок, прикрытый от проспекта Максима Горького зданием бывшей биржи труда. Сюда когда-то моя мать ходила со мной и часами ждала, что ее заметят и примут в трудовой коллектив, а я сидел или спал на полу у батареи парового отопления на слое опилок, и такие же, как я, мальчики и девочки сидели или спали рядом со мной. Маму взяли на завод «Севкабель». Этот завод я считаю своим. Ах, «Севкабель», «Севкабель»! Уважаю два ленинградских завода особо: «Севкабель» и «Коминтерн».

Рынок кружился медленно и невесело, без выкриков, без смеха и неожиданных песенных всплесков. Продавались чернобурки и соболя, столовое серебро, фарфор, картины в багетах, бронза, мрамор, хрусталь и шелк, даже вышедшие к тому времени из моды фетровые боты. У меня возникло ощущение, что я попал не на рынок, а в комиссионку, у которой разбомбили стены и крышу. Оттесненные к забору кружением роскоши, стояли простые сатиновые старухи со своим всегдашним товаром: варежками, вязаными шапочками, шарфами. В их провалившихся глазах, в морщинистых ртах булькали воды презрения к суете сует и ко всему, что есть суета.

Продавали за хлеб, за крупу, за масло, за сахар. Так и говорили: «Нужен сахар», «Нужны жиры».

Покупали военные, чаще летчики, наверное из Москвы. Платили папиросами и шоколадом. И на хлеб покупали.

Я кружил и кружил на рынке и прокружил весь обед. Подсознательно я искал куклу. Большую куклу. Но их не было. Были разные статуэтки — фарфоровые, бронзовые, из слоновой кости. Но в конце концов я мог купить девочкам две красивые серебряные ложки, к серебряным ложкам я питал слабость.

Я начал копить хлеб. Буквально копить — давали уже по двести граммов на день. Я отрезал от своего пайка пластик и укладывал его в коробку из-под конфет, там разные фотокарточки и документы хранились.

Мне повезло, в пробитой снарядом «эмке», за спиной заднего сиденья, я нашел большую заплесневелую горбушку сыра. Плесень я счистил. Сунул горбушку за пазуху.

По дороге в столовую увидел Изольду. Она похудела. Стала выглядеть интеллигентнее. Совсем исчезла былая, сразу бросавшаяся в глаза расторопность ее тела. Появилась в ней лирическая бледность, грусть по былому и ласковая печаль. Я вытащил из-за пазухи сыр, разломил его пополам и Колиным жестом, я это невольно отметил, отдал ей большую половину. Она взяла. Я думаю, тоже не от меня, но от Коли. Мы шли с ней в столовую, грызли твердый вкусный сыр и молчали. Мне казалось, в Изольде было что-то Натальино — что-то все-таки было…

В тот день я положил в свою хлебную копилку сразу половину хлебного пайка.

За день до дня рождения девочек у меня накопилось столько сухарей, что выкупленный в булочной хлеб, завернутый в чистую салфетку, я уже смог рассматривать как валюту.

Терзания купца-простофили одинаковы во все века и у всех народов. Увидав у меня хлеб, меня окружили энергичные, желающие его быстро получить люди. Мне предлагали портсигары с монограммами, охотничьи ножи, пепельницы с порнографическими изображениями, красные венецианские бокалы. Я говорил:

— Девочкам. Подарок. Девочкам. Детям.

Мне отвечали с запахом махорки:

— Вырастут.

От нахальных купцов я ушел. Стал приглядываться к интеллигентам. Интеллигентные, заметив мой интерес к ним, тут же придавали своему лицу некое театральное выражение, трагическое, как будто у них у одних смертельная язва желудка; но чаще благостное, даже умильное, или отрешенное, будто свет их чистой души, сойдя с лица, омоет предмет продажи и возведет его в абсолют чистоты и насущной необходимости во веки веков.

Мне эти выражения лиц начали мешать. Мне захотелось отдать хлеб за так, чтобы люди не мучились.

Но тут меня взяла под руку какая-то старушенция. Глаза ее, единственные на всем рынке, были смешливые.

— Именно у меня есть то, что ты ищешь, — сказала она. — То есть предмет абсолютно бесполезный, но исполненный смысла. — Она вынула из противогазной сумки хрустальное яйцо, величиной с пивную кружку. Яйцо вспыхивало в ее сухих ладонях, и от малейшего колебания менялся цвет этих вспышек.

— Бери, — шепнула она.

— Спасибо, — шепнул я в ответ.

Владельцы чернобурок и соболей, воспринимавшие нас как зловредных мух, тут же опустили меня в табели о невежестве и паразитстве на уровень серой вши.

Я спрятал яйцо в свою противогазную сумку. Старушенция положила хлеб в свою. Тогда все ходили с противогазными сумками. А из противогазов после войны мальчишки делали рогатки.

Дома я долго любовался яйцом, жалея, что у меня не было такого в детстве. Из этого яйца могло вылупиться все, что угодно: дракон, шаропоезд, небывалый цветок, межзвездный корабль, Дева Грез, разящий луч…

Яйцо яйцом, но, может быть, кусок хлеба как подарок для девочек в блокаду был бы полезнее? Ну нет — такой вариант я отверг сразу, как нетождественный и неторжественный. И все же хотя бы коробку конфет или торт. Я проглотил слюну, представив себе кусок торта такой высоты, что он в рот не лезет, а повернуть боком нельзя — кремовая роза обрушится на пол.

Я лежал на оттоманке, смотрел на печку, и вдруг в голове у меня вихрь пошел: там на печке должно что-то быть! Я не помнил что, но что-то я туда швырял. Я тут же полез на печку. Действительно, там было штук десять абрикосовых косточек из компота, три круглых карамельки в желтых фантиках и хлебные корки, превратившиеся в сухари.

Хрустальное яйцо сверкало, как летняя речка.

Абрикосовые косточки я разбил утюгом и съел. Хлебные корки оставил на завтра. Карамельки положил рядом с яйцом — получилось красиво. Очень красиво.

— Милая студентка Мария, активистка, вы что-то замолчали. Мы вам наскучили, вы больше не хотите нас учить?

— Просто смешно, как вас разбирает, как надобно вам нравиться. Обвесьтесь вашими медалями и двигайтесь. Театр теней существует, покуда тени двигаются. Как только тени остановятся, они уже силуэты.

— Аделаида, а где Мария? — спросил я.

— Наверно, где-то шляется с парнями. А как у вас насчет девиц?

— Аделаида, вы переходите границы!

— Отнюдь…

Девочки были нарядные. Их мама еще наряднее — в узком синем платье с белым воротничком и белой шнуровкой, как на футболке.

Кроме меня гостей не было. Я пришел поздно: отправляли на фронт машины —

как всегда, что-то нужно было срочно доделывать.

— Я тоже только явилась, — сказала Наталья. — Рождались бы люди по большим праздникам — девочки на Первое мая, мальчики на Седьмое ноября, как подарки.

— А близнецы на Новый год! — закричали Аля и Гуля. Они уже сидели за столом, держали в руках ложки, кстати, серебряные. На них были банты, как крылья белых бабочек, и кружевные воротнички.

Наталья положила всем на тарелки пшенную кашу. Девочкам побольше, нам только так, для соучастия. Налила им в стаканы кисель.

Я положил перед ними яйцо и две конфеты. Третью конфету я отдал Наталье. Она тут же разрезала ее пополам.

Мы пили чай.

— Ты где это взял? — спросила Наталья, закрутив яйцо, как волчок. От него по стенам и потолку побежали зайчики.

— На Сытном рынке.

Наталья посмотрела на меня исподлобья и вздохнула:

— Что-то из него вылупится?

Девочки закричали, вытащив изо ртов ложки:

— Райская птица! — Они вообще старались не говорить, а кричать.

— Какое-то оно не ко времени, — сказала Наталья. — Такое можно дарить, когда уже все-все есть, даже велосипед. — Она снова закрутила яйцо и смотрела на него очень долго. — Мысли путает. Плакать хочется.

— Мы его спать возьмем, — сказали Аля и Гуля. — Под подушку положим. Нам приснится май.

— В мае было хорошо, — сказала Наталья.

Девочки встали на стулья и звонко прочитали стихотворение:

Ох ты Гитлер — фашист,

Бармалей и скотина…

Стихотворение было смешное. Конечно, они сочинили его втроем, в

стихотворении было слово «сифилитик». Я спросил девочек, что оно означает, — девочки ответили: «Ненормальный. На всех бросается». Наталья подтвердила: «Вот именно».

После Гитлера-сифилитика, в лад размахивая руками, девочки прочитали громко «Бой Руслана с Черномором».

Потом мы снова пили чай. Наталья дала всем по кусочку пиленого сахара.

— Специально на день рождения оставила.

Потом стало поздно, и меня не пустили домой — после десяти вечера ходить по городу без пропуска не разрешалось.

Наталья постелила мне на полу за столом, чтобы я мог, не стесняясь, раздеться.

Девочки спали вдвоем на диване. Они немного поскакали в ночных рубахах, лохматые, как чертенята, спрятали хрустальное яйцо под подушку и нырнули под одеяло, чтобы быстрее увидеть май.

Наталья погасила свет и чертыхнулась.

— Темно, как в склепе. Не могу в темноте спать. Пусть луна светит и звезды. — Она подняла светомаскировочную штору из плотной синей бумаги — в такую, похоже, заворачивали когда-то сахарные головы. Наверное, на меня повлияли девчонки, и я подумал совсем по-детски: «Теперь в нее заворачивают свет».

Окно, как и все окна в городе, было перекрещено косыми бумажными крестами.

Немец бомбил теперь каждую ночь.

Завыла сирена. Девочки подняли головы, послушали и сказали сонно и безбоязненно:

— Лучше умереть в своей чистой постели, чем подыхать заваленными вонючим кирпичом в вонючем бомбоубежище.

— Спать, — приказала им Наталья.

Девочки послушно уснули.

— Что это за дверь? — спросил я. За столом, где мне постелили, в стене была дверь.

— Теткина комната.

Я знал, что Наталья до замужества жила с теткой, и, когда вышла замуж, тетка

отделила ее. Тетка была в Омске — уехала туда еще в июле выбивать жилье для своего завода. Ее завод эвакуировали из Ленинграда одним из первых.

— Нужно ее открыть, — сказал я вдруг осипшим голосом.

— Зачем?

— Жратва… Это ты вся не такая, а хорошая хозяйка обязательно держит дома запас. Не бегать же в магазин всякий раз, когда есть захочешь.

— Боже мой, — прошептала Наталья. — Как это мне в голову не пришло. Она же кулачка, лабазница — у нее коньяк всегда стоял в буфете и ассорти…

— На ключ закрыто или гвоздями?

— С той стороны шкафом заставлено. А с этой я щели бумагой заклеила, чтобы не дуло. Тетка с открытой форточкой живет. Ей всегда жарко — у нее бюст седьмого размера.

Стараясь не шуметь, мы отодрали бумажные полосы. Открыли дверь, она открывалась в Натальину комнату, и налегли на шкаф. Тяжелый, зеркальный, он пошел по намастиченному паркету, глухо урча.

Наталья скользнула в комнату первой.

— Закрывай дверь, чтобы девчонки не вскочили, я свет включу.

— Ты что, здесь светомаскировки нет. — Я втиснулся вслед за Натальей в теткину комнату, большую и светлую, в маленьких комнатах всегда ночью темнее, а большой потолок свет дает — оптика дело темное. «Самое темное дело — свет», — говорил мой брат Коля.

В зеркале я увидел себя — еще ничего. Я сделал мужественное лицо. И вдруг почувствовал жгучий стыд, и не потому, что стоял в трусах, и не потому, что в чужой комнате, которую пришел обобрать, нет, — мне стало ясно, что я тут лишний, и если уйду, все образуется, все будет правильно. Я попятился было, но Наталья остановила меня за руку.

— Не уходи, мне одной боязно.

— Чего боязно-то?

— Не знаю.

Мебель в комнате была тяжелая, полированная. У окна круглый стол стоял, у противоположной стены — буфет. Кровать деревянная. Диван кожаный, с

высокой спинкой. На спинке слоники. Ближе к окну этажерка с патефоном. Даже картины в багетах и ковер над кроватью. Но что меня поразило и как-то погасило мой стыд — винчестер на ковре и кавалерийская шашка.

— Это моего отца оружие. Тетка отцу сестра, — сказала Наталья, угадав направление моего взгляда. — Не туда смотришь, — она на цыпочках подошла к буфету, открыла нижнюю тяжелую тумбу и стала перед ней на колени. Длинная ночная рубаха с рюшами придавала ее фигуре вид безгрешный и беззащитный.

Буфет был набит крупами, сахаром, макаронами. Там были консервы и постное масло. Даже бутылка водки. Коньяка не было — была малага. Наталья взяла бутылку, боднула меня головой в плечо и воскликнула шепотом:

— Давай тяпнем.

Я замялся, покраснел — она и в темноте заметила.

— Ты что, не любишь?

— Не знаю. Не пробовал.

— Вот те раз. Связался черт с младенцем. — Наталья нашла в ящике буфета штопор, открыла бутылку и налила в хрустальные тонкие рюмки черный густой напиток. От малаги пахло летом, изюмом и, может быть, розой. — За тебя, — сказала она. — Обе твои идеи оказались удачными.

— За девочек, — сказал я.

— Это и есть за них. — Наталья коленом шевельнула дверцу буфета. — Теперь я кум королю, сват министру и дочки мои с приданым. Душа у меня теперь поет, а сама я загорелая блондинка с ногой и бюстом. А на бомбы ихние я чихала.

Радио объявило отбой воздушной тревоги. Сигнала тревоги мы с Натальей не слышали.

Я выпил вино, как лекарство, на одном вздохе. Оно было сладким, жгучим и отдавало слегка жженым сахаром — так мне тогда показалось.

— Понравилось? — спросила Наталья.

— Вроде.

Наталья подошла к теткиной деревянной кровати, сдернула с нее покрывало, бросила его на диван, затем так же рывком раскрыла постель. Стянула через голову рубашку с рюшами, подошла ко мне и положила мою вялую от робости руку себе на грудь.

Она не была тощей, как казалось, — тело у нее было эластичным, спешащим навстречу руке.

— Так и умрешь, не попробовав ни вина и ничего, — прошептала она. — Ты хоть целовался когда-нибудь?

Мы уснули в теткиной постели. Но чуть рассвело, перешли в Натальину комнату. Наталья взяла с собой манной крупы и сахару.

На завтрак мы ели сладкую манную кашу. Посередине стола сверкало хрустальное яйцо.

Девочки рассказывали, что во сне они видели май — они плавали, как рыбы, и ныряли.

— Что-то мне не нравится, когда дети во сне плавают, как рыбы, — сказала Наталья. Пошла проверить постель своих дочек. Девочки надулись, и замолчали, и придвинули хрустальное яйцо к себе.

— Спасибо. Я пошел, — сказал я. — Пора. Трамвай сейчас редко ходит.

Трамвай действительно ходил редко. Набитый людьми, обвешанный людьми со всех сторон.

Я устроился на колбасе.

Я знал, что ни Наталью, ни ее девочек я больше не увижу. Мне мешал теткин буфет, как у всякой доброй хозяйки набитый бакалейным товаром, консервами — даже визигой. Вернее будет сказать, не «мешал» — стоял непреодолимой стеной. Мне казалось, Наталья подумает — я не к ней пришел и не к девочкам, а к буфету. Даже если она и не подумает, я сам так подумаю.

Утро было морозным, искристым. Перламутровый туман готовился стать снегом.

Я пришел к Писателю Пе за бумагой.

Писатель Пе с каким-то спортивным мужчиной пил пиво на кухне.

— Ардальон, муж Авроры, — представил мужчину Писатель. — Посмотри, какие у него кулаки. Он говорит, что именно мы с тобой за весь мировой бардак в

ответе.

Ардальон упруго вскочил.

— Да, вы — прошедшие войну. Вам понравилось медали получать. Мешок медалей! Вагон медалей!

— Ну Ардальон, — сказал Писатель Пе. — Ну ты даешь.

— Я у одного поэта прочитал, что в усталой совести вызревает мудрость, — продолжал Ардальон. — Глупость это. В усталой совести вызревает трусость. Само словосочетание «усталая совесть» безнравственно. Совесть, как сердце, уставать не имеет права. Возможна метафора, когда совесть сама говорит: «Я устала быть чистой». Но это, я бы сказал, к современной ситуации и к современной прозе отношения не имеет, это, я бы сказал, из старинной классики.

Ардальон стремительно выскочил из квартиры — Писатель Пе изготовился его бить бидоном.

— Нужно сказать Авроре, чтобы на развод подавала. Выскакивает за кого попало, а ты выслушивай…

Кто-то засмеялся мелко:

— Что, получили, воины? Вот вам и ваша совесть.

— Это Аделаида. Тоже хороша. Я с ней на пляже познакомился, в Пицунде…

— Замри, Аделаида, — сказал Писатель Пе. — Ну что ты знаешь о совести? Совесть — это предощущение Бога, эхо благовеста в нашей душе. А откуда оно у тебя может взяться, у тебя же нет богов, только кумиры. И ты предощущаешь только шмотки…

— А ты что вспенился? — этот вопрос был обращен ко мне. — Ты за бумагой? На бумагу. Бери. Порти ее. — Писатель Пе дал мне тяжелую пачку бумаги, уселся в кресло и укусил себя за колено, он любит так сидеть, оскалившись. — Безлошадники — это не значит безсребреники. Нам кровушки попортили и те и те. Как у тебя с грыжей?

— Нету.

— Ну и радуйся. У других она есть.

Я принес домой печурку из хорошего листового железа — полусталка, который шел на кузова.

Печурка сразу сузила круг моей жизни, и без того комнатный, до тех пределов, куда распространялось ее тепло. И я подумал, что должен сходить к бабушке, к тете Вале — Колиной мачехе и, конечно, к Марату Дянкину. Наверно, в последний раз. Собственно, это «в последний раз» я не произносил даже мысленно, но «сходить» приобретало в моей душе прощальный оттенок.

Печурку я сделал сам в гараже. И заслонку сделал сам — это было трудно — привальцевать к заслонке два патрубка. И трубы согнул. И два колена — комнатное и уличное. Форточки снимались с петель, проемы зашивались листом железа с отверстием для трубы. На конце трубы, выведенном наружу, укреплялось колено с вертикальным патрубком, хотя бы невысоким, иначе лобовой ветер загонит весь дым, огонь и золу в комнату. Многие такой патрубок не делали — в ленинградских, в общем-то, нешироких улицах ветер всегда дует вдоль, а перед нашим домом на пустыре стоял лишь осевший, потерявший крестьянскую притягательность домик Марии Павловны — молочницы, ветер здесь гулял во всех направлениях, здесь патрубок был необходим.

В печурку укладывалось шесть кирпичей, и ставилась печурка тоже на кирпичи.

Умер мой сосед, дядя Саша, — повар, рыхлый, молчаливый человек. Его жена переехала жить к сестре и дрова к сестре увезла. А у меня дрова украли. Правда, не все. Пришлось мне перетаскивать оставшиеся дрова в кухню. Соседний с нашим сарай пустовал, хозяева его эвакуировались. Я разобрал стену, испилил ее на дрова, и двери распилил, и фасад, который когда-то служил нам футбольными воротами. Я был первым. В декабре от сараев даже столбов не осталось, даже засыпанных снегом нижних венцов.

Сейчас мне трудно объяснить, почему у меня в блокаду не оказалось рядом друзей. Куда они делись? Почему я к ним не ходил? Только Марат Дянкин да малознакомая Муза — к ним идти было незатруднительно. То, что они могли дать мне, не ставило их в неловкое положение.

Первым в своем обходе я поставил Дянкина. Я к нему пришел. Его мать сказала мне строго:

— Мурик спит. Ты слышал, я тебе говорю — Мурик спит.

Марат то ли спал, то ли уже умер. Наверное, его мать меня не узнала, наверное, она уже тронулась.

— Вы не дадите мне «Галактику»? Ту, что он последнее время паял. Он хотел, чтобы я ее доделал, — соврал я. — Для него это важно.

— Сейчас, — сказала она, выпроваживая меня на лестницу. — Подожди тут. Он говорил. Велел включать, как радио. — Губы у нее были черные, волосы серые, тусклые, глаза тоже тусклые. Она выволокла проволочную конструкцию на площадку, толкнула ее ко мне ногой и закрыла дверь плотно, как бы задраила ее наглухо. «Включать, как радио, — конечно, тронулась», — подумал я. Но от «Галактики» тянулся шнур с вилкой.

Дома я подвесил «Галактику» к потолку вместо люстры. У нас никогда не было ни люстры, ни абажура — мать любила голые лампочки, находя их красивыми. Абажуры, по ее мнению, съедали свет.

Электричество давали редко, радио же не выключалось круглые сутки, оно все время сообщало, какие города оставила Красная Армия, и однажды я запустил в «паек» чайной чашкой. Это мой сосед-повар называл радиоточку «пайком». Он многое называл «пайком» — даже баню.

Я включил «Галактику» в розетку радио. Она зашептала тихо, зашелестела — так шелестит снег на застывшем озере, и вдруг внутри нее засветился огонек, потом в другом месте огонек, то разгораясь, то еле-еле, — «Галактика» мерцала, и как это было устроено, я не знаю. Наверное, дроссель, наверное, конденсаторы и маленькие, немногим больше спичечной головки лампочки с завода «Коминтерн».

Мерцающая «Галактика» отражалась в зеркале, единственной сущности, имевшей отношение к разуму и прогрессу. Я в счет не шел.

Зеркало в комнате было большое — трюмо в золоченой раме. Мамин рыжий летчик купил ей это трюмо в подарок у маминой же приятельницы, распродававшей фамильное свое добро.

«Галактика» мерцала, от нее шел таинственный шепот. Я же собирался в большой обход. Бабушка и тетя Валя жили на другом краю города — тетя Валя у Московского вокзала, бабушка — ближе к Смольному.

Перед тем как идти, я нагрел воды на печурке, вымылся в тазу и перед зеркалом выпятил грудь, напряг мускулы на руках и ногах, как нынче делают культуристы, а перед войной борцы-профессионалы, и поджал живот. На поджатом моем животе вертикально обозначился позвоночник. Ребра, ключицы — собственно, весь костяк предстал пред мои очи вполне достоверно, вполне похожим на известное школьное пособие. Но тело еще было сухим и

подвижным, и не было свистящей одышки.

Воскресенье. Улицы были пустынны. Люди уже сильно зябли, кутались и старались лишний раз не выходить из дома. Город был белым от неубранного с мостовых снега.

Но чем глубже я погружался в город со своей гаванской окраины, тем чаще у парадных и подворотен встречались мне женщины, опоясанные ремнями, и мужчины сутулого вида, непригодные к воинской службе. Они провожали меня подозрительным взглядом: мол, куда его черт несет в воскресенье утром? По ночам такие вот воины да девчонки и мальчишки, может, даже младше меня, ловили немецких ракетчиков. А ракеты взлетали то из одного заводского квартала, то из другого. И туда, куда они падали, прочертя над домами искристую дугу, обрушивались с близкого неба фугасы и зажигалки.

Как-то я пошел от большой смелости ловить ракетчиков на Косую линию, но меня поймал патруль и я чуть не лишился ушей — плешивый питерский пролетарий все пытался завладеть ими для своих пролетарских целей.

На набережной, у Меншиковского дворца, меня застала тревога. Напротив, через Неву, высилась громада Исаакия с куполами, закрашенными шаровой краской. Это было тоже красиво — на белом небе черный собор, как гравюра, и черный шпиль Адмиралтейства. И Нева была черной, как бы остановившейся.

Это может прозвучать странно, но именно тогда, именно в тот день я увидел, что Исаакий вовсе не тяжелый — вытянутый вверх купол и ротонда на нем изящны. Все постигшие словарь искусств говорили взахлеб: «Эклектика, эклектика, безвкусица». Я, конечно, со временем перестану верить людям, утверждающим, что уж они-то разбираются в искусстве, но тогда я только вздыхал, тогда я еще верил. И молодая женщина, сохранившая осанку, она стояла рядом со мной на крыльце Меншиковского дворца, сказала мне:

— Мужайтесь, молодой человек.

— Да я стараюсь, — ответил я ей миролюбиво.

Красный Зимний дворец на белом снегу. Шестерка черных коней над аркой Главного штаба и маленькие люди с противогазами, рассеянные по площади.

Квартира отца, где сейчас, если она не уехала на Большую землю, жила со своими ребятишками тетя Валя, Колина мачеха, находилась на углу Невского и Восстания. Это была уже третья квартира моего отца после переезда из Петергофа.

Отец приехал в Ленинград, потому что женился.

Брат Коля пришел ко мне и повез меня в их логово на Боровую, в некрасивый район обшарпанных домов. Тогда еще тети Вали не было.

— Я ее Орлицей зову, — сказал он. — Злая, как собака. Но ты ее не бойся. Ты посмотришь, и мы смотаемся. И чего в ней отец нашел? У него хорошие отдыхающие дамы были, мог бы посвататься, а он Орлицу выбрал. Слепой он, что ли? Да ладно. Мы посмотрим и пойдем в чайную.

Посмотреть надо было снежный замок в стеклянном шаре, единственную стоящую вещь, принадлежавшую отцовой жене, Орлице.

Мы ехали на трамвае, шли пешком. Поднимались по узкой лестнице с железными перилами. Потом вошли в темную квартиру с запахом уборной.

Комната Орлицы меня ошеломила. Она была тесно заставлена мелкой странной мебелью, в основном столиками и этажерками, на которых стояли сотни стеклянных, бронзовых, мельхиоровых, фарфоровых, костяных и серебряных вещей: шкатулок, статуэток, рамок с фотокарточками, ваз и вазочек. Семьями, по семь штук в шеренге, шагали в разных направлениях слоны. Лежали, как болотца, толстые бархатные альбомы, в основном табачного цвета, — наверное, в них были сцены из зажиточной жизни.

Коля посадил меня в легкое кресло, покрытое вышитой салфеткой, вышивка была очень ровной и очень красивой, выпуклой и яркой, — маленькие птицы колибри.

— Смотри, — сказал Коля и подал мне прозрачный стеклянный шар. В шаре на белой скале стоял белый замок с башней, черными узкими окошечками и красными крышами. Коля взболтнул шар — в нем закружилась вьюга. И белый замок растворился в снегу. Только красные крыши. Казалось, они вот-вот полетят за снежным вихрем, их заметет, закроет метель. Но успокоилась вьюга, снег опал. Замок неколебим. Горд. Он одинок. На стеклянном шаре горит блик, круглый, как солнце после метели.

— Это остров Святой Елены, — сказал я. — В замке Наполеон Бонапарт.

— Может быть, — согласился Коля.

В комнату неслышно вошла женщина, и я сразу понял, что это Орлица. Лицо ее было узким, с подведенными глазами.

— Здравствуйте, — сказал я. Встал и поставил стеклянный шар на стол. Коля

взболтнул его, и снова в нем закружилась вьюга.

— Это мой брат. Ему шесть лет, — сказал Коля, глядя, как беснуются в шаре снежинки. — Он умеет писать, знает четыре действия арифметики и уже прочитал толстую книгу о Наполеоне Бонапарте.

Женщина улыбнулась. Улыбка ее была беспощадна. Ее шелковая рука с красными ногтями потянулась к моей щеке. Взрослые почему-то любили пошлепать меня по толстым щекам.

Коля вытащил из кармана вилку.

— Если вы ущипнете моего брата, я уколю вас вилкой.

Женщина отдернула руку от моей щеки.

— Меня она каждый день щиплет, — сказал Коля. — Теперь я с ней борюсь. — Он подал мне шапку и потянул за руку. — В чайную не пойдем. Пойдем на Лиговку в «Пончики», выпьем какао. Отец деньжат отвалил.

Женщина смотрела нам вслед, и в глазах ее была ненависть. Я понял, что она ненавидит нечто гораздо большее, чем мы с братом Колей.

— Бесплодная она, — сказал брат. — Горюнья.

Отец от Орлицы ушел. Получил комнату на улице Герцена с громадным венецианским окном — от пола чуть ли не до самого потолка. Он устроился работать заместителем директора по хозяйственной части в Академию водного транспорта. Как говорится, такие вот пироги: наверно, завел в доме отдыха в Петергофе знакомство с дамой, а у дамы брат солидный, на партийной работе.

Комната была большая, пустая, светлая. Было в ней весело и немного страшно: разбежишься, а впереди стены нет — окно.

Потом всю эту квартиру с широкими коридорами, большими комнатами отдали какому-то учреждению, а отец с Колей переселились тоже в большую комнату, тоже с большими окнами, но уже не такими большими, на угол Восстания и Невского, в доме с булочной, прямо напротив Знаменской церкви, главным достоинством которой, по моему тогдашнему разумению, являлась прямо-таки крепостная взрывостойкость. Когда ее самоуверенно взрывали, чтобы устроить на ее месте скверик, то, как мне помнится, обвалилась она лишь с третьего раза. Тогда на всех окнах домов, окружавших площадь Восстания, были наклеены косые кресты, такие же, как в блокаду.

Я любил приезжать к Коле. Отец появлялся поздно или не появлялся вовсе, и мы

с братом ходили в столовую, гуляли по Невскому, а то шли на Фонтанку в Шереметьевский дворец — Дом занимательной науки и техники, — где Коля все знал и был чемпионом по держанию тока. Нужно было делать так: один крутит ручку динамо-машины, другой держит в руках провода, заканчивающиеся двумя медными трубками. Никто не держал полный ток, кроме мужественных взрослых и Коли. Сейчас в Ленинграде такого дома нет, зато в Соединенных Штатах Америки такие дома чуть ли не в каждом солидном городе. Говоришь им, что у нас такой дом был. Отвечают: «Да, да. У вас был, а у нас есть».

В парке Госнардома, куда мы ездили кататься на «американских горах» и других выматывающих каруселях, Коля дольше всех держался на «чертовом колесе», балансируя на четвереньках в самом центре. Когда безжалостный машинист давал все же полные обороты, Колю медленно стягивало с центра и швыряло в обитый войлоком борт.

— Ну неодолимая эта сила, — говорил машинист брату. — На ней вселенная держится. Думаешь, я тебя пожалею, позволю тебе насмехаться над этой силой? Почему ты такой упрямый?

— Не знаю, — отвечал брат.

— А дух вышибет?

На «чертово колесо» Колю перестали пускать. Он научил меня держаться, и теперь меня сбрасывало с колеса последним. От ударов у меня сильно болела грудь. Перестали пускать и меня.

Однажды, придя к брату, я увидел в кухне развороченную плиту, ею пользовались, когда пекли пироги или готовили праздничные обеды: студни, заливное, жареного гуся, индейку…

В квартиру нужно было проходить через кухню. Соседи ухмылялись, но не зловредно, — соседи Колю любили.

— Взорвался твой братец, — сообщили они. — Древние говаривали — и не однажды: когда мальчик начинает выдумывать порох, следует отойти от него подальше. Хорошо, что глаза целы.

Я бросился в отцову комнату. Веселый Коля сидел в постели. Голова его была забинтована — только глаза смотрели из кочна широких бинтов. Руки были забинтованы, каждый палец отдельно. Губы черные, чем-то смазаны желтым.

— Я живой, — успокоил он меня.

А в городе шел фильм «Человек-невидимка».

— Тебе только черные очки теперь, — сказал я. — Порох делал?

— Это наши замечательные соседи болтают о порохе. Отсталые люди. Взрывчатка — в основе целлулоид. Не рассчитал массу. — Коля старался не шевелить губами. Они у него трескались. По зубам текла кровь.

— Чем тебя кормить?

— На столе. Под салфеткой.

Я снял салфетку. Были яблоки, груши, сливы и дыня, пирожное и манный пудинг с вишневым вареньем.

— Соседи, — объяснил Коля. — Жалеют.

Матери я не сказал про Колин ожог. Сказал, что он просто болен. К счастью, следов ожога на лице у него не осталось. Когда он ходил на перевязки в поликлинику, прохожие смеялись над ним: мол, ненормальный — под человека-невидимку вырядился.

Этот случай, я думаю, все же подтолкнул отца к решению жениться в третий раз.

И пришла тетя Валя.

Перед ее приходом отец сказал:

— Сегодня я буду с дамой. Приглядитесь: может быть, я женюсь.

Мы встретились с ними на улице. Было очень тепло. Она была в крепдешиновом красном платье в мелкий черный и белый цветочек. Она показалась нам красавицей, феей. Отец сказал ей:

— Это мои…

Мы стояли как дураки и молчали.

— Валя, — сказала она.

Отец поправил ее:

— Тетя Валя.

Она засмеялась так весело и так сердечно, что и мы, не зная, почем это веселье,

засмеялись тоже.

— Если я теперь вам тетя Валя, то, надо думать, ваш отец сделал мне предложение таким вот образом.

— Ну да, — сказали мы. — Соглашайтесь.

— Идите-идите, — сказал отец. — Не вашего ума дело.

Мы пошли, но все оглядывались, не понимая, почему она, такая красивая и такая хорошая, соглашается выйти замуж за нашего незадачливого отца, двойного разведенца, а где третья жена, там и четвертая.

Четвертой женой мой непутевый отец обзавелся, но тогда уже не было тети Вали.

Я с трудом поднимался по лестнице — этажи в доме были высокие.

Открыла дверь тетя Валя. Перед началом войны она была грузновата, но сохранила все же некую эллинскую позитурность, хотя у нее было уже двое ребят: четырехлетний сын и годовалая девочка. Сейчас же передо мной стояла совсем пожилая женщина. У довоенной тети Вали лицо было круглым и блестящие волосы. У тети Вали блокадной лицо было продолговатым и волосы тусклые, с проседью. Довоенная тетя Валя встречала меня радушно, весело. Блокадная впустила меня на кухню нерешительно, даже с испугом.

Я сразу же понял почему. Она жарила на керосинке манные оладьи для ребят — по детским карточкам еще что-то давали.

Чтобы унять ее страх, я сказал:

— Тетя Валя, не беспокойтесь, я на «Севкабеле», на котловом довольствии. Мы танки ремонтируем, нас кормят. А на эти манные котлеты мне даже смотреть смешно.

— Олашки, — поправила она меня.

— Слово какое-то невоенное. Как ребята?

— Они болеют, — сказала она. — Сейчас спят.

— Можно, я пойду посмотрю? Такое время — бомбы падают. Я проститься пришел. Вчера наш завод бомбили и позавчера…

— Зачем же проститься? — прошептала она с тоской. По щекам ее, по светлым руслицам — сажа от коптилки уже не отмывалась — текли слезы. Она собирала

их пальцами.

— Тетя Валя, если каждый день бомбят, — сказал я. — У нас работа такая. Потому и кормят. — От меня пахло бензином, керосином, железом.

Она вытерла слезы вафельным полотенцем. Спросила:

— А как Коля? Пишет?

И я сказал ей, что на Колю еще в августе пришла похоронка. Она заплакала сильнее и отвернулась к закопченной кухонной стене.

Я прошел в комнату. Ребята спали на одной кровати. Маленькая сестричка была сурова во сне, кулаки ее были сжаты. У четырехлетнего братца были подняты брови, он чему-то удивлялся. Он был радостным мальчиком, он во всем видел радость — в пауке, в поливальной машине. Глаза его были такими большими и сверкающе чистыми, что казалось, будто он не смотрит на мир, но освещает его. И ладошки его были всегда открыты, чтобы поделиться.

Я бы тоже заплакал, если бы умел это делать. Я понял сердцем, а может быть, поддыхалом, что с ним я прощаюсь. Его звали Сережа.

Когда у тети Вали родился сын Сережка, Коля еще вписывался в их семью, даже придавал ей некую динамику. У женщин, не предназначенных для профсоюзных дебатов, но предназначенных для материнства, любовь, безусловно, избыточна, и ее хватает на многих детей. У тети Вали любви было много, но какой-то главной — для двоих. Она любила нас, когда нас было двое, она любила Сережу и Колю, когда их было двое. Я, поняв себя гостем, гостем себя и вел. Когда же родилась у тети Вали дочка, ее любовь целиком излилась на ее маленьких ребятишек. Это совсем не значит, что она стала хуже относиться к Коле, просто любовь ее стала другой. Она так и сказала моей матери. Она часто к ней приходила. Она пришла перед тем, как выйти за отца замуж. Кстати, отец ей и адрес наш дал. Мать ей тогда сказала:

— Смотри, Валентина, он подлец. Рассчитывай на себя. Он подлец мелкий, даже не вредный. Но если ты хочешь для сердца — найди себе широкоплечего.

— Широкоплечий был, — сказала тогда тетя Валя. — Погиб при пожаре.

Тетя Валя приехала в Ленинград из Нижнего Новгорода, была у нее коса толстая, гребенка черепаховая и коробка стекляруса.

Придя к матери перед Колиным к нам переселением, тетя Валя созналась:

— Я люблю Колю, но уже как вашего сына.

— А раньше как любила? — спросила моя мать.

— Как своего.

— Добрая ты баба, Валентина, — сказала мать и поцеловала ее в темя. — А Коля как?

— Он почувствовал… Я чувствую, что почувствовал…

— Ну и ладно, — сказала мать. — Да и пора ему ко мне возвращаться.

И Коля пришел, наглаженный, отутюженный, высокий, стройный, с плащом через руку.

Ребята спали в неведении своей судьбы. Я смотрел на них, и тетя Валя неслышно дышала мне в ухо, так неслышно, что я повернулся к ней — дышит ли? Глаза ее, и без того большие, темные, были огромными. Они уже смотрели с неба.

— Я пошел, — сказал я.

И она ответила мне шепотом:

— Храни тебя Бог. Приходи…

Я пришел после войны, но ее не было — ни ее, ни Сережки. А сестричка суровая выжила — умирающие соседи определили ее в детский дом. Я иногда говорю ей: «Люби свою мать, гордись ею, хоть ты ее и не помнишь». Но она и без моих речей свою мать любит.

Я пошел к Смольному по Суворовскому проспекту. Здание Академии легкой промышленности стояло, черное, выгоревшее от крыши до подвалов и какое-то мокрое, — пожарища всегда кажутся мокрыми. Говорят, в нем было много дерева лакированного и нелакированного, но пылкого. Но хуже всего то, что горела академия, когда была уже госпиталем, — много погибло раненых и врачей. Я видел, как оно полыхало днем, — внутри почерневшей каменной коробки стоял рев, раскаленное добела пламя пожирало самое себя, иначе не объяснишь его яркость.

Мы тогда на склад ездили за покрышками для ЗИСов. После пожара на Бадаевских складах это был самый запомнившийся пожар.

Наш мастер, бывший профессиональный борец Ян Цыган, настоящую его

фамилию я позабыл, собрал из остатков бригад звено, так он это назвал, и ушел в ополчение; его все не брали — у него было больное сердце, — и он все доказывал, что работать на ковре потяжелее, чем загорать в окопе.

И доказал.

И не вернулся.

Бабушка ждала меня.

— Пешком шел? — спросила.

— Пешком. Заходил к тете Вале.

— Отцовой жене? Как она с ребятишками?

— Плохо.

— Я ее видела как-то у Анны. Пойдем на кухню, чайку попьем.

Мы пошли в кухню, поставили чайник на керосинку.

— Заварки нет, — сказала бабушка.

— Подумаешь, мы с мамой и всегда без заварки пьем. Сохраняем цвет лица.

— Сохранили?

— Вполне. Ты что, совсем плохо видишь?

Бабушкины очки лежали на кухонном столе, дужка была перевязана тряпочкой. Бабушка надела их и глянула на меня.

— Прямо жених. Похож на деда Гаврилу.

— Мама говорила — вылитый батька, паразит.

— Сдается мне, она тебя недолюбливала за что-то. Озорничал ты и хулиганил.

— Наверное, — согласился я.

Бабушка внешне не изменилась, не осунулась, не похудела. И в волосах ее черных седины не прибавилось, как были нити, так и остались. Бабушкино лицо состояло из морщин, глубоких и резких. Нос у нее был прямой, толстый снизу, надбровья обозначены слабо, а глаза круглые. И грустная такая усмешка в уголках губ. Я подумал, что меняться ей внешне было, пожалуй, рано, еще хватало белков и углеводов для ее сухого, без малейшей жиринки тела. Вся

пища у бабушки шла, наверно, на содержание ее густых тяжелых волос.

Бабушка налила кипяток в чашки, полезла куда-то в стол и достала два кусочка пиленого сахара. Свой кусочек она расколола щипцами на четыре части. Она всегда так делала. Я последовал ее примеру.

Мы пили чай. Сахар на языке таял, как снег. И вдруг я заметил, что мои кусочки как бы и не кончаются. Я уже иссосал пять, а у блюдца лежит еще один.

Я сказал:

— Хватит. Напился.

В дверях кухни стояла сестра. У нее всегда был очень чистый выпуклый лоб. Но сейчас между тоненькими ее бровями пролегала морщинка, как восклицательный знак.

— Приходи, братец, — сказала она.

И я ей ответил:

— После войны.

А бабушка прошептала мне, подмигнув:

— Храни тебя Бог.

Бывают такие крутые мгновения в человеческой жизни, когда даже самый закоренелый атеист не скажет никакой другой фразы — только эту.

Когда я жил у бабушки маленьким (потому что моя мать поехала к своему рыжему летчику на Дальний Восток), бабушка повела меня в церковь, чтобы я знал, что там. В церкви было красиво, но страшно оттого, что, как я тогда понимал, попы могли меня из темноты окрестить, и тогда меня в школе потом не приняли бы в пионеры.

Мы с бабушкой погуляли по церкви. Уважая мои безбожные чувства, она не крестилась на образа, как другие старухи, — кошмар! — даже молодые мужики… Но вот она поставила меня в очередь детей — мальчиков и девочек. Очередь шла к здоровенному веселому попу. Поп обмакивал кисточку в серебряный сосуд с водой, бил отрока или отроковицу по голове и бормотал что-то. Только он на меня замахнулся кисточкой, я расставил руки и боднул его стриженой головой в живот.

— Антихрист тебя забери, — сказал поп незлобиво, а бабушка засмеялась, прикрыв рот уголком платка. Поп тоже вдруг развеселился, да и треснул

следующего за мной мальчика по голове кисточкой так, что брызги полетели далеко в разные стороны. Я заслонился от этих брызг руками, но они на меня попали.

— Обманщица, — сказал я бабушке. — Обещала, что не окрестишь.

— Тебя и не окрестили. Это затем, чтобы тебя Бог хранил, — сказала она. — Богу-то все равно, крещеный ты или нет. Бог по делам людей судит, не по крестам. А крещение — оно во Исусе…

Я шел домой, тащил на себе тоску. Я себе говорил, что если бы я не заставил себя пойти из Гавани к Смольному через весь город, то был бы последний дурак, — ни бабушки, ни тети Вали, ни Сережки маленького больше не повидал бы. К другой встрече с ними там, на небесах, я еще не был готов душой. Я и сейчас не готов — все чего-то боюсь. Насчет моей собственной жизни вопрос еще не стоял — тогда еще мне казалось, что я бессмертен. Может быть, это общее свойство живого. Но нет, настанет момент, и я очень четко, даже спокойно до ужаса осознаю, что жизнь моя кончилась. Это будет солнечным мартовским днем 1942 года на Тучковом мосту. И только одно у меня будет желание — еще немного, еще минутку посмотреть на солнечную красоту снега да на небо, блестящее, как шелк.

Я шел домой, там меня поджидала горбушка. Весь свой хлеб я оставил на столе нетронутым, чтобы было зачем спешить домой. Я обжарю горбушку слегка на печурке, она даст упоительный запах, и закружится голова, и я усну сытый, и ноги мои будут гудеть и вздрагивать.

На работе у нашей ямы тоже была печурка, сделанная мной. Теперь мы не столько работали, сколько сидели вокруг тепла, вели разговоры о делах на фронте, но всегда скатывались на воспоминания о еде, даже не так о еде, сколько о красоте продуктов, лежавших в магазинах на прилавках, и в бочках, и в кадушках, и в корытцах. На полках россыпью. На крючьях и на полу вдоль стен. В ящиках и в мешках…

На Большом проспекте я остановился у Натальиного дома. Как-то стало мне нехорошо. Я забыл даже горбушку — так захотелось мне к ним. Таким вдруг обдало меня одиночеством — перепрыгнуть бы смертельную трясину, опоясывающую Ленинград, полететь бы к теплому морю, я ни разу у теплого моря не был — погреться бы там на звенящей гальке.

Писатель Пе, если бы глянул на меня в тот момент, то потом написал бы в своем каком-нибудь ироническом рассказе, что юный балбес в полупальто с воротником из цигейки постоял у дома, где мог бы выпить стакан чая с сахаром,

даже с пшеничной лепешкой, был бы умыт с мылом и обласкан, но, воспитанный суровой одинокой женщиной с неудавшейся женской судьбой и ее приятельницами, такими же амазонками поневоле, отказался от такой прекрасной возможности, поскольку женщин боялся, хотя и имел любопытство к ним и надеялся, что есть другая, высоконравственная порода женщин-подруг, можно сказать, гетер и валькирий, с которыми застенчивый герой может не опасаться насмешек, которые чувствуют тонко, понимают глубоко, мысли их возвышенны и грудь высока.

Я все же заставил себя вспомнить горбушку. Я ее поджарю на печурке. Пойдет такой запах.

А Писатель Пе — да что он понимает в валькириях! — он-то в это время был в Уфе, учился в школе, подлец, да еще имел наглость получать тройки.

Завыли сирены воздушной тревоги. Редкие прохожие зашли в подворотню и как бы уснули, прислонясь к стене. Уже поздно было. Поздно и холодно. В небе возник привычный опадающий звук. Захлопали зенитки. Над домами взлетела зеленая ракета и зашуршала по мглистому небу, рассыпая искры в сторону Балтийского завода. И вскоре туда полетели фугасы.

Память моя как лес. Многослойный лес, где каждое дерево, каждый цветок живет по своим часам. Где тропы, идущие рядом, выводят к различным ягодникам, где птицы поют вразнобой, но выпевается песня.

Птицы — существа вздорные, они ломают форму леса своим полетом.

Однажды такой вот зигзаг по воле винных паров и радостного вожделения ухи привел меня на знаменитую реку Дон.

У реки, на степном шляху, отжала наш автобусик на обочину похоронная процессия. Шли пионеры, несли на подушке казачью фуражку с детской головы, на другой подушке несли пионерский галстук. Дети несли крышку гроба, обитую кумачом. Они же несли на полотенцах гроб с телом мальчика в белой рубашке и синей курточке, наверное, четвероклассника. За гробом сурово, с пониманием высоконравственной энергии их молчаливого движения, шли одноклассники, все в форме. За ними, чуть поотстав, шли взрослые: женщины в черных косынках, мужчины с черными повязками на рукавах. Мы вылезли из автобуса, сняли шапки.

Догоняла процессию хромая старуха, может, прабабка, а может, просто старая-престарая женщина. У нее я спросил:

— Бабушка, кто этот мальчик? Почему так торжественно?

Старуха глянула на меня черным взглядом, сразу зачислив меня в дураки, — я это понял.

— Казак, — сказала она и пошла так быстро, как позволяли ей больные ноги, и все же медленнее, чем требовало ее сердце, уставшее считать ушедших казаков.

Я думаю обо всех от рождения предназначенных служению отечеству, в этом смысле я зачисляю и себя в казаки, но чаще других я вспоминаю все же моего старшего брата, который по своим талантам, уму и сердечной щедрости был предназначен для возвеличивания человека, для вечного его движения к самосовершенствованию.

«Какова культура, такова и политура!» — это у Писателя Пе на стенке висит в кухне. Еще у него висит: «Эх, ма!» На тарелке. С тарелки легко смыть и положить свиную отбивную.

Еще у него написано слово «НАВОЗ» на экране телевизора губной помадой. Он, когда насмотрится телевизора, — звереет. «Большой разлив беспробудной нравственности», — так он говорит. И матерится. Как будто орет в лесу. Я знаю, поорать в лесу сильно хочется после дивных интеллигентных художественных дебатов.

— Врывается мужик на скотный двор в костюме из новой стопроцентной шерсти, в «саламандре», — Герой Соцтруда, — кричит: «Дайте вдохнуть чистого, я с собственного юбилея убег!..» А вот при коммунизме люди будут жить где хотят и есть что хотят. Я буду жить в Толедо. А есть буду волованы с телятиной… Невский весь испортили. Каждое лето прокладывают фановую трубу.

Если Писатель Пе умрет, я умру тоже. Но я умру раньше, он изведет меня своим брюзжанием.

— А помнишь ли ты, как звали ту немку, которая в нашего Пашу Сливуху втюрилась?

— Эльзе. А почему ты спрашиваешь?

— Хорошо, что ты помнишь, а я забывать стал. Ты правда помнишь? А эти негодяи не верят. Я написал рассказ, так одна свинья с лебяжьей шеей подходит и говорит ласково: «Не верю». Другая сволочь бородой трясет, тоже не верит. Я ему сказал, что он утюг — свинячье корыто. Он нервы распустил и за

сердце хватается… Знаешь, Аврора своего Ардальона бросила — другой у нее. Любит она замуж ходить. Это поиски счастья или сексуальная расторможенность?

Писатель Пе брюзжал, ворчал и матерился. Я даже подумывал: может, его под душ затолкать? Он, как помоет голову, становится умнее и спокойнее, даже интеллигентнее — ему мытая голова идет.

Я на губе сидел. Комендант гарнизона, мой бывший командир взвода, посадил меня на сутки на губу, он часто меня сажал за расхристанный вид. А его ординарец, мой дружок Васька, забирал меня с гауптвахты якобы полы мыть. Я возлежал в комендантском кабинете на широкой лавке. Мы травили баланду о будущей нашей шикарной жизни и вкусно ели — Васька умел вкусную жратву добыть или сам готовил. Он даже пироги умел печь.

Тут прибегает парень от шлагбаума, мы стояли в поселке под городом Альтштрелец, и говорит нам, утирая пот со лба, что какая-то немка рвется в расположение, — еще минутка и сломает шлагбаум.

— Вы только послушайте ее! Сдохнете.

Мы побежали — Васька дал мне ремень, их у него было штук шесть, и обмотки у него были.

На въезде в поселок у шлагбаума стояла девушка, хорошенькая, насупленная и круглоглазая, похожая на совенка. Она сказала: «Гутен таг» — и прочитала по слогам, глядя в бумажку:

— Па-шу Пе-ре-ве-со-ва. Ферштейн? — и уставилась на меня в упор и закипятила по-немецки: «Дер хер дас в глас…» — ну, все в таком роде.

Я ей галантно:

— Мадемуазель.

Она еще пуще кипит — даже ногой дрыгнула.

— Их бин нихт мадемуазель, их бин фройлейн. — И снова глянула в бумажку. — Я Па-ши-на дев-ка. Ферштейн? — И снова уставилась в глаза сердито, но на этот раз Ваське. — Шпрехен зи дойч?

— Ком битте нах комендатюр, — сказал Васька, побледнев. — Зер гут. — Васька улыбнулся всеми веснушками, веснушек у него было много, отчего и кличку он получил — Заляпанный.

Девушка пошла с нами бесстрашно, она все еще дулась на нас за нашу бестолковость, незнание немецкого языка и Перевесова Паши. А он, этот Перевесов, и есть наш Сливуха. Мы под следствием всем взводом, а тут приходит такая резвушка, рвется в расположение и заявляет: «Я Пашина девка». Тут не губой пахнет… Нам и без нее дисциплинарное подразделение высвечивается в перспективе… А Васька ей этаким страусом: «Зер гут. Битте шон…»

Расквартировали бригаду под Альтштрелецем в поселке то ли подземного порохового завода, то ли подземных пороховых складов — ветка железной дороги уходит под землю в туннель, а там вода. И всюду разбросаны ящики с бездымным порохом. Но местность красивая. Обширный холм — можно сказать, гора, и лес на ней ухоженный, свежий. По камням козы скачут — козочки…

В ротах пошло учение. Боевая подготовка. Строевая подготовка. Изучение материальной части: ППС — пистолет-пулемет Симонова, рожковый. Рожок-обойма заряжается тридцатью пятью унифицированными патронами, калибр 7,62.

На боевую подготовку взводы ходят кто в лесок, кто в поле. Учимся воевать. Оказывается, всю дорогу мы воевали неправильно.

Бегаем в атаку. На бегу начинаем играть в футбол — можно кружкой, можно пилоткой, предварительно набитой портянками и зашитой, — конечно, надо ее вывернуть. На строгий окрик командира взвода простодушно отвечаем вопросом:

— А что?

У молодых лейтенантов, прибывших к нам командирами, накапливаются амбиции большой карающей силы и дальнодействия.

— Опять на гауптвахту?

— Товарищ лейтенант, на гауптвахте процветает пьянство и позорная азартная игра в очко.

— Товарищ лейтенант, именно там мы и портимся.

Я сказал Писателю Пе:

— Надо сбивать футбольную команду. В разведке нам петля.

— Ротную? — спросил он.

— Кому нужна ротная? Надо сбивать бригадную. Станем играть на первенство корпуса, армии и всей группы войск.

Мысль была прекрасной. Командиры ее поддержали — благословили. Нашлись футболисты-разрядники, даже играющий тренер. Начались тренировки с целью отбора. В других бригадах, корпусах и приданных им подразделениях идея футбола прошла, как огонь по верхушкам деревьев. В футбол ринулись все, кто так и не научился застегивать верхнюю пуговицу гимнастерки. Но не всех отобрали. Нас с Писателем Пе взяли в команду запасными только как инициаторов движения. Играющий тренер сказал: «Начнете со ста приседаний, доведете до тысячи. Ясно?» Нам было ясно.

Но нужны были бутсы. Много пар бутс.

Нашлись сапожники — в армии все есть. А товар?

Мы вспомнили о громадном количестве в Германии портфелей. В рейхе было чудовищное количество бумаг, чтобы эти бумаги перетаскивать с места на место, требовалось много портфелей. А теперь портфели валялись. В каждом городе был черный рынок, там мы их и наторговали. Но дальнейшее снабжение футбольных команд бутсами шло, конечно, централизованным образом.

Обув футбольную команду, сапожники обули самих себя, но, поскольку ни один сапожник не любит застегивать верхнюю пуговицу, в роты им возвращаться не захотелось, и принялись они за пошив сапожек из плащ-палаток, которые так шли женщинам. Я думаю, эти плащ-палаточные сапожки и породили заросли женских сапог, произрастающие сейчас в странах с умеренным климатом.

В корпусе мы выиграли легко. На нас снова смотрели как на героев.

Мы выиграли в армии. Нам дали отдельный одноэтажный домик для жилья, каждому часы-штамповку и бочонок пива. Мы выпили пиво, повесили в нашем домике стрелковую мишень на стену и принялись попадать в десятку наградными часами. Штамповка — часы неуважаемые — это нас оскорбляло. Потом мы начали петь «Шумел камыш». Когда у нас уже начало получаться в ритме марша, к окну нашего домишки подошел начальник строевой части майор Рубцов. Послушал немного, даже подпел, как мне кажется, и скомандовал:

— Встать! Ко мне через окно шагом марш. В одну шеренгу становись. Равняйсь. На-аправо! Бегом марш.

Мы эти команды выполнили, как нам казалось, безукоризненно.

Мы пахли пивом. Майор легко бежал рядом:

Подбежали к озеру. Озер вокруг этого Альтштрелеца много. Может, немцы теперь их осушили, борясь за урожаи картофеля, а тогда было много. Остановились у кромки воды — бег на месте.

— В озеро бегом марш! — скомандовал майор.

Забежали. Стоим по горло в воде. Низкорослые пытаются плавать.

Майор снова командует:

— Отставить плавать. В воде на месте бегом марш!

Хмель из нас быстро вышел. От пива хмель неупористый. Стали зубы стучать — озноб и кашель. Но самое отвратительное — это разочарование в людях. Негодяи, которые встречали нас криками ликования и аплодисментами, сейчас столпились на берегу озера и ржали — даже обезьяны не смеются над своими страдающими собратьями, а эти ржут.

Команду не расформировали: всех футболистов послали обратно в роты, тренировки в свободное от занятий время — в бригаде появился офицер-физрук. Штангист! Он сделал пересмотр запасным игрокам. Нам с Писателем Пе он порекомендовал заняться индивидуальными видами спорта.

— Если хотите, могу с вами заняться тяжелой атлетикой. Тренировка первая — приседания. Посадите товарища себе на плечи и присядьте с ним на плечах сто раз.

К тому же футболисты теперь ходили с застегнутой верхней пуговицей.

Вот тогда и случилось у нас ЧП.

Лейтенант, новый командир нашего взвода, то ли от тоски молодой, то ли для налаживания с нами отношений, вместо боевой подготовки повел нас на охоту. На кабанов.

— Вот, — сказал он, показывая на карте. — Кабаний заказник. Снарядите обоймы.

Вместо гениального автомата ППШ нам выдали легкие пистолеты-пулеметы. Нам их уже один раз выдавали на фронте, но мы умудрились их быстренько потерять: кому это надо, если в ППС тридцать пять патронов в магазине, а у

ППШ семьдесят один? Вес? А что такое вес супротив жизни?

Но после войны вес стал играть роль. У меня, например, вокруг пояса синяки от ремня с дисками и гранатами не проходили. И на плече от автоматного ремня.

Взвод у нас был небольшой — три машины. Шоферы на занятия в поле не ходили, у них свои игрушки — все промыть десять раз, и все десять раз смазать. Кто-то болел, кто-то был в наряде — пошло тринадцать человек.

Весело шагали.

Кабаний лес окружала светлая молодая поросль: кустарники, молодые березки, клены, ясень. Говорят, из ясеня наши предки делали луки, склеивали из трех полос. Красивое слово — ясень.

Мелколесье взбиралось на скалистый холм. Кабаний лес, огороженный жердями, уходил в лощину, темный и мокрый.

Мы расселись на изгороди, как тяжелые птицы. Земля была истоптана острыми копытами. Лес был угрюм, бестравен. Кто-то вспомнил, что на Руси кабанов называли вепрями. Кто-то вспомнил о невероятной ярости вепря. И страшенных клыках.

— Вепрь любит сзади пороть.

— Говорят, его шкуру автоматная пуля не берет.

— Вепрь бьет клыком в мошонку. Вырывает с корнем. Раньше на вепря только кастраты ходили. Специальная была рота…

Лейтенант горделиво усмехнулся. Спрыгнул с изгороди в кабаний лес.

— И это разведчики, — сказал он. — Герои войны. Пойдем цепью.

Но тут появилась лань.

На светлую поляну в мелколесье выскочила. Вспрыгнула на моховой валун. Замерла как бы на пьедестале, вскинув маленькую голову с острыми рожками. И вся как золотая пружинка.

Парни свалились с изгороди. Бросились к ней с ревом. Лань метнулась всем телом вправо, затем влево. Она играла. Не знала коза разведчиков. Пока она этак-то скакала, разведчики ее окружили. И тут началась баталия. Не могу вспомнить, кто начал стрельбу первым, — наверное, первого и не было. Я упал с жердей в траву, прикрыл голову автоматом.

Кольцо вокруг косули сжималось.

Парни палили друг в друга, они друг друга не видели — видели только козу. Лейтенант перемахнул изгородь, я увидел его уже в круге стрелков.

Я видел, как убили Егора. Он выронил автомат, махнул рукой, словно отгонял слепня, и упал лицом вверх. Косуля перепрыгнула через него, белое пятно под ее хвостом мелькнуло в кустах, еще раз мелькнуло между камней — она уходила к вершине холма. А он лежал вверх лицом. Я снова залез на изгородь.

Я сидел на изгороди не шевелясь. Не дыша. Я так и сказал командиру бригады:

— Я видел, как Егор упал, я сидел на изгороди, мне хорошо было видно — стреляли из леса.

— Вы убили его, — сказал генерал. — Почему у всех у вас чистые автоматы?

Я промолчал.

— Вы прошли войну и не научились беречь друг друга.

Это было несправедливо, хоть, в общем-то, правильно — мы умели, но мы сразу же разучились.

Здесь мы встретились с неведомым нам доселе чувством — раньше никто из нас, кроме Егора, не охотился. Инстинкт позвал нас. А война разбудила в нас зверя. Мы были звери. Мы еще не пришли в себя. Мы все четыре года шли к этой охоте, к этой развязке. Косуля была как очищение…

Память не укладывает события в последовательный рассказ.

До этого у нас отобрали трофейные пистолеты, патроны, кинжалы. Патроны выдавали только для учебных стрельб. Но патронов у нас было навалом. Мы набили обоймы и взяли в карманы. У нас четыре ящика было зарыто в песок, обернутые плотной промасленной бумагой.

Егор умер, улыбаясь. Наверно, он не понял, что умирает. Он видел косулю — лань, летящую через него.

Он лежал, улыбался. А косуля даже не убежала. Она вымахнула на холм и смотрела на нас сверху, наклонив голову. Она, видимо, была непуганая и даже не поняла, что мы ее убивали.

Молоденький лейтенант вдруг показал себя командиром. Он велел всем выбросить из рожков и карманов оставшиеся патроны подальше в болотце,

почистить автоматы и припылить их, чтобы пыль забилась в стволы и затворы.

— Стреляли из леса, — сказал он. — Если бы у нас были патроны, мы бы эту фашистскую сволочь взяли. Но с одной моей пукалкой в лес не попрешь. — Он повертел своим пистолетом. — Черт возьми, расстрелял всю обойму…

Этот цирк у него хорошо получился.

На дознании мы говорили: «Выстрел был сделан из леса».

Лейтенант осунулся, почернел, повзрослел. Мы сказали ему, стоя тогда над Егором: «Если поползут слухи, значит, вы поделились со своим близким другом».

По тому, что лейтенант повзрослел вдруг, мы поняли, что он никому не открылся, не переложил камень со своей души на душу приятеля.

Лейтенант долго выбирал место, откуда стреляли, выбрал нагромождение камней — красиво, но глупо — стрелку из этих камней убегать было бы некуда. На дознании у нас небольшие расхождения были, но направление мы показали одно — «может быть, не из камней, но определенно с той стороны».

А Егор лежал, улыбался. Замечательный молодой мужик, мечтавший уехать на Север, чтобы стать там охотником-профессионалом. Он ушел от нас в леса счастливой охоты. Говорят, в тех лесах нет начальства. Говорят, олени и тигры возрождаются там сразу же после выстрела. Сам — пять.

Каждый день нас, то того, то другого, вытаскивали на дознание. Мы были злые, как макаки. Тут и явилась немецкая барышня с круглыми глазками, круглым личиком и заявила у шлагбаума: «Мне Пашу Перевесова. Я его девка».

Паша Сливуха как раз был у подполковника из юротдела армии.

В комендатуре она скромненько села на скамейку, что-то сказала скорострельное и уставилась на свои руки, сцепленные на коленях, — мол, я готова ждать до вечера.

Внизу, в прихожей, Старая немка заиграла на фортепьяно что-то очень грустное.

Васька предложил немецкой фройлейн пирогов. А я пошел вниз — дознание велось здесь же, в комендатуре, — чтобы предупредить Пашу, когда он освободится, о посетительнице. Я передал часовому, чтобы Паша, прежде чем уйти в роту, поднялся к Ваське.

Старая немка играла. На верхней крышке фортепьяно стоял котелок с борщом или кашей — комендантский взвод ее кормил.

Фортепьяно входило в обстановку этого дома, стояло в гостиной. Солдаты вынесли его в прихожую, чтобы в меблировке комендатуры не прочитывалось двусмысленности.

А Старая немка появилась в комендатуре так: пришли как-то Шаляпин и Егор навестить нашего бывшего командира взвода и Ваську. Увидел Шаляпин пианино, принялся бить по клавишам одним пальцем. Очень громко. И еще подпевал. А Егору было хоть бы что, он волчьего воя не боялся и медвежьего рева. Они с Шаляпиным были друзья.

Упивался Шаляпин звуками. Вот тогда и появилась Старая немка — еще шлагбаума не было. Вошла возмущенная. Но, увидев Шаляпина, смягчилась. В выражении его лица разглядела она выражение счастья.

Она подошла и, став с Шаляпиным рядом, одной рукой сыграла быстрый пассаж. Шаляпин шмыгнул носом. Выражение счастья на его лице стало радостным. Немка потом сама об этом рассказывала. Она сыграла ему простенькую музыкальную тему и, взяв его руку, нажала его пальцами на клавиши. Шаляпин понял. Согласно кивнул. Но повторить тему не смог. Даже нажимая на те клавиши, на какие надо, он извлекал не дух божественный, но богомерзкий. Немка костяшкой согнутого пальца постучала по деке инструмента и велела Шаляпину повторить. Он опять все наврал. Она огорчилась, но, видать, была умна и опытна. Попросила Шаляпина повторить то, что он сам отстукал. Он не понял и угрюмо покраснел.

Егор объяснил немке:

— Елефант. Фусс. Оор.

А вокруг них уже стояла толпа.

Все хотели, чтобы Шаляпин прорезался, чтобы явил чудо.

Немка спросила, есть ли в комендатуре переводчики.

Переводчиков было три. Два пожилых немца и медсестра из нашего медсанбата. В тот день была медсестра. Она объяснила Шаляпину, что от него требуется.

Он бросился было стучать по фортепьяно, но немка остановила его. Снова отстучала на деке несложный ритм. Шаляпин повторил несуразно. И чудо было

явлено — свою несуразицу он повторял почти точно.

Все, кто был в прихожей, завопили. Шаляпин ничего не понял и в адрес приятелей кое-что высказал с учетом присутствия медсестры.

А немка сказала медсестре, что могла бы заниматься с герром Шаляпиным и надеется, что можно найти ключ к его недугу.

Егор от такой перспективы для своего друга прослезился.

— Фрау, вы ангел, — сказал он. А дружку своему велел: — Шаляпин, дай звук. Покажи тете, на что ты способен.

Шаляпин дал. Немка в испуге зажала уши. Лицо ее скривилось.

— Шальяпин, — произнесла она и засмеялась. — Фиодор Иванич…

Она приходила аккуратно после обеда, когда наши воинские занятия кончались, и занималась с Шаляпиным.

Комендантский взвод предпочитал на это время выходить на природу. Только Егор выдерживал. Почти все занятия он просиживал рядом с фортепьяно — стругал тросточку.

О смерти Егора Старая немка узнала в тот же день. Она пришла в черном, села за фортепьяно и долго играла грустные и торжественные мелодии. На стуле, где обычно сиживал Егор, сидел Шаляпин, сжимал в руках Егорову тросточку, Егор ставил ее за пианино.

После она часто играла и подолгу: Баха, Рахманинова и Шопена. Позанимается с Шаляпиным и сидит играет. И Шаляпин сидит, плачет сердцем. Такого друга, как Егор, у него не было. Егор его как бы очистил от сознания того, что он был в плену.

Солдаты приносили Старой немке еду, и она не видела в том унижения.

Даже когда мы взяли ее в агитбригаду пианисткой, она приходила в комендантский взвод, где, как она говорила, ей впервые открылся русский человек.

Проходя мимо, я поклонился ей, мы старались быть с ней замечательно вежливыми, и пошел искать чертова Пашку Сливуху.

Искать его уже было не нужно. Мрачный, он шел мне навстречу.

Когда мы поднялись с ним в комнату коменданта, немецкая барышня сидела в

той же позе. Перед ней стояли нетронутые пироги.

— Ну дура. Не прикасается, — сказал Васька и заорал: — Нихт гифт.

— Сам дурак, — сказал я. — Она думает, что ты своими пирогами склоняешь ее к постели.

Паша от моей реплики покраснел. Барышня встала рядом с ним, взяла его за руку и покраснела тоже.

Потом они сели. Паша подвинул ей пироги. Барышня стрельнула глазами на Ваську и, как верительную грамоту, взяла пирог.

— Ненормальная, — сказал Васька. — Сова пучеглазая. Как ее зовут? — спросил он у Паши.

Паша сказал тихо:

— Эльзе.

Барышня улыбнулась фарфоровой улыбкой и высокородно поклонилась. Она учтиво жевала пирог, аккуратно глотала. Ее тонкую шею сжимали спазмы. Она была очень голодна.

— Ульхен, — сказал Васька.

Барышня поперхнулась.

Ульхен — мы потом ее только так и называли.

Старая немка все еще играла на фортепьяно грустно-торжественные мелодии. Ульхен вытерла рот и руки носовым платочком, достала свою бумажку и прочитала:

— Паша, я твоя шлюшка, потаскушка. Гут? — и она улыбнулась.

Мы с Васькой икнули одновременно, а Ульхен, гордясь своими успехами в русском языке, пустилась старательно считывать с бумажки такой лексикон, какого Паша Сливуха в своей деревне и слыхом не слыхивал.

— Гут, — сказал он ей. — Гроссе зер гут.

Ульхен надулась от гордости. Погладила Паше Перевесову руку. А он, отличник учебы и сельский полиглот, приготовился слушать все, чему ее научил какой-то старый немецкий солдат, озверевший от поражения, бестабачья и голодухи.

Мы с Васькой одновременно выскочили на лестницу. Там заржали. Мы слышали,

как Паша говорил Ульхен красивые слова: «Майне фогельхен. Майн тебхен. Майн цукерхен…» Он просто брал какое-нибудь хорошее слово и прибавлял к нему «хен» с соответствующим артиклем.

По лестнице поднялась переводчица. Она спросила у нас, чего мы ржем. И мы, подумав, ей рассказали. Нам казалось, что это нужно сделать, чтобы Ульхен не попала в какую-нибудь беду со своей бумажкой. Мы же не знали, как она для себя все эти слова переводит. Какие смыслы они для нее содержат.

Переводчица вошла в комнату, широко распахнув двери, — мы-то знали, что у нее с нашим бывшим командиром взвода амурный роман. Наше шумное явление нисколько не смутило Ульхен. Она как раз заканчивала какой-то замысловатый тройной пассаж.

— Вери гут, — сказал ей Паша. — Соле мио, примавера, шерами. — Запас красивых немецких слов у него иссяк.

Эльзе погладила его по руке, но, глянув на нас, погладила еще и по щеке.

Переводчица взяла довольно резко из рук Эльзе бумажку, пробежала ее глазами, сначала стала красно-фиолетовой, потом бледно-зеленой. Она что-то спросила у Эльзе. Эльзе что-то ответила, вдруг испугавшись, и вцепилась в руку Паши.

— Дурочка всю ночь учила эту похабель. Хотела понравиться…

По тому, как менялось лицо Эльзе, мы поняли, что переводчица принялась объяснять ей смысл фраз и слов, написанных на бумажке.

— Ты полегче, — попросили мы ее.

— А что такое? Пусть кушает, что испекла.

— Она же еще сопля.

Переводчица глянула на нас с презрением.

— Сами вы… Сейчас любая такая дрянь любого героя окрутит — видите ли, ее пожалеть надо, а я, значит, по боку! Меня в Рязань с пузом — и позабудут, как звали…

Переводчица, ее звали Лида, швырнула бумажку на стол к пирогам. Выкрикнула: «А подите вы!..» — и оттолкнула нас, и вышла, так хлопнув дверью, что внизу на Старую немку и фортепьяно с потолка посыпался мел. И странно, злые ее слова, именно по пророческой их истинности, превратили ее,

красавицу, повелевавшую мужским поголовьем бригады, в усталую медсестру, пригодную лишь для лечения триппера.

Эльзе сидела бледная. Даже пальцы у нее стали белыми.

Она подобрала со стола бумажку. Сказала гневно:

— Шреклихе вайб. — Она не поверила.

Паша отобрал у нее бумажку с фразами и разорвал ее.

— Зер гут, — сказал он. — Майне Ульхен.

Васька сложил пироги в узелок.

Паша проводил Ульхен за шлагбаум. Молодой солдатик из пополнения, прыщавый, пятнистый, накопивший в себе за войну презрение ко всему на свете и голодную наглость крысенка, пропел ему вслед:

Ах, эти черные трико

Меня пленили…

Паша обернулся. Взгляд его был угрюм.

— Молчу, — сказал солдатик, опуская шлагбаум, он для Ульхен его поднял. Когда Паша вернулся к шлагбауму, солдатик спросил: — Ты из разведроты? Говорят, они разведчика застрелили, сволочи…

В комендатуре вдруг заорал Шаляпин. Он еще не пел сегодня. Он был у подполковника из юротдела и еще не занимался со Старой немкой.

Был Шаляпин из репатриантов. В войска брали освобожденных из концлагерей, в основном специалистов. Специалистов в войсках не хватало. Под конец войны в ремонтные подразделения даже немцев брали. Они так и ходили в немецкой форме.

У нашего помпотеха был полувзвод засаленных. Я любил приходить к ним, хотя с помпотехом у нас и была вражда из-за Паши — от них гаражом пахло. Однажды я пришел к ним ключами гаечными побаловаться, а под «студебеккером» кто-то орет таким басом, что я нагнулся и заглянул. Парень мордастый лежал на спине, но как будто стоял на сцене. Он махал рукой с зажатым в ней ключом, нижняя губа его вывернулась, похожая на половинку бублика. Парень выдыхал из себя низкий богопротивный звук.

— Ты что? — спросил я.

— «Элегия», — ответил он. — Композитор Массне.

— Похоже, — сказал я.

Потом я сходил к начальнику строевой части майору Рубцову и попросил дать этого Шаляпина нам во взвод. «Только бесстрашный человек не побоится так жутко петь», — сказал я в оправдание своей просьбы. Начальник строевой части меня прогнал, сказав, что сам знает, кого куда посылать, и чтобы я шел туда, куда он меня послал, а он без нахалов все сам рассудит. Но я подвалился к нашему вежливому корректному командиру взвода.

Командиру взвода Шаляпин по первости не понравился. «Мамай какой-то», — сказал он. Он прямо-таки скис, когда Шаляпин запел. А Толя Сивашкин натурально болел. Говорил: «Когда этот орангутан орет, у меня из ушей течет кровь». Потом Толя попривык и даже пару раз аккомпанировал Шаляпину на аккордеоне.

На Шаляпина сердиться было нельзя. Он знал, что поет омерзительно, и обещал нам, что разовьет в себе музыкальный слух и, развив, поступит в консерваторию. И сделает он все это в честь нашей в него веры и нашего к нему хорошего отношения.

— Правда же нельзя, чтобы такой голос пропал? — говорил он. — Не по-божески будет, не по-хозяйски.

Когда умер Толя Сивашкин, Шаляпин плакал горько, текуче. Когда умер Егор, Шаляпин, мы думали, онемеет. Но он заорал. И глаза у него были как у идущего на смерть. Старая немка его глаз испугалась, сказала: «Герр Шаляпин кранк…»

Писатель Пе, лежа в больнице, спросил у своего оперированного соседа, лауреата Государственной премии в области оптики, профессора, члена-корреспондента: «Что бы вы, дорогой профессор, пожелали от Бога или от Золотой Рыбки?» Писатель Пе многим этот дурацкий вопрос задает, как бы в шутливой форме.

— ГОЛОС и ФАЛЛОС, — ответил сосед.

У Шаляпина был ГОЛОС. С его простодушным упорством он в конце концов смог бы развить в себе слух, достаточный для заучивания оперных партий. И чем черт не шутит, может быть, прорезалось бы в нем что-то волшебное, непременное в высоком вокале. И эту чертову «кость» ему не надо было удлинять по методу Гавриила Абрамовича Илизарова. Так что ждало его

лучезарное будущее, можно сказать, счастье. Но не было ему звезды.

Не было звезды и Паше Сливухе. Любовь — да, была, а звезды не было.

Мнение, что в разведку берут уголовников, боксеров и дзюдоистов, мягко говоря, неправильное. Наши командиры, например, отбирали пополнение по признаку застенчивости и образованности. Разведчик должен читать карты наши и немецкие, и даже французские, если бы такие попались, должен разбираться в планах и схемах, желательно, чтобы разведчик мог с противником поговорить не только на кулаках. Но если мы, солдаты, к образованию относились снисходительно, считая это делом наживным, то застенчивость учитывали всерьез. Если парень и крепок, и неглуп, но у него на морде написано, что он прожженный и уникальный форвард, мы с сочувствием проходили мимо. Застенчивость указывает на наличие совести. А совесть в разведке — качество номер один. Человек даже не смелый, но с наличием совести всегда надежнее, чем исключительный смельчак без оной.

Но поскольку крупные пополнения даже в танковой части довольно редки, а разведка — как игра навылет, то не последнюю роль тут играл случай.

Пашу Сливуху к нам не прибило — его привезли. Его подобрали, заблудившегося на войне. Номер своей части он помнил слабо, называл сразу две цифры и пояснял: «Чи та, чи эта». И пожимал плечами. Плечи у него были широкие, но не могучие, а какие-то парусные, и шея тонкая, как мачта. Но рука была у него как некое черпало или копало (он любил такие слова), а если попросту сказать, то как лопата — такой ширины.

Привез его Писатель Пе на мотоцикле.

Изложу события до встречи с Пашей в романтическом ключе Писателя Пе. После встречи с Пашей романтический ключ сам по себе заненадобится. Потребуется он снова лишь с появлением Ульхен.

Жара стояла такая, словно сердце земной природы тронулось навстречу наступающим танкам, как сказал бы Писатель Пе.

В Люблине танки шли по цветам, вдавливая их в разогретый асфальт.

Пехота, тесно сидевшая на броне, смущенно сжимала в руках солдатские мешки, в которых были хлеб да патроны.

Люблин — город красивый, желтый с белым и красным, и зелени в нем много. И не очень побитый.

И как раз в этот день солдатам стало неловко за свои линялые, застиранные

гимнастерки и удобные, но все же копытообразные башмаки.

А все паненки!

Подбегали паненки, вставали на цыпочки — дарили солдатам цветы из рук в руки. Касались солдатских пальцев пальцами. Машины вздрагивали, приостанавливались, чтобы ненароком не смять хрупкое и неосторожное в радости человеческое тело.

— Прошу пана, — говорили паненки. Глаза их светились.

Молодые солдаты до паненок еще несмелые, да и взрослые, отвыкшие за войну от креп-жоржета, смущенно оправдывались:

— Какие же мы вам паны? Мы интернационал. Товарищи.

В Люблине стоял запах роз, он заглушал все другие запахи города, кроме одного, который чувствуют только танкисты, — освобожденные города пахнут сгоревшими танками.

А на балконах, сияя парадными лаковыми сапогами, стояли настоящие паны. Брали паны пясточками печенье из хрустальных ваз, а вазы эти хрустальные держали горничные в кружевных передничках, и это печенье сахарное паны по штучке, как рыбкам, бросали солдатам — красноармейцам.

Молодые солдаты толкали друг друга:

— Серега, смотри — буржуи.

— Тише ты. Может, артисты. Может быть, тенора.

Из окон верхних этажей торчали один над другим жители попроще, пошумнее. Они махали руками, печеньями не баловались, кидали солдатам сигареты из наскоро распечатанных пачек.

Мальчишки в конфедератках, сползающих на уши, подбирали эти сигареты и это сахарное печенье. Печенье пихали в рот, сигареты совали танкистам, норовя при этом залезть на броню.

— Цигарки, панове. Цигарки!.. — И шепотом: — Пан, продай шмайссер.

«Продай» говорили по-русски и, позабыв на минуточку о коммерции, жались к солдатам, трогали ордена и нашивки.

Танки шли на Варшаву.

Выбравшись из цветов, улыбок и креп-жоржета, батальоны набирали скорость рывком — они как бы встряхивали окрестность многотонной волей брони.

Писатель Пе потерял под городом Люблином почти музейный броневичок, его использовали только как связь, и теперь догонял бригаду на мотоцикле. Бригада его ушла далеко вперед и, может, уже разворачивалась для боя.

Стрелка спидометра поклевывала по ограничителю. Плотный ветер студил щеки. Летел Писатель Пе, едва касаясь асфальта колесами, и казалось ему, что танковая колонна, вдоль которой он так быстро летел, грохочет на месте, старательно соскребая асфальт.

Воевал Пе в России — победы в ней были как спирт, разведенный слезами. Воевал в Румынии — победы в пристыженных городах не окрашены праздничными нарядами. Сегодня война повернулась к Писателю Пе ликующей стороной.

Был он зацелован паненками и непомерно велик, и ему казалось, что скорость у танков маловата, что не хватает им той настоящей победной мощи, чтобы мчаться как ветер, не ломая цветов, не вминая их в землю.

Пе угнал у какого-то ротозея тяжелый трофейный «Цундап».

Ветер свистел у него в ушах.

Впереди у березы стояла девчонка. Полосатая домотканая юбка надувалась колоколом над девчонкиными коленями. Девчонка держала в руках корзину и, подпрыгивая, кидала что-то танкистам.

Писатель Пе крикнул ей издали:

— Кинь мне!

И в лицо ему вдруг ударило хлестко. Дорога исчезла. Только небо…

Он уловил у левого плеча стальной грозный грохот. Положил руль вправо и тормознул. Его вынесло с седла, перевернуло через голову и хрястнуло обо что-то спиной. От удара зрение его приобрело как бы особую власть над миром. Он увидел поле, идущее на него острой жестью. Березы запрокидывались, взмахивая ветвями. И небо повернулось вдруг к нему черной стороной.

Некоторое время Писатель Пе лежал в темноте. Боль внутри него гудела, как двигатель.

Очнувшись, он увидел у своих глаз испуганные глаза — близко-близко. Ресницы

вокруг глаз были слипшиеся.

— Цо то, пан? Пан зранены?

«Мина под колесо, — подумал Пе. — Мотоцикл вдребезги. На чем ехать?»

— Свента Марья! Пан в крови.

Писатель Пе слегка приподнялся. Ощутил спиной и затылком шершавый ствол березы.

«Кости целы. Голова, хоть и слабо, работает. Промигаюсь».

Девчонка, та самая, в полосатой юбке, стояла над ним на коленях, дышала ему в лицо чем-то летним, очень душистым. Она сняла белую косынку, упавшую на плечи. Принялась вытирать ему лицо осторожно и ласково. Говорила ему, чтобы он потерпел. Потом откинулась, распрямилась, стоя на коленях, и засмеялась.

— Ой, пан. То не крэв, то вишня! — упала на него, уже не боясь причинить ему боль. И тискала его. От нее пахло вишнями. Она совала ему вишни в рот, и в карманы, и даже за пазуху.

И когда он завел мотоцикл, девчонка стояла возле, тихая и удивленная, как бы проснувшаяся после крепкого детского сна.

— Як я пшестрамшиламся, — шептала она, глядя в землю. И, вскинув глаза на него, добавляла, вдруг прыснув в ладошку: — То не крэв, то вишня…

Танки уходили по шоссе вперед.

Глядя на них, Писатель Пе вспомнил вчерашний день, расколовшийся на мине броневичок и товарищей, положенных в грузовик тесно. Прорисовывался в его глазах ликующий город Люблин. И радость победы вдруг показалась ему неумеренной.

Теперь он ехал медленно. Тряс головой. Силился набрать полную грудь воздуха, для чего останавливался. У него было, как он определил сам, «сотрясение мозгов и легких». Именно это обстоятельство позволило ему разглядеть солдата, появившегося из-за куста и как-то неосновательно застегивающего штаны.

— Спадут, — сказал солдату Писатель Пе.

— А-а… Все равно снимать, — ответил солдат белыми губами. Был онсинюшный, с покрасневшими веками и безнадежным взором, какой бываеттолько у людей с сильным расстройством желудка.

— И давно у тебя? — спросил Писатель Пе.

— На третьи сутки пошло.

Тут и выяснилось, что номера своей пехотной части солдат не помнит. Фамилии командира не знает. Оголодал в запасном полку под Харьковом. А в горохе со свининой, которым пополнение накормили от пуза, свинина, мягко говоря, была несвежая.

— Умрешь, — сказал ему Писатель Пе.

— Умру, — согласно кивнул солдат. — Но не сдамся.

Вот и привез Писатель Пе этого героя к нам в роту. Более того, к нам в отделение.

Звали его Павел, или, как он представился, Паша.

Солдатская книжка у Паши была, но с нехорошим запахом. Мы ее выбросили.

У нас был уже упоминавшийся гусеничный транспортер, канадский, — насмешка над военной мыслью. При сильном торможении шел юзом и норовил подлезть под тридцатьчетверку. Да и мелкий он был, как сковородка. Называли мы его Ящик.

С Пашей валандаться нам было некогда. Посовещавшись, мы бросили его на дно ящика, укрыли его шинелями и — вперед.

Но этот тип высунул голову из-под шинелей и заявил, что ему надо сливухи попить. «Сливуха меня наладит, — сказал он нам доверительно. — Сливуха — проверено. Нету для этого дела ничего лучше». Мы затолкали его под шинели и набросились на Писателя Пе. Обрисовали ему в скорбных выражениях ситуацию — мол, не хватало нам в машине чужого поносника, так он еще и, нате вам, алкоголик: «Сливуха» его поправит, а почему, спрашивается, не «Запеканка», не «Зубровка», не «Спотыкач»?

Паша пролежал на дне нашего ящика, «гробом» творение канадского гения мы все же остерегались называть, до вечера — может быть, и ночь — проспал бы, но мы затеяли картошку варить с тушенкой, у нас для этой цели была медная румынская кастрюля.

И вот тут, когда Егор снял кастрюлю с огня, из призрачного пространства вселенной появился Паша с котелком в руках.

— Сливуха, — бормотал он. — Сливуха…

Егор сначала не понял, даже топнул на Пашу ногой, но тот бесстрашно и деловито отобрал у Егора пилотки, ведь именно пилотками нужно брать медную румынскую кастрюлю, чтобы слить воду с картошки. Паша слил эту воду в свой котелок и, обжигаясь, принялся ее пить.

— Теперь пройдет, — сказал он. — Когда вы ночью за языком пойдете, я уже буду здоровый. Я с вами, я отчаянный…

Ночью мы за языком не пошли, мы вообще не часто за языком ходили — ночью мы слетели с откоса. Транспортер наш перевернулся, вывалил нас и на широком лугу снова стал на гусеницы. Нас помяло, а Буке Спиридону раздавило канистрой грудную клетку. Высоты бортов не хватило для Спиридоновой груди и для канистры.

Мы расстегнули ему гимнастерку и рубашку. И при свете фонарей увидели, как расползается у него на груди от сердца фиолетовое пятно. Когда у Спиридона из уголков рта потекла кровь, мы сняли пилотки.

Только что дождик прошел, оттого мы и соскользнули с асфальта. И задача у нас была пустяковая — проверить данные агентурной разведки о скоплении немцев на шоссе южнее Демблина.

Буку Спиридона мы знали мало, он недавно пришел к нам с пополнением из госпиталя, но воевал умело. Что значит умело? За ним не нужно было приглядывать.

Кто тогда плакал? Водитель. Он от досады плакал, что такая машина хреновая. Он потом погибнет как дурак — примется ковырять найденный в березовом колке фауст. Не саму гранату — гранату он снимет, — но трубку-патрон. Ему выжжет лицо.

И плакал Паша.

Тогда мы его и решили оставить — и кто знает, было ли это решение для него

лучшим.

Рассказ о Паше и его любви, наверно, возьмет на себя лишку в каком-то общем равновесии повествования. Но так ли это важно?

Сейчас Писатель Пе и его товарищи вдруг заговорили о форме. Некоторые из них даже знают, что это такое. Они якобы даже могут определить на глаз формообразующее действие и формообразующее членение.

Но если даже не принимать их хвастовство во внимание и считать за форму некий баланс самодовлеющих равновесий, даже некий их агломерат, симметрично или асимметрично скомкованный, то и тогда наши рассуждения будут приемлемы для систем очерченных — для формы парков, но не для формы леса.

Цыпленок, разрушающий идеальную форму — скорлупу яйца изнутри, являет нам свое чудо: он тоже форма и тоже идеальная. Но это слабее леса. И как, по сути, смешно звучат выражения — лес мачт или лес столбов.

От леса столбов легко перейти к трансцендентной мудрости Махаяны Сутры с ее доктриной о «пустоте формы», о нереальности всех феноменов и ноуменов — все пустота; перцепция и концепция, название и знание — все пустота; что пустота, то форма, что форма, то пустота. Главное — уничтожить призрак сознания.

Так что уж лучше пускай берет на себя Паша лишний пригорок или болотце. Правда, лес мой очищен, поскольку я исключил из него описание боев и походов за языком, таких описаний в советской литературе много, особенно «за языком», среди них есть и хорошие.

И тем не менее лес мой хоть и мал, но все же лес.

Пашу зачислили к нам, и он вскоре прославился.

Канадская машина утонула — сорвалась с моста и плашмя, как сковородка, шлепнулась в реку.

Нам дали новую машину — американскую «М-3-А-1». Тройку мы приняли за букву «З», и транспортер свой называли «МЗА» — слово странное, но нам нравилось. Нам в машине все нравилось. Броня, двигатель «Геркулес», крепкие пневматические колеса — не гусматик, значит, у машины легкий ход. Пулеметы! Они катались по рельсовой балке легко и бесшумно — два браунинга, крупнокалиберный и простой. Красивые, черные. Не вороненые, а черные, матовые. И металлические ленты. Патрон, собственно, играл в ленте роль

скрепляющего звенья штифта. Это нам нравилось. Нам нравились длинные латунные молнии на брезентовых подушках кресел водителя и командира. Остальная команда сидела на двух рундуках. А в рундуках-то что было! В брезентовых, на молнии, мешках — американский неприкосновенный запас с пастеризованным пивом — запас этот съели еще где-то в Мурманске, — но легенда! Важна легенда. В рундуках еще были складные консоли и брезентовый тент от дождя.

С бронетранспортером прибыл к нам Толя Сивашкин, младший сержант. Представился нам как командир машины. Мы долго и громко обсуждали, нужен ли нам таковой и что он будет делать в бою. И решили, что нельзя обижать ученого человека, тем более младшего сержанта, а нужно его проверить.

— Пойдешь языка брать, — сказали мы ему. — Приведешь одного или двух к утру. Командир роты очень любит утром языков допрашивать на опохмелку. Он у нас пьющий.

Этот Сивашкин Толя пошел бы. Убей меня Бог — пошел бы этот Сивашкин Толя с печальными голубыми глазами и голубизной вокруг глаз. Он даже спросил: «Куда?» Его отрезвил Паша Сливуха, объяснив, что фронт отсюда километров за триста. А нам сказал с укоризной:

— Нельзя так разыгрывать человека. Нехорошо…

— А как можно? Ты покажи ему свою рану. Объясни, почему тебе немец в это место попал.

Паша был ранен в ягодицу. Но он не смутился. Ответил:

— А не надо высовывать. Что высунешь, в то и получишь.

Прибыли мы в это местечко в Западной Белоруссии из-под Варшавы, где нас причесали волосок к волоску, на прямой пробор. Немец выставил против нашей армии, поиздержавшейся в Румынии, дошедшей своим ходом от южной границы Польши до Варшавы, две свежеукомплектованные дивизии.

Теперь мы получали новые танки и пополнение. Вот машину получили американскую и Толю Сивашкина.

Стояли мы тогда в каком-то захудалом поместье, огороженном кирпичной стеной из красно-оранжевого кирпича. Лесок веселый к стене вплотную. А настроение наше плохое. Чего же может быть хорошего, когда из-под Варшавы армия ушла без танков. А людей?! Про людей как-то в танковых армиях не говорят — на машины считают, на экипажи.

Толя Сивашкин с нами в дом не пошел — вероятно, побаивался нашего юмора. Был он в новеньком обмундировании, в новеньких погонах, даже в сапогах кирзовых, что нас больше всего насторожило. В сапогах, по нашим понятиям, только писаря ходят, кладовщики да ординарцы, у которых командиры в чине не ниже полковника. А боевой солдат, он в обмотках и говнодавах. Студентку Марию прошу простить меня за грубое выражение, которое, впрочем, мы произносили отнюдь не для унижения нашей солдатской обуви, но, напротив, для ее возвеличивания. Поскольку с некоторых пор говном считали Адольфа Гитлера.

Паша остался с Толей. Мы ему сказали: «Вот и хорошо. Наряд выставлять не надо. Доверяем вам военную технику и все такое, что в ней теперь лежит». А лежал в ней копченый окорок, котомка с луком, полмешка сахару и мешок картошки.

Поначалу в доме была какая-то суматоха, крики, чуть ли не драка. Когда солдаты выходят из боя почти в чем мать родила, они еще долго нервничают.

Потом утихло все. Уснули все. И вот тут заработал наш крупнокалиберный пулемет. Мы даже сначала и не поняли, что это наш, мы его голоса еще не слышали. Но сообразили быстро. Побежали к машине.

Хотя и пламегаситель на пулемете, но все равно мерцающий свет — как розовый луч. И тут же второй звук, словно близкое эхо, как будто в ответ кто-то стреляет.

Мы мимо машины в направлении стрельбы — и тут же башкой в кирпичную стену. А пули визжат, рикошетят, и осколки кирпича и кирпичная пыль покрывают нас.

Мы в машину. У пулемета — раззудись плечо — герой Паша Сливуха. Толя Сивашкин за его спиной тоже в героическом настроении.

— Стой! — кричим. — Прекрати.

И долго в ушах тройной звук. Не двойной, как показалось сразу, — тройной. Осветили Пашу фонарем, он весь в кирпичной пыли. Рожа дикая, иссеченная

осколками кирпича. Кровь течет струйками, и он ее размазывает по щекам.

— Ползут, — прохрипел.

За стеной послышался шорох.

— Слышишь, опять ползут. На команду «Встать! Руки вверх!» не реагируют. Стой! — заорал Паша. — Стрелять буду.

Мы схватили фонарь и с фонарем бросились в ворота, обогнули стену, а под стеной наш помпотех, старший лейтенант, с подругой из банно-прачечного отряда. От страха у них из головы вынесло то обстоятельство, что от пулемета они стеной отгорожены, небось уползли бы — удрали. А тут, кто знает, может быть они и руки вверх поднимали, но Паша сквозь кирпичную стену этого не разглядел.

— Погасите фонарь! — закричал помпотех. — Я вам приказываю.

Паша в машине, не разобрав команды, снова принялся ломать пулеметом стену. Мы на землю бросились, показалось нам, что пули над головой свистят. А грохот с этой стороны стены отвратительный, как у пневматического молотка большой мощности, и еще визг от рикошетящих пуль. А барышня из банно-прачечного отряда в обмороке. И ее сапожки стоят аккуратненько у березы. А помпотех орет:

— Погасите свет! Кому говорю?!

Но мы не гасим. Нам нужно барышню привести в чувство — может, она при смерти. Мы ее несем в дом — может, у нее сердце разорвалось. И сапожки ее несем. Помпотех всем врал нагло и самодовольно, что медсестра Тоня-красавица бегает за ним как собачка. Когда он свистнет — тогда и бежит. Куда ни позовет, туда и идет — хоть в болото. А барышня из банно-прачечного отряда достаточно некрасивая и весьма немолодая — может, чуть младше помпотеховской мамы.

— Я его убью! — грозил помпотех. — Если бы он так воевал.

Мы ему возражали.

— Воевал он хорошо и, надеемся, не подведет. Паша — парень железный, хоть и кажется деревянным.

Но убил Пашу все-таки помпотех. Не сам, конечно, а его помпотеховское вонючее служебное рвение.

Утром Паша и Толя Сивашкин мыли машину, она была как покрашена, так покрыта кирпичной пылью. А в стене зияла дыра — все же Паша пробил ее насквозь. И мы тогда совсем не зря упали на землю.

Сейчас, мне думается, что я так охотно пишу о Паше, потому что был он чем-то похож на моего старшего брата. Он был смешной и костисто-нескладный. Но он никогда не рассматривал предмет сзади, не рассмотрев его сначала как следует спереди, в лицо, так сказать. Тогда эта мысль о сходстве Паши с моим братом показалась бы мне кощунственной, но все же и тогда я ловил себя на каком-то необъяснимом теплом чувстве к нему. И хотя все над Пашей подтрунивали, вскоре он стал необходим всем нам, как некая точка опоры, а может быть, как глас Божий.

Влюбился он в эту Ульхен-Эльзе, ну, как последний дурак. Впрочем, мы все тайно ему завидовали, не допуская даже мысли, что эта любовь приведет к чему-нибудь путному. Но, может быть, это была не зависть, может быть, греза.

Озеро начиналось прямо у асфальтовой дороги, переходящей в улицу. В окнах первого этажа висели фарфоровые медальоны. Паша поглазел на эти медальоны, на них были головки женщин в шляпках и кружевах. Поговаривали, что в этом доме тайный публичный дом. «Вряд ли, — подумал Паша, — комендатура давно бы это ихнее дело накрыла». Паша покатил по выцветшему от жары асфальту. Торцы домов, с которых начинался город, заросли плющом густо. В озере ребятишки купаются — пищат, визжат, брызгаются. Паша ездил на мотоцикле за клеем для стенгазеты.

Мы с Писателем Пе еще играли в футбол, в роте не бывали, о Пашиных шашнях узнали последними, когда футбольная катастрофа ввергла нас в охоту на молодую лань.

Пашины плечи даже под гимнастеркой так раскалились, казалось, вот-вот вздуются пузырями.

Паша закатил мотоцикл на пляж. Решительно гимнастерку снял. И майку снял. Войне конец — ребятишки на пляже все загорелые, орут по-немецки, а Паша их понимает. Он в своей деревне отличником был и сейчас пожинал плоды.

Ребятишки на Пашу никакого внимания — вот мотоцикл расковырять — пожалуйста. Паша отогнал мальчишек от мотоцикла. И улыбнулся сконфуженно девушке, сидевшей неподалеку на махровом широком полотенце в синюю и белую полосу.

— Цербрюхен, — сказал он. — Как пить дать.

Девушка не ответила на его улыбку, даже чуть носом дернула. «Ну и ладно, — подумал Паша. — Чего она мне улыбаться будет?» Он снял ботинки, штаны-галифе и, подвернув широкие солдатские сатиновые трусы, сделал стойку на руках. Ему хотелось в воду, но он себя сдерживал, нужно еще как следует прокалиться, чтобы прохладная вода стала от перекала еще прохладнее, чтобы захотелось кричать: «Ух ты! О-го-го!»

Мальчишки тоже принялись делать стойки. Они тыкались головами в песок, не удерживая тело слабыми руками. Но им было весело. Они хохотали.

Паша заметил, как девушка глянула на него исподлобья, встала и пошла к воде. На вид ей было лет семнадцать. У девушки шапочка резиновая голубая и резиновые тапочки голубые.

Она упала в воду, чуть подпрыгнув, и красивым кролем прошла первые метры, потом поплыла брассом. Ее приныривающая голубая голова затерялась в оголтелой мешанине купающихся ребят.

Постояв еще немного, Паша тоже побежал в воду, шумно упал в нее и шумно поплыл. Как все деревенские, не обученные кролю, любил он, купаясь, ощущать веселье и шум воды, иногда он даже позволял себе крикнуть — «Ух ты!» — что, конечно, не свидетельствовало в его пользу.

Проплыв до середины озера, он повернул обратно и чуть не врезался лбом в плотик. Плотик стоял на якоре, по-видимому, для того, чтобы пловцы могли отдохнуть. Паша уцепился за край и вымахнул на него, отметив, что черные сатиновые трусы облепляют его ноги почти до колен. Паша, приплясывая, пустился трусы подворачивать, чтобы они выглядели спортивнее, — на плотике сидела та самая девушка в белом купальнике, голубой шапочке и голубых резиновых туфлях.

Паша не отличался развязностью, но тут ему показалось вдруг, что девушку эту он знает с детства, что они вместе учились и между ними самые лучшие дружеские отношения, просто она рассердилась на него за какую-то его глупую выходку; он сел рядом с ней, взял ее руку и крепко пожал.

— Ентшульдиген, — сказал.

Девушка отодвинулась от него, но не прыгнула в воду, а как-то жалко, по-ребячьи, сползла и поплыла на спине, торопливо загребая воду и глядя на Пашу растерянно и жалобно. Потом она повернулась и поплыла кролем. Паша

полюбовался немного ее ходом и поплыл вслед саженками.

На берегу Паша глянул на свой мотоцикл и обомлел. На мотоцикле, широко расставив ноги, с сигаретой во рту сидел начальник строевой части, майор Рубцов.

Девушка держала свое бело-голубое полотенце возле лица, прикусив уголок зубами. Она смотрела то на майора, то на Пашу, что-то там соображая в своей замилитаризованной голове.

— Здравия желаю, товарищ майор. Рядовой Перевесов. Возвращаюсь из командировки в город за клеем.

— Как я понимаю, ты не возвращаешься, Перевесов, а прохлаждаешься. И как тебе?

— Так жарко же, товарищ майор. Сил нет. Выкупайтесь тоже. Вода что надо.

Майор расстегнул пуговицу на гимнастерке, покосился на девушку, а она, скомкав полотенце, вдруг шагнула к Паше и спряталась за его спину. Майор гимнастерку застегнул.

— Нет, — сказал он. — Не могу позориться перед населением, купаясь в таких дурацких трусах. И ты бы, рядовой Перевесов, не позорился.

Девушка вдруг засмеялась за Пашиной спиной, а когда он к ней обернулся, вытерла ему лицо полотенцем.

— Рядовой Перевесов! — крикнул майор. Но, поняв, что крик его в данной ситуации неуместен и политически вреден, сказал растерянно: — Перевесов, сейчас же оденься. Не стой голяком перед новой немецкой молодежью. Черт бы тебя побрал… Короче, я беру мотоцикл, а ты пешком пойдешь. И немедленно.

Паша достал из кармана часы, показал их девушке.

— Морген. Цвай ур. — И топнул пяткой, мол, здесь, на этом месте.

Девушка ничего не ответила. Сняла резиновую шапочку, тряхнула стрижеными светлыми волосами.

— Перевесов, — сказал майор. — Ты посмотри на нее. Она же дите. Мне баб не жаль — подстрекатели и психопатки. Но от детей — руки прочь!

— Вы правы, товарищ майор. — Паша подошел к девушке, пожал ей руку. Сказал: — Ауф видерзеен, комрад фройлен. — Залез в галифе, ботинки. — Морген. Цвай ур. — И пошел в сторону части, на ходу надевая гимнастерку.

Майор догнал его на мотоцикле, притормозил и спросил:

— Думаешь, придет?

— Не знаю. Хорошая девушка.

— Перевесов, ты понимаешь, о чем я? Может, мне тебя на губу упечь, на пятнадцать суток?.. Смотри, Перевесов, влюбишься — отчислю в спецподразделение. — Майор нажал на газ и с таким треском рванул к части, что Паша должен был бы почувствовать свою полную беззащитность перед уставом, порядком и еще чем-то таинственным и неумолимым.

На следующий день Паша пришел к старшине Зотову за увольнительной.

— Не дам, — сказал старшина. — Меня уже майор Рубцов вызывал… Думаешь, она придет?

— Придет, — сказал Паша. — Я не думаю. Я сердцем чувствую. Сердце мне говорит.

— У тебя сердце, а у меня майор, — сказал старшина. — Правда, он оговорку сделал, сказал, если очень уж просить будет — дай… На. — Старшина вынул из стола уже заготовленную увольнительную. — Деньги есть?

— А зачем? — спросил Паша.

— Там на штрассе немцы что-то вроде кафе открыли. Ликер продают мятный. Зеленый, как болотная херня. Кофе свекольный — тоже херня. И пирожные вот — с ноготь. Подворотничок пришей чистый.

— Есть у меня в мешке деньги, — сказал Паша. — Каждый месяц давали…

— И чтобы в лучшем виде! — сказал старшина, повысив голос. — Без рук! Если патруль спросит, куда увольнительная, скажешь — отпуск за отличную службу… А может, за клеем?

— За клеем я вчера ездил.

Сейчас те приятели, что помладше, говорят Писателю Пе, задетые за живое его свободным характером и независимым способом жить, — мол, ты старше нас на войну. Но эта фраза по сути своей лишь фигура для украшения речи над гробом

усопшего. А на самом деле каждый солдат на войну моложе, потому что недолюбил, и, если он понимает это и если он не глуп, он умрет молодым. Посмотрите на тех, кто прибавил войну к своему возрасту — они быстро состарились, превратив свою жизнь в служение прошлому и ничего не ожидая от будущего, кроме признания в непомерной прогрессии их заслуг перед Родиной, считая уже само собой пребывание в армии актом беспримерного подвига.

Красивая бесподобная студентка милая Мария передернет плечами: мол, все это липа и яблоневый цвет — на войне барышень волокут в кусты, а не купаются с ними в светлых струях теплого озера. Студентка Мария знает. Она все знает. Знает, что и любви, как таковой, нет, есть только желание барыша.

В небе над теплой землей шла своя непредсказуемая деятельность. Туча, брюхатая и одинокая, наползала на озеро.

Паша глядел на нее без злости: дождь — явление преходящее, он же, Паша, шел к вечному.

Когда Паша вбежал на пляж, там было пустынно. Лишь одна фигурка боролась с ветром. Она была в синем платье с белыми пуговицами и белым воротником. В белых туфлях на низком каблуке и с зонтиком. Зонт был широкий мужской, даже стариковский. Наверно, она схватила его впопыхах.

Они стояли друг против друга и как бы боялись один другого, и как бы один у другого просили прощения, и оба чувствовали одну и ту же боль в переносице. Ветер толкнул их друг к другу. Она протянула Паше зонт, предлагая укрыться под зонтом от дождя и как бы отдавая себя тем самым в объятия Паши, поскольку под зонтом, не прижавшись друг к другу, укрыться от дождя невозможно.

Паша взял зонт, но встать к девчонке близко не смог. Тогда он воткнул зонт ручкой в песок глубоко, чтобы ветер не вырвал. Прокопал каблуком вокруг зонта канавку и стащил гимнастерку.

— «Анна унд Марта баден!» — заорал он запомнившуюся на всю жизнь фразу из учебника немецкого языка. Быстро раздевшись, он запихал под зонт всю одежду.

И девушка, вдруг поняв, что их спасение в озере, сбросила платье, туфли. Надела резиновую шапочку, но тут же и ее сбросила. Паша сложил все под зонт.

Стихия низринулась на них. И они с криком спрятались от нее в воде.

Когда они подплыли к плоту, дождь уже перестал. Они вылезли на плот и упали на мокрые теплые доски, уже начавшие куриться паром. На них снизошла та минута, которая отключает от сердца все заботы бытия, которая растягивается в щемящую бесконечность, которая впоследствии будет освещать долгое одиночество памятью соприкосновения со счастьем.

Солнце вышло из похудевшей тучи.

Паша ткнул себя в грудь и сказал:

— Паша. — Взял девушкину руку и поцеловал.

— Эльзе, — девушка сползла с плота в воду и обрызгала Пашу, и поплыла, засмеявшись.

Паша тут же поплыл вслед за ней.

На пляже уже появились ребятишки. Они возились в мокром песке, строили неприступные крепости и замки, шпили которых обваливались, подсыхая на солнце.

Паша чуть было не опоздал на свидание — он разведывал путь в кафе.

Немцы, сидевшие за чашкой свекольного кофе, смотрели на Пашу и Эльзе неодобрительно. Паша спиной ощущал их взгляды, как падающие за ворот ледяные капли. Ему казалось, что Эльзе сейчас не выдержит и заплачет. Она, собственно, ребенок. Какое у нее мужество?

Паша посадил ее за столик, подошел к стойке, вынул из кармана пачку марок и попросил цвай кофе и фюр аллес кекс. Получилось немного. Он поставил тарелку перед девушкой и поцеловал ее в маковку, как целуют сестренок.

Немцы, казалось, перестали дышать. Но когда он это проделал в полном соответствии с болью своей стесненной души, они, не увидав в его поведении фальши, улыбнулись. В их улыбках не было одобрения, но уже была задумчивость.

Из-за стола в углу поднялся однорукий инвалид, подошел к Паше, в руке у него была рюмка зеленого ликера.

— Жизнь идет, — сказал он.

Паша встал, они чокнулись — Паша свекольным кофе — и выпили стоя.

В этот момент, как в театре, отворилась дверь — вошел патруль. Старший

лейтенант и два автоматчика. Офицер подошел к Паше, спросил увольнительную. Паша подал.

— Вам увольнительную дали не для того, чтобы вы сидели в пивной.

— Мы кофе пьем, — ответил Паша.

Старший лейтенант посмотрел на испуганную Эльзе равнодушным усталым взглядом, даже не посмотрел, а как бы размазал ее.

— Доложите своему командиру, что я наложил на вас трое суток ареста.

— Слушаюсь, — сказал Паша.

Однорукий инвалид придвинулся к офицеру боком, как птица.

— Нехорошо, — сказал он. — Война нет. Жизнь! Цветы…

Старший лейтенант похлопал инвалида по плечу.

— Все правильно, — сказал он по-немецки. — Мы еще просто не знаем, как нужно вести себя в такой ситуации.

«Ну чего тут знать? — подумал Паша. — Ну чего тут знать?» — Ему стало весело.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите допить кофе и проводить девушку до дому?

Старший лейтенант задумался. Автоматчики смотрели на него с нескрываемым интересом.

— Разрешаю, — наконец сказал он.

Паша щелкнул каблуками, чего сам от себя никак не ждал, сел и принялся небольшими глотками интеллигентно пить кофе, глядя на Эльзе и улыбаясь.

Про интеллигентность я с его слов пишу, хотя Паша это мог, была у него какая-то сдержанность в движениях и в выражении чувств.

В глазах у старшего лейтенанта и автоматчиков появилась тоска. Когда они выходили, лица их были суровы и слепы.

Это все, что Паша рассказал нам о девушке Эльзе. Больше он не рассказал ничего. Но начал он пропадать.

Тут и случилась наша охота.

Мертвый Егор лежал, улыбался. Он был охотник, мечтал об охоте, и на охоте умер. Косуля даже не убежала. Она смотрела на нас с холма, наклонив голову. Видимо, до сих пор бог оберегал ее для каких-то своих интриг.

И мы не знали, что наше положение было усугублено тем, что буквально за день до злополучной охоты Паша подал командиру роты рапорт: «Прошу полагать меня женатым…» Формулировку ему, матерясь и размахивая кулаками, подсказал старшина Зотов.

Когда Паша умер, мы с Писателем Пе уже больше месяца числились в музвзводе. Писатель Пе бухал на барабане, я пумкал на теноре — «эс-та-та… эс-та-та… па-па…»

После тихих похорон Егора нам совсем тоскливо стало в разведроте. Демобилизовались старики, пришла молодежь, которая, как мундирчик, надела на себя славу нашего подразделения и чувствовала себя в нем ловко, как в своем. Нам, увы, этот мундирчик жал.

И вот лежим мы с Писателем Пе на стадионе. Где военные остановились, там сразу: стадион, сортир и кухня. Мимо нас идет какой-то бледный, высокий незнакомый старшина.

— Это капельмейстер. Врубайся, — прошептал мне Писатель Пе и громко так: — Не знаю, не знаю. Симфонизм тебе не горох. Тебе бы только пальцы. Ты не прав. Я виртуозности не отрицаю, но тема и звучание должны развиваться вширь.

— А я чихал, — говорю я наобум. — Я полагаю музыку в себе. Она во мне всегда. Лишь смена ритмов. Я виртуоз…

И как это ловко у меня получилось. Незнакомый старшина остановился, как будто влетел лицом в паутину. Помахал руками перед носом, повернулся и говорит нам:

— Вы музыканты?

— А вы гуляйте, — отвечаем. — Мало ли кем мы были — может, даже кондитерами. Ауф вам видерзеен с большим приветом.

— Нет, — говорит. — Я серьезно. Я командир музвзвода.

Мы в смех — мол, не слышали о таком.

— Нет, — говорит. — Я не шучу. Теперь в подразделении есть музвзвод и я занимаюсь его доукомплектацией. Ищу музыкантов. Вы музыканты. Я слышал

ваш разговор. Ваши фамилии.

Мы неохотно сообщаем. Ломаемся; мол, мы только еще учились в музучилище и школе при консерватории. Мол, где нам…

Но он уже пошел. Высокий и сухой. Он был репатриант, и музыкантов набрал из репатриированных ребят, преимущественно из западных областей. Ему с ними было легче чувствовать себя командиром. И кой черт внушил ему поверить нам. Но именно с этого момента началась его реальная жизнь, полная тревоги, забот и даже музыки — он был отличный трубач.

На следующий день нас вызвали к начальнику строевой части, майору Рубцову.

— Старшина-капельмейстер попросил перевести вас в музвзвод, — сказал майор. — Я не спрашиваю, как вы ему мозги закрутили. Я перевел. Но указал ему, чтобы ваших фамилий я от него больше не слышал. Я ему, конечно, дал понять, кто вы такие есть на самом деле, но он не понял. Пускай пеняет на себя.

— Пускай пеняет, — согласились мы с майором. — Он глупый.

— А вот ваш Перевесов!.. Штучка! — Майор положил перед нами рапорт Паши Сливухи: «Прошу полагать меня женатым…» — Ему я тоже намекал…

— Перевесова на губу! — закричали мы. — Или в тыл. В Сибирь! — Мы были совершенно искренне возмущены желанием Паши жениться на немке Ульхен. Умом мы понимаем, что такая житейская ситуация возможна. Но куда он ее повезет? К себе в деревню под соломенную крышу? В колхозе даже картошки не вдоволь. Или, скажем, в Ленинград в общагу, если ему удастся устроиться учеником-токарем или слесарем на какой-нибудь завод? Ну, а чтобы остаться здесь в Германии, у нее, наверно, и квартира есть, и работа Паше нашлась бы, — такое нам и в голову не приходило, о таком и язык-то повернуться не мог.

— Может, она беременная? — спросил майор.

— Не знаем, — сказали мы удрученно и тут же развеселились: — У нашего Паши дите будет — Адольф Павлович.

— Он же ваш друг, — урезонил нас майор. — Идите. Играйте музыку. — В интонациях его голоса мы уловили презрение к нам и сочувствие к Паше.

Старшина нашей роты уже получил предписание о нашем переводе в музвзвод.

— Очень рад с вами расстаться, — сказал он.

— Старшина, почему ты нас так не любишь?

— Нет, я люблю вас и так сильно люблю, что боюсь загреметь вместе с вами когда-нибудь под трибунал.

Мы обиделись. Мы были честные советские воины. Без склонности к воровству, мародерству, насилию и спекуляции — просто нам было скучно. Спидометр, запущенный в нас наступлением и победой, работал, но отсчитывал он уже не мили, а миллиметры. Ну не нравился нам наш бег на месте, и накапливающаяся в нас нервозность могла, конечно, толкнуть нас на поступки в высшей степени безрассудные.

— Я бы вас демобилизовал в первую очередь — как контуженых, — сказал старшина.

Мы поклали вещи в мешок, долго вертели в руках старую краснощекую хромку. Вместе с Толей Сивашкиным ушла гармонь, аккордеон «Хонер», старушка хромка осталась при нас.

— Взять хотите? — спросил старшина. — Берите. В музвзводе ей и место. А тут без вас писарь ее узаконит. Он себя демобилизует по состоянию здоровья, харя.

Старшина писаря не любил. Да и никто его не жаловал, кроме командира роты. Командир до самого конца войны и еще немного после надеялся на писарев литературный дар — очень ему хотелось называться Героем Советского Союза. А у самого писаря, мы знали, в мешке лежало штук восемь медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги». Он вписывал свою фамилию почти во все представления к наградам.

Так мы и пришли в музвзвод с нашей старенькой хромкой.

Встретили нас более чем почтительно, даже с испугом. Испуг этот вырос в страх, когда мы, бросив гармошку на койку, вынули из-за пазух по парабеллуму и засунули их под матрацы. Чудики-музыканты в необмятых гимнастерочках вымелись из комнаты, как будто и не присутствовали. Мы спрятали парабеллумы обратно за пазуху и принялись приклеивать к стене девушек в купальниках и без купальников, вырезанных из немецких журналов.

Мы полежали немножко, положив ноги в ботинках на спинки коек. Потом взяли хромку и пошли разыскивать среди музыкантов, кто ею владеет. Владел маленький мордастенький тромбонист. Но куда ему было до Толи Сивашкина — семь верст по грязи и все на карачках.

Мордастенький поразвлекал нас музыкой. Мы слушали с каменными лицами. Он

вернул нам гармошку и, как нам показалось, всхлипнул.

Мы направились к капельмейстеру. Мы ему сказали:

— Дарим. Запишите в реестр, чтобы никакая сволочь не сперла. Прославленная в боях хроматическая гармошка. Мы под ее звуки в атаку ходили.

Капельмейстер, поблагодарил вежливо. Спросил, какие инструменты из медных мы предпочитаем. Он понимает, конечно, что мы, пианисты, выше. Но нам не трудно будет освоить медные и почувствовать красоту их звучания.

Мы уставились на него как на слабоумного.

В его комнате стояла узкая койка. На небольшом узком столике лежала сверкающая труба. А на стене висело манто под котик. Оно было в чехле из прозрачной пленки. Мы пощупали в комнате все — и манто тоже — и молча вышли.

Внизу нас ждал Шаляпин. Пришел в гости. И красовался перед музыкантами. В ордене и при двух медалях: «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

— Я бы, — говорит он, — спел бы охотно. Но это же музыкальная шпана — лабухи. Они в вокале не понимают ни черта.

— А ты спой, Федя, — попросили мы. — Для нас. Вокализ.

Шаляпин стал в позу, и домик музыкальный, двухэтажный, розовый затрясся в ознобе.

Музыканты выбежали на лестницу. Кто-то из них хотел что-то сострить, но, различив на наших лицах почтение и трепет, подавился своей дилетантской иронией. А мы с Писателем Пе похлопали в ладоши и провели Шаляпина по всему домику. Даже капельмейстера ему показали. Открыли дверь в его комнату и объяснили:

— Это маэстро!

Капельмейстер пытался запихать котиковую шубку в солдатский мешок.

Ну, потом мы легли спать, великодушно объявив соседям: мол, если кто боится храпа, пускай идет спать на крышу. Окромя храпа, мы ночью кричим и по комнате бегаем, можем даже пальнуть.

Но в итоге не спали мы. Сытые музыканты храпели, сопели, хрюкали, блеяли. А разведчик спит неслышно.

Мы выходили на улицу, сидели у домика на скамеечке. Честно говоря, нам хотелось обратно в роту, но мы боялись, что там мы сорвемся по-крупному. Уснули мы под утро, когда музыканты устали храпеть. Их хождение по комнате нас не раздражало, но когда они стали дудеть в свои дудки, мы, не разлепляя глаз, запустили башмаками в их светлые выспавшиеся хари.

— Обжоры! Тунеядцы! Идите дудеть на улицу, — крикнули мы.

Музыканты вымелись. Нас накрыл благодатный сон. Во сне мы увидели, что мы все живы. И Толя Сивашкин играет на «Ла Паломе».

Опухнуть от сна в армии можно только во время войны — скажем, в окопах. Всем известно: когда спишь — не так хочется есть. В мирное время в армии не поспишь. Для командиров спящий солдат хуже, чем черт для попа. Над нами раздался голос негромкий, но неприятный:

— Встать!

Мы повернулись на другой бок, пробурчав:

— Уймитесь, маэстро…

— Встать! — раздалось громче. Мы узнали голос майора Рубцова.

Мы вскочили. В комнате почти весь музвзвод. И капельмейстер красный, наверно, от гнева. И майор Рубцов играет желваками скул.

— Почему спите в такое время?

— Товарищ майор, они храпят, как скотный двор. Ни дисциплины, ни гигиены. Темные они.

— А это что? — майор показал на стену, обклеенную девушками.

— Наглядное пособие. Готовимся к демобилизации.

Мы были уверены, что майор нам подыгрывает, но тут не хватило у майора выдержки. Он закашлялся и сквозь кашель прорычал:

— Смыть! Привести стену в порядок. Через три минуты быть у командира взвода.

Майор поспешно вышел. Капельмейстер выскочил за ним. Майор тут же вернулся, откинул матрацы на наших койках. Там ничего не было. Майор глянул на капельмейстера. Тот руку поднес ко лбу, но тут же опустил ее и вздохнул. Жителей западных районов мы узнавали по этому неистребимому желанию

перекреститься.

Мы уже были одеты в наши выцветшие, почти белые гимнастерки, ели начальство глазами, готовые чуть что выполнять.

— Я командира взвода предупреждал, что вы негодяи, — сказал майор. — Вы хоть на чем-нибудь можете? Хоть на гитаре?

— Никак нет, — ответили мы. — У нас музыкальный слух недоразвитый.

— Я позабочусь — вам его разовьют, — майор наставил свой крепкий указательный палец капельмейстеру в грудь.

— Будете их учить. Сдерите с них три шкуры. Этого на барабане, — он ткнул пальцем в Писателя Пе. — А этого… — он оглядел комнату в поисках подходящего инструмента, остановил свой орлиный взгляд на геликоне и вдруг, подскочив к нему, запустил руку в раструб.

Мы вытянулись в струну и животы поджали до невозможности.

— Ладно, — сказал он. — Оружие сами сдадите. Вам оружие сейчас опасно иметь. Этого… — он ткнул пальцем в меня, — на чем-нибудь поплоше. На ложках, на сковородках. Какая у вас труба самая захудалая?

Мордастенький тромбонист сунулся:

— Тенор. У тенора совсем не бывает соло. На нем легко.

— А вы! — Майор осмотрел нас бессердечным взором. — Чтобы я о вас больше не слышал. Учитесь. Учение — свет.

Мы крикнули с благодарностью:

— Так точно. Будем стараться.

Когда майор ушел, мы заправили койки, смыли со стены девушек и пошли к капельмейстеру.

Он сидел на кровати. Когда мы вошли — встал.

— Накапал, — сказали мы. Достали из-под его матраца свои парабеллумы и почесались. Почесывание сильно действует на интеллигента. Интеллигент —это враг действия. Интеллигенты вырастают из неудачливых романтиков. Такмы считали. Капельмейстер попятился, схватил со столика свою трубу — изумительно красивую, внутри позолоченную, снаружи матовую, как морозный узор с золотыми опоясочками.

Был он уже не молодой, к сорока. Но поджарый, с горящими глазами.

— Вы верующий? — спросил я.

— А что?

— В концлагере были?

Он пожал плечами, давая тем самым понять, что вопрос наш дурацкий, если он из репатриированных, то не на курорте же он обретался.

— И ничего не боитесь, — сказали мы.

Он кивнул и как-то неуклюже выставил перед собой трубу.

— Ничего. Я свое отбоялся.

— Врешь ты, — Писатель Пе выволок из-под кровати мешок с шубкой под котик. — Ты действительно ничего не боялся, пока не приобрел вот это. Мы не спрашиваем тебя, где ты взял. Но сейчас ты боишься за этот вот хлам.

— Ну и что? — прошептал капельмейстер. — Боюсь…

— И правильно делаешь, — так же шепотом ответил ему Писатель Пе. — Шубка твоя дерьмо. Пошлешь жене или невесте. Но вот труба! Знаешь, я ее сейчас возьму в руки полюбоваться, я такой красивой и не видывал. Я не спрашиваю, где ты ее взял. Я ее случайно из рук выроню. Не нарочно. От ослепления красотой. — Писатель Пе протянул руку к трубе.

Капельмейстер прижал трубу к груди. Он стал совсем бледным, глаза антрацитовые. Красивый антрацит камень. Будь он потверже, можно было бы из него делать брошки.

— Вы… Вы… — шептал капельмейстер. Но «шантажисты» он не сказал. Спросил: — Чего вы хотите?

Мы ответили:

— Вам же майор Рубцов объяснил. Учите нас музыке. Но не усердствуйте.

Мы пошли было. Он нас остановил вдруг.

— Я знаю, у вас товарищ недавно погиб… Ну дали вы над могилой залп всем взводом.

— Всей ротой.

— А если бы музыка… — Капельмейстер поднес к губам трубу и заиграл из «Шехерезады» Римского-Корсакова. Этот его наивный педагогический приемчик мы восприняли с восторгом.

— «Землянку» можешь? — спросили.

— Нет.

— К понедельнику выучи.

Нам бы отрезать наши похабные языки.

Мы учились играть. Иногда даже позабывали, что по роли нам положено было лениться. Даже майор Рубцов смотрел на нас вроде с разочарованием. А нам было интересно. Нам помогали все. Но усерднее всех занимался с нами мордастенький тромбонист. Его звали Ваня.

А Паша Сливуха тем временем боролся за совместное счастье с Ульхен, за свивание русско-немецкого семейного гнезда. Писал рапорты начальству и ходил в самоволки. Любовь сделала его красивым. Скулы у него резко обозначились, и в добрых его глазах, там, внутри, синими сумеречными озерами сгустилась боль.

Однажды домик наш уютный музыкальный ознобил печальный звук трубы. Капельмейстер играл «Землянку». Наверное, сам сделал аранжировку. Мы решили, что таким образом он тонко благодарит нас за усердие в учебе и благородство. Он считал, мы знали это по слухам, что манто под котик мы не похитили у него исключительно из благородства.

Но судьба все расставила по своим местам. Она вытащила из колоды почти позабытую крестовую карту с именем — Помпотех.

Паша Перевесов упросил Ваську Егорова, героического командира машины из второго взвода, взять его в город. Егоров ехал на какое-то всеармейское состязание по выскакиванию из машины, или что-то в этом роде. Может быть,по вскакиванию.

Егоров потом рассказывал: выехали они рано. Небо над головами цвета разведенных чернил, а у горизонта уже светло-розовое. Экипаж спал на рундуках — сидя. Не доезжая шлагбаума, остановились, Паша, соскользнув через задний борт, ушел под машину. Под машиной он повис на коробке скоростей. Он уже не раз проделывал этот трюк.

Часовые у шлагбаума сосчитали людей в машине по головам, и машина пошла. Вдруг передние ее колеса провалились в канаву, не глубокую, но такую крутую, что Вася Егоров слетел с сиденья и треснулся лбом о стекло. Он услышал то ли стон, то ли всхлип. И его шофер услышал. Шофер тут же машину попятил. Выскочили они. Поперек шоссе неглубокая канавка. Как выяснилось, вечером помпотех приказал пробить ее в асфальте, чтобы машины тормозили, где положено, а не подкатывали впритык к шлагбауму. Головой в канаве лежал Паша Перевесов. Еще живой.

«Мы ему гимнастерку расстегнули, — рассказывали Васькины парни. — Небо светлеет, светлеет, а его грудь становится синей. Веришь, прямо чернильной. А он молчит. Смотрит в небо и молчит. Мы ему — „Паша, Паша…“ А он молчит. Ну потом мы встали в кружок, часовые от шлагбаума подошли. Сняли пилотки… Подвеска у этих американских машин очень мягкая. Жиманула. Тонны. А грудь человека что… — сердце…»

Егоровские парни, рассказывая, как бы перед нами оправдывались. А чего им перед нами оправдываться?

Васю Егорова и шофера хотели судить. Но как-то замяли — вся бригада, весь корпус знал о любви Паши Перевесова. Егоров и его шофер показывали, что Паша незаметно под машину шмыгнул, что они не видели.

Хоронили Пашу всей бригадой. С оркестром. Понесли к Егору, на тот бугорок, где скакала косуля. Мы подумали: Эльзе сможет сюда приходить.

Писатель Пе играл на барабане. Я на теноре. Пронесли Пашу до могилы под бетховенский похоронный марш. А когда поставили гроб у раскрытой песчаной земли, капельмейстер вдруг вышел к могиле и на своей золотой трубе заиграл «Землянку».

«Вьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза…» — шептали

солдаты все, как один, вслед за трубой. Труба же плакала, как плакало Пашино сердце, когда он смотрел, раздавленный, в утреннее, розовое над городом Альтштрелец, небо.

В тот день, думая о Паше, а о другом мы не могли думать, я все возвращался к эпизоду с автобаном — замечательным шоссе, соединяющим Берлин с крупнейшими городами Германии.

Нас послал на задание сам командир бригады. Нашему отделению было придано отделение автоматчиков сержанта Исимова. Нам вменялось сделать проход через автобан для пехотного полка. Пехоту ждали, как ждут спасения. Полк с ходу должен был втянуться в уже приготовленный проход и не тратить на штурм автобана время.

Автобан в том месте шел по очень высокой насыпи.

Немцы, естественно, окопались на той стороне шоссе, оставив голые широкие ленты асфальта для нас. Они могли косить пехоту поротно.

Мы подошли к назначенному месту. Поле. За ним высокая насыпь. Мешкать нам было некогда.

— Пошли, — сказал я. — Паша останется тут. Он поведет пехоту.

— Мы не пойдем, — сказал мне Исимов. — Мы так решили. — Исимов, такой коренастый, широкоплечий, все время пофыркивающий через толстую нижнюю губу. — Это дело пехоты — ходить на пулеметы в лоб. Наше дело хитрее.

Конечно, нас могли положить всех. И уже близок был конец войны, и никому нет охоты… Все знали, что пехотный полк через час подойдет и пройдет автобан — им-то деваться некуда. А у нас шанс в кустах постоять и пойти с полком, причем не в первых рядах, припоздниться.

И Егор мой сказал:

— Может, действительно…

Я промолчал. Послал Писателя Пе вперед и пошел по тропе за ним к автобану. Если что, я бы его своей спиной заслонил, он смог бы упасть и, может быть, уползти. Я шел, чувствуя свою спину голой. И к голой спине моей подносят уголья. Вот они — жгут…

Но тут я услышал позади себя сопение.

— Это я, — просто сказал Паша. И его спина заслонила мою спину.

Тут же его заслонил Егор, Шаляпин и Толик Сивашкин. Под насыпью автобана мы остановились. Отделение автоматчиков было с нами — кроме сержанта Исимова.

— Он поведет пехоту, — сказали мне.

Разговаривать было некогда. Мы взобрались по насыпи, доползли до разделительной полосы и так рванули вперед, что немец опомнился, когда мы были уже у него на спине. И тогда я дурака Пашу спас. Он так долго тряс немца-пулеметчика за грудь и втолковывал ему что-то про жизнь, что тот, разозлившись, врезал ему коленом. Он бы добил Пашу, но я подоспел вовремя.

Полк вошел в проход неслышно. Мы увидели только, что нам помогают какие-то славяне с мешками. Мы, конечно, мешков не носили. Потом они покатили волна за волной. Кто-то сказал нам: «Спасибо, танкисты».

А мы держали Пашу под мышки — немец ему врезал сильно, но все же слабо. Нужно было так врезать, чтобы он о любви года два не мог бы и подумать. А то размечтался!

На следующий день ко мне подошли автоматчики, сообщили грустно, что Исимова увезли в медсанбат с сотрясением мозга. «Упал. Ударился темечком. Повезло — мог бы насмерть».

— Да, — сказал я, прикидываясь умным. — Жизнь такая, не угадаешь.

— Вот именно, — сказали они.

Труба трубила над Пашей. И плакали все. Кто открыто, кто про себя. Милая студентка Мария, тот не плачет, у кого сердце иссохло, а иссыхает оно единственно от амбиций — от высокого полета вокруг себя.

Трубила труба не только над Пашей, но по всему нашему геройскому отделению трубила она. И мы, кому еще предстояло помереть, стояли, снявши пилотки. Нам всем хотелось, чтобы здесь, над могилами Егора и Паши, возвысился обелиск, и Эльзе, конечно приходила бы в этот каменный эстетический уголок с цветами. Под конец войны мы стали эстетами, мы даже матерились уже не так часто. Но часто произносили слова красивые или глубокомысленные — «интеллигентность», например.

Ну не в деревню же Пашину, не в кривую, сквозную для ветра избу, пропахшую дымом, и голодом, и многолетним сиротством, европейскую невесту тащить.

Война-война, что ты наделала с нашими душами — ТЫ и среднее образование. Душа уже не помещалась там, куда возвращалась. Не хотела. Душа начинала пить горькую от унылости и отсутствия хотя бы надежды. Душа что-то чувствовала. Наверно, чувствовала себя обманутой. Потому и возводились обелиски, и статуи, и каменные аллеи — понятная и необременительная духовность, потому и штамповались медали, как разменная монета для совести.

Сколько я видел этих мертвых садов нашей памяти: обелиски и статуи! Обелиски и статуи! Какой большой солдатский погост наша родная земля.

Они летели в свой последний бой, чтобы жить, чтобы жизнь цвела. Но… Простенькая арифметика — поставить памятник в сквере дешевле, чем построить школу, детский сад или родильный дом; служение смерти организованнее и речистее; у памятника погибшему воину даже захудалый начальник выглядит величественно, он у памятника абсолютен.

Писатель Пе все бегает по собраниям. Прибежит и тяжело дышит. Сядет в кресло и грызет колено вставными зубами.

— Собирают деньги на памятник.

— Кому?

— Жертвам сталинского режима. Это очень интеллигентно — собирать деньги на памятник собственной трусости.

Интеллигенцию Писатель Пе недолюбливает, считает ее явлением чисто российским, более того — рудиментом, наподобие аппендикса мешающим общему движению духа и разума, поскольку дух и разум он полагает как действие, а интеллигентность как некое запоздалое кряканье и разговоры по поводу.

— Интеллигенция не приемлет пророка, — говорит он. — Пророк всегда безнравствен. Глаза пророка обращены в будущее, пусть даже в недостижимое. Глаза интеллигенции — лишь в прошлое. А что такое нравственность? Производная от потребности. Мы имеем дело с нравственностью пайкового социализма, так и получайте ее упакованной в зависимости от вашего потребительского статута. Вот когда мы снова ощутим в себе жажду полагать нравственность как производное от понятия ДЕВА, тогда мы снова обретем РАЙ. Рай возможен только в любви. На экономику это понятие не распространяется.

Я Писателю Пе в таких случаях не отвечаю. Еще назовет свинячьим корытом.

Я подумал о памятнике жертвам. Образ его мне неясен. Зато очень хорошо прорисовывается образ Сталина. По всей стране лежат его жертвы. На всех уровнях. От самой маленькой деревушки до Красной площади.

Плюс могилы солдатские.

Плюс памятники торговцам, мошенникам, спекулянтам.

— Протолкнемся ли мы к нашему будущему здоровью между памятниками наших побед? Студентка милая Мария, кандидатка в кандидаты, что вы на это скажете? Что скажете вы, возжелавшие золотого тельца?

— А пошли вы куда подальше, — ответила мне студентка Мария угрюмым голосом, надтреснутым и сухим — прокуренным голосом, кофейным голосом, голосом галереи Гостиного двора.

— Но каждый памятник жертвам сталинизма — это памятник Сталину.

— Я сказала: идите куда подальше. Я уже не студентка и я уже не Мария. У всякой Марии есть счастливая возможность стать Мессалиной.

— Но над вашей жизнью будет стоять фигура с трубкой в руке. С низким лбом…

— Над нашей жизнью много стоит фигур. В том числе ваши.

— А не лучше ли посадить дубовую рощу? Раньше дуб называли — древо. Древо познания. И может быть, яблоком, которое надкусила Ева, был желудь.

— Может, — сказала Мария.

— Может быть…

— Может, — сказала Мария.

У Писателя Пе спросили на каком-то очередном собрании книголюбов, какое произведение о блокаде он считает лучшим. Писатель Пе сказал: «Дневник Тани Савичевой». Аудитория кисло отметила оригинальное качество писателева остроумия — даже хихикнули в отдаленных рядах «залы». Но Писатель-то был прав. Истина не страдает от того, нравится она королям или нет, тем более если их, королей, «целое зало»? Но короли не собираются такой толпой — толпой собираются сомневающиеся. А сомневающимся следует знать, что произведением литературы можно называть не только стихи, но и молитву. Среди молитв и среди дневников бывают гениальные, вобравшие в себя все, в том числе и укор творцу.

28 декабря 41 г. Женя умерла в 12.50 час. утра

Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.

Лёка умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.

Дядя Коля умер 13 апр. в 2 час. 1942 г.

Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.

Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942

Савичевы умерли

Осталась одна Таня

Умерли все

Почему я остался один? Я все ставлю и ставлю этот вопрос. И не нахожу ответа. Может быть, в определенных условиях и ситуациях люди начинают меня избегать, может быть, я недостаточно деликатен.

Муза и ее мама жили в коконе теплых платков. По-моему, они даже пудрились. В гараже было пусто и холодно. Запах осевшего на стенах масла и копоти был липким — так пахнет в заброшенных кузницах, запах бензина весь выветрился. Изольда улыбалась мне из кассы. Раньше, помнится, губы ее были полные, крепкие, приспособленные для поцелуев. Сейчас рот ее стал похож на воронку. Но когда она улыбалась мне из окошечка, она как бы возвращалась в свое прежнее тело.

В гараже можно было встретить людей, сидящих вокруг печурки на ящике по два, по три, и не узнать их — постоять рядом, послушать, как они молчат, и снова не узнать их — они уже устали переживать отступление нашей армии,

они молча томились, молча недоумевали. Они не уставали недоумевать. Если бы в гараже была своя кочегарка, рабочие приходили бы в кочегарку и сидели там; может, даже наладили бы производство каких-нибудь мелочей. Людям нужно было какое-то общее тепло. Руководство города во многом уберегло народ, поставив крупные заводы на казарменное положение. Там, у общего котла, легче было сохранить душу. Вот он, путь эволюции, от общего котла до индивидуального рая.

В книжках о блокаде читаешь: тот стал плохим, другой — нехорошим. Но изменялась душа, становилась одинокой в оледенелом пространстве. И слабое тело собеседовало лишь со своей душой, неконформной и некорректной. И нельзя судить лежачего с позиции «стоя».

Нет еще того гениального скульптора, чтобы изобразил Блокаду. В блокаде и герой и трус умирают одинаково скучно.

Аникушина занимают второстепенности, он создает скульптурный кинематограф.

В блокаде самое страшное слово не «смерть» не «голод», не «холод», но во всей своей емкости слово «блокада». Ему не придуманы антонимы, нельзя сказать: «Блокада — жратва, блокада — путешествия…» Но можно ли сказать — антиблокада? Если возможно, то антиблокаду следует изваять в мраморе самом нежнейшем.

На Новодевичьем кладбище в Москве установили памятник Партизанке Тане. Работа хорошая. Мрамор хороший. Но автор подломил девушке ноги, и получился памятник смерти. Они же погибали за жизнь, за Деву, за непрерывность чистоты, ибо лишь в чистоте идущие на смерть полагали смысл жизни. Ведь для героя смерти нет.

Кто вы, создатели синонима: золотоискатель — золотарь?

Пришел Писатель Пе, сказал мне: «И все равно интеллигента из тебя не выйдет…»

Перейдя на пластическую форму выражения блокады, мы получим, наверное, голову Медузы Горгоны, убивающую всех своим леденящим взглядом. Из головы у нее растут змеи зависти, жадности, подлости. Наверно, образ этот родился у древних из единственного тогда способа ведения войны с городами — блокады. Защитники города сидели в крепости, выставив горожан за ворота на милость осаждающих. Осаждающим жители тоже не нужны были. И вот ходили они вокруг стен своего родного города, умирая от голода и бессилия. Ели траву и ели себя. Но для Ленинграда Горгона мала, тут нужна была Супергоргона,

Горгона-колосс. И она поднялась над городом.

И как противостоять ей одинокому человеку, одиноко сидящему у своей печурки?

Савичевы умерли

Осталась одна Таня

Умерли все

По телевидению выступали работники Музея обороны Ленинграда, рассказывали о свинстве его закрытия, о свинстве Ленинградского дела и вообще о свинстве. И плакали некоторые, поскольку хорошо знали Попкова, Кузнецова, а также других расстрелянных героев блокады. Но вопрос ставился так: нужно ли восстанавливать музей, или достаточно зала в музее истории города?

Писатель Пе спросил у меня:

— Ну, а ты-то как думаешь, блокадник?..

А я-то думаю просто: есть только два экспоната, которых не может быть в иных музеях войны и в других городах, — ленинградский блокадный хлеб (кстати, его сейчас выпекают в Одессе как сувенир к Дню Победы!) и неназванный экспонат, о котором я могу лишь сказать: «экспонат номер один». То, что в четырехмиллионном городе, парализованном по всем коммунальным и санитарным статьям, не возникло эпидемий. А ведь немцы на это рассчитывали. То, что в городе, умирающем от голода, не было разграблено ни одной булочной, ни одной хлебной машины, не было разбоя и бандитизма. А ведь немцы на это рассчитывали. И самое главное, умирающие ленинградцы не ждали спасения себе от врага своего. Немцы, немцы, на что вы рассчитывали? Нет, ленинградцы были согласны уйти в светлые струи светлого озера, куда погрузился непокоренный град Китеж, шагнуть в кипящий пламень, куда шагнули смоляне, когда были преданы стены их каменного кремля.

Этот экспонат работники музея не сохранили — сдались на милость победителя. А он, победитель, все побеждал, все побеждал, все жаждал крови.

И нету теперь того экспоната…

Ну, а снаряды, осколки, дистрофики имеются, в сущности, в музеях всех сражавшихся городов нашей земли. Фотографии Жданова, Ворошилова, Чаковского тоже есть.

Он и говорит мне, Писатель Пе:

— Рожа у тебя какая-то неоправданная, какая-то еще не отвисевшаяся. Тебя с твоими теориями люди не поймут. Людям надо пощупать.

— На, — сказал я. — Щупай. Я и есть экспонат.

Надо мной висела «Галактика». Марат Дянкин парил надо мной, озарялся и пульсировал. «Галактика» была таинственной и недосказанной, как паутина космического паука-урбаниста, как часть галактического города, построенного в многомерном пространстве, где все время меняются точки опоры и ты живешь сразу многими жизнями.

У Писателя Пе спрашивают, почему в современной прозе все более присутствует фантастическое и можно ли считать это модой?

Можно ли считать модой телевидение, радио, видео? И когда я у раковины чищу картошку, неугомонный Гамлет все спрашивает с экрана, быть ему или не быть? Он не просто надоевший экранный персонаж, он обитатель моего многомерного мира — может быть, моя совесть, вынесенная в электронный пучок для облегчения моего физического существования. И мой старший брат Коля бежит по утренней траве, закрыв лицо руками. Он закрыл лицо от стыда, потому что не только ошибки вождей взял он на свои плечи, но их совесть и их стыд. И он спрашивает: быть или не быть? И он поворачивается грудью к врагу, чтобы ответить на этот вопрос. И его валит пуля — маленькая дырочка в центре лба. Но он успевает ответить. Он есть. Он со мной. Он во мне. Я для них, тех, кто хочет дождаться, как причальная мачта для дирижаблей. Они ошвартовываются во мне. Через них и мой путь лежит куда-то туда, в горловину великого мира.

Хлеба уже давали так мало, что мне иногда становилось даже смешно от того, что я еще жив. Однажды я попробовал пожевать лист фикуса. Отвратительно горько.

Дянкинова «Галактика» величественно плыла надо мной, и мне иногда хотелось засиять в ней звездой, как уже сиял в ней к тому времени сам Дянкин.

На работу я ходил каждый день; выпивал кружку кипятку, съедал кусочек хлеба с солью и шел, — я уже дважды подшивал валенки.

Проходя мимо геологического института, я всякий раз думал о скелете игуанодона, который стоит в институтском музее. И сейчас, проезжая мимо, я думаю об игуанодоне, но теперь он мне кажется выходцем из блокады.

Я переходил Тучков мост, шел по Большому, по правой стороне, сворачивал на Большую Зеленину и прибывал к своему гаражу. Там сидел у печурки с другими живыми, в основном это были старые люди. Выпивал кружку кипятку, съедал кусочек хлеба с солью и направлялся домой. Проходил Тучков мост. Шел по Среднему. Мимо игуанодона. Мимо Стеклянного рынка — теперь его нет, на его месте гостиница «Гавань». Жаль, конечно. В Стеклянном рынке была булочная, в ней я выкупал свой хлеб.

Если в начале войны в мою душу проникало сомнение в быстром триумфе нашего войска, то это рассматривалось мной как порок души, влияние темной жизни моих предков-язычников и как недостаточный процент во мне гордости и красоты.

Недостаточность красоты телесной отчетливо обнаружилась во мне с приближением Нового года. Волосы у меня сдвинулись исключительно в теменную и затылочную область, сильно поредев, колени распухли, ребра растопырились, шея стала тонкой, как запястье.

Однажды я прошел мимо своего гаража, чтобы побывать на Сытном рынке. Скорее всего от скуки. Кстати, в блокаду редко кому было скучно. Чтобы скучать, нужна сила. Но, может быть, толкнула меня на эту экскурсию память о Наталье и ее девочках. Они для меня остались в той жизни, полной уверенности в скорой победе.

Серебрились чернобурки. Инеем покрывался фарфор высоких марок. Продавцы, у которых рука была за пазухой, продавали золотой браслет или колье.

Кто-то сказал мне шепотом убийцы:

— Купите кипрскую камею.

К камеям я относился с недоверием. Где-то я вычитал, что халцедон приобретает теплоту и глубокий блеск, если его долго хранить в моче козла.

И вдруг я увидел хлебы.

Это была, несомненно, картина Ильи Машкова.

Как издевались хлебы над всей мудростью мира. И хлеб был аморален, как аморален был голод. Картину принес по меньшей мере черт. Хлебы горели

румянцем, светились сытостью, довольством и лукавством. И вот в чем дело: голодные люди с хрусталями, мехом, серебром не видели в этой картине издевательства, но видели надежду. Они подходили к ней погреться. Хлебы на картине были для них предощущением победы. И, переосмысленные чувством ленинградцев, нагло-издевательские караваи и калачи вдруг становились на блокадном рынке нравственными, как народное знамя.

Меня кто-то тронул за рукав. Я оглянулся. Из трех платков (грубовязанного, цветастой шали и белого ажурного оренбургского) на меня глядела старушенция, продавшая мне хрустальное яйцо.

— Я тебя узнала, — сказала она. — Оголодал. А этот художник, он сумасшедший. Он картин не продает — у него купить хотели. Он хулиганит назло врагам. Рисует под Машкова и Кончаловского. Говорит, чтобы рынок сделался похожим на рынок. Это же не комиссионный магазин, верно? Не барахолка. Это же Сытный рынок! — Она обвела сухонькой ручкой малоподвижных «купцов» с потерявшим цену драгоценным товаром.

Художник был в белых брюках, в башлыке и бороде, неопрятный и тощий, как малярная стремянка, но злой и презрительный. Он поставил рядом с псевдо-Машковым псевдо-Кончаловского «Мясо и овощи».

— Налетай, — сказал он. — Вари борщ боярский. Щи кислые по-петровелицки. Окорока! — И закашлялся.

— Я сюда как в театр хожу, — сказала старуха. — Когда он выходит, мне видно… Грустный театр масок. Хотя почему грустный! Именно во всем этом есть продолжение жизни народа, причем самое надежное.

Я не понимал старушенцию. Но насчет масок, мне показалось, она была права.

Маски были закутаны в платки, в шали, даже в полотенца. Но там, за их безобразием, таились и нежность, и страх, и геройство. Наверно, именно тогда я понял, что блокада страшна своей обезличивающей безнадежностью: и добряк, и скупой одинаково не могут проявиться, потому что у них одинаково нет ничего для выявления своих основ. Блокада — уравниловка.

Люди, принесшие на рынок серебро, фарфор и даже золото, чтобы купить съестное и, может быть, спасти ребенка, все чаще подходили к картинным хлебам — погреться. Хлебы не грели, наверно, только его, злого художника в белых штанах, и, наверно, его душа скулила внутри него: «Не хлебом единым…» — «Тогда чем же?» — спрашивал он. И душа отвечала: «Небом…»

Я пошел к выходу, шаркая валенками. Старушенция семенила рядом.

— Не опасайся, — говорила она. — Хрустальное яйцо убережет тебя. Ты его кому подарил?

— Маленьким девочкам. Двум сестричкам.

— Девочкам — это хорошо, — сказала старуха. — Девочки людей народят...

Я ушел, непричастный к старухиной мысли, показавшейся мне бредом анемичного мозга — я не мог включить Алю и Гулю в ее контекст.

А за моей спиной заиндевелые духи торговали, едва удерживали на весу дорогое добро, собственно ничего не значащее для человека, но значащее так много для человечества. Пытаясь продать это добро, люди, может быть, подсознательно пытались спасти его, сохранить пускай в невежественных, но живых руках, для передачи в будущие годы. Но это нельзя утверждать бесспорно.

После похода на Сытный рынок я заболел. У меня случился жар. Я полагал, что температура моего тела могла только падать.

Чтобы пойти в больницу имени Ленина, нашу районную, я вымылся в тазу. Смыл такую ценную сейчас для некоторых грязь войны. Тогда я еще раз увидел свою некогда спортивную фигуру.

Зеркало у нас было большое, в золоченой раме, но мать Марата Дянкина почему-то купила у меня шифоньер, а зеркало не решилась. Наверно, оно ее чем-то страшило.

Была в комнате у меня следующая мебель: зеркало до потолка, табуретка вместо стола, железная кровать с постелью и железная печурка. Стол, оттоманку, стулья я сжег. Сжег все деревянное — кухонное.

Из произведений искусства была у меня репродукция с картины Серова «Дети» в темно-малиновой эмалевой рамке, купленная маминым рыжим летчиком, и «Галактика» Марата Дянкина, хотя я уже переместил ее в область стимуляторной магии, или оздоровительной чертовщины. Я был уверен, что «Галактика» каким-то образом помогает мне жить. Но помогали и «Дети». С первого дня появления у нас репродукции я отождествил серовских «Детей» с собой и моим братом Колей. Кудрявые волосы мальчиков меня не смущали, но взгляд исподлобья младшего был моим, и я смотрел на себя придирчиво, но с приязненным пониманием и какой-то внутренней нашей единой обидой и ощущением сиротства. Кудрявый брат Коля смотрел, как ему и положено,

вдаль, за море, он видел Венецию — он очень хотел поплыть в Венецию на пароходе.

Золоченое трюмо показало мне меня во всей красе. С шелушащейся кожей в складках, как у ящерицы, с отсутствием ягодиц, икр, грудных мышц и щек. Потом, после Нового года, мои голени отекут, примут форму валенок, а тело примет форму скелета.

Польза от мытья была, конечно, только моральная. В больнице меня даже свитер снять не попросили, даже лоб не пощупали, а выписали бюллетень бледно-голубой, в котором было сказано, что по причине жестокой дистрофии я должен сидеть дома.

Так я оказался совсем один. Один на один с блокадой, с этой Медузой Горгоной, отогнать которую от глаз моих мне помогали лишь «Дети» Серова да «Галактика» Дянкина — мысли, возбуждаемые ими, как слабое электромагнитное поле. Как их было мало, мыслей, и как они были неспешны!

Обижаться я отучился в младших классах вследствие бесконечных драк по поводу вопросов чести, классовой борьбы и пионерской символики — это когда шпана-второгодник пачкал чем-нибудь нехорошим красный галстук нашему старосте — девочке. Сами мы без колебаний использовали свои галстуки при надобности вместо плавок. Боже мой, какие у мальчишек незначительные зады — можно сказать, просто нет их. Я дрался, когда кто-нибудь задевал достоинство моей мамы, моего брата… Я так привык бить первым, что на обиды времени не оставалось, отсюда и мысли мои были лишены амбициозной окраски.

Чаще всего я почему-то думал о финской войне. О нашей откровенно неудачной кампании против маленькой Финляндии. Во время финской войны много говорили о кукушках-снайперах, наводящих страх на целые полки, о неприступности линии Маннергейма, казавшейся мне высоченной крепостью. Но по геометрии выходило, что каждую линию можно обойти с флангов, если даже один ее фланг — лед Финского залива, а другой — лед Карельских болот. Мне все время приходил на ум страшный образ — громадный мужик, упершийся в столб лбом и бормочущий в страхе: «Замуровали…»

Мальчишками мы старательно выискивали свастику в иллюстрации к «Вещему Олегу», напечатанной на задней обложке наших тетрадок, — мы искали деяния врага. И находили. Мы находили бутылки шампанского в гербе нашей державы. Циничный враг таким образом издевался над нашей символикой.

Я сжигал в печурке тетрадки со своими тройками и «Вещим Олегом», а свастика наползала и наползала на Ленинград смертельным льдом.

Бумага горела плохо. Книжки горели плохо. Но все же я жег их. От них было много золы. Особенно неприятно было книги рвать — целиком они вообще не горели, обугливались, дымили и удушали огонь. Они боролись, как мне казалось, за свою жизнь. Лишь разорванные, без обложек, желательно смятые, они горели сносно — и то нужно было без конца помогать огню кочергой. Первыми ушли в печурку учебники, книжки поплоше, погрязнее. Потом Гарин, Шеллер-Михайлов, Чарская, Андрей Белый, «Бруски»…

Но вот я взял в руки «Дон Кихота». И он спас Чехова и Рабле.

Книги мы брали сразу в трех библиотеках, но и собственные книжки накапливались. Они даже, помню, приводили меня в неловкость, — и потому что их мало, и потому что они все же есть.

«Дон Кихота» на моих глазах не читал никто, кроме прилежных девочек-отличниц, которые даже в баню ходили с книгой. «Дон Кихота» обязательно давали в школьной библиотеке, а некоторые родители, преисполненные надежды разжечь в глазах своих детей проблески разума, покупали, с рисунками Доре, и тут же разочаровывались, как если бы в молитве попросили у Бога мешок крупчатки.

К нам «Дон Кихота» принес Коля. Он переехал от отца с тремя книжками: «Дон Кихотом», «Пантагрюэлем» и Чеховым. Я Чехова тогда считал юмористом. Рабле и Сервантеса тоже.

Коля читал без устали. Он мог читать и разговаривать со мной, мог читать и не слышать ни радио, ни нашего с матерью разговора. Иногда он пел. Но когда запевал я, он тут же поднимал глаза от книги и просил: «Будь добр, заткнись».

— Но ведь радио тебе не мешает.

— По радио поют правильно. Ты же врешь, как у классной доски.

Как мы прекрасно жили! Коля ел мягкую булку, намазанную мастикой, которую мама приготовила ему от чахотки: масло, мед, кагор, алоэ. Я ел булку, намазанную маслом и посыпанную сахарным песком. Мы жили хорошо — Коля тоже работал и учился в вечерней школе. Тогда и появилась у нас падшая Изольда. Вернее, она появилась уже давно, совсем молоденькая, но потом она стала падшей, осквернив моего старшего брата.

В декабре, когда я пришел к ней получать зарплату и карточки, она позвала

меня к себе в кассу, там у нее была печурка и охапка наколотых досок — похоже, от кузова бортовой машины. И табурет. Я сел.

— Погрейся, — сказала она очень тихо и без улыбки. Похоже, на улыбку у нее уже не было сил.

Когда я немного согрелся и приготовился задремать, она сказала, не высоко, но сильно взмахнув руками:

— Раньше, бывало, эта комната по щиколотку — все деньги. Шофера сдавали выручку. А я бросала, бросала на пол. Потом складывала их в пачки. — Изольда пододвинула ко мне ведомость. — Распишись здесь и здесь. — Она поставила карандашом птички против моей фамилии и фамилии слесаря Диконького.

— Ему отнести? — спросил я.

— Он умер. Возьмешь себе. Пригодятся. Расписывайся-то не своей фамилией.

Нет, она была все же падшая. Я не знал, что ей ответить, и ответил так:

— Коля бы этого не одобрил.

— Коля бы не одобрил. Он был совсем молодой. А мама твоя взяла бы. Она знала, что такое нужда, — как двух парней вырастить. Ты был очень здоровый, как бычок. Расписывайся — пригодятся.

Я расписался, и мой брат Коля как бы отдалился от меня. И «Галактика» Марата Дянкина потеряла возможную звезду. Она была сильно закопченная, эта «Галактика». На нее оседали дым печурки и копоть коптилки.

Я сидел дома, жег книги и рассматривал картинки Доре к «Дон Кихоту». Хотел сжечь. Но Рыцарь Печального образа был из блокады. Художник Доре все предвидел и нарисовал его ленинградцем. Но он не предвидел меня, сжигающего в печурке книги. Я хотел было оторвать обложки, хотел расчленить томик на тетрадки. Но Рыцарь ехал на Росинанте через мою комнату — это был Коля. За ним на осле поспешал Санчо Панса, зажав под мышкой жареного петуха. Санчо Панса был Марат Дянкин. Он был неправильный Санчо — он бы заслонил Колю от града камней.

Но надо ли было заслонять Рыцаря? Камень, брошенный в него, попадал в нас.

Как-то я увидел «Дон Кихота» у Коли в руках. Он его читал!

— Ты что? — сказал я. — Это же для детей. — Я был очень спортивный шестиклассник. Коля только что к нам пришел в хорошо отутюженном

новеньком шерстяном костюме, с галстуком, мерцающим, как халцедон, и в белоснежной рубашке.

— Сними и повесь, — сказала ему мама. — Мне твои «кустюмы» отпаривать некогда.

Но она стала бы отпаривать их даже по ночам. Коля повесил костюм свой на плечики. Мама покрыла его ветхой простынкой, как зимние вещи. И все же надевать костюм она часто Колю просила. И любовалась своим сыном. И, наверно, вспоминала в такие минуты Фрама.

Однажды они пошли на танцы — мама выглядела очень молодо. Работа, иногда по две смены, не старила наших мам.

Коля вернулся с танцев с подбитым глазом. Какой-то мамин ухажер врезал ему от ревности.

— Чего же ты не сказала, что он тебе сын? — накинулся я на маму. Она подзатыльник мне не дала, чтобы я осадил, засмеялась неприятно, во весь голос.

— Да говорила, но он же, кобель, не поверил. Он думает, я и замужем не была, что я девица.

На следующий день этот «кобель» к нам пришел, здоровенный, яростно выбритый парнина с высоко стриженным затылком — под «бокс» и хрящеватыми чуткими ушами. Коле сказал «извините», маму назвал «Анна Гавриловна», а меня на лестницу вызвал.

— Слышь, пацан, не обманываете, она не сестра ваша?

— Да мама…

— А я свататься хотел. Ну, тогда извините. Что ж…

Рыжий летчик был младше матери на семь лет, а этот совсем на пятнадцать.

Вот и сидел Коля с синяком под глазом и читал «Дон Кихота».

— Это для всех, — сказал он. — Это как небо.

— Лев Толстой гениальнее.

— Может быть.

— Он тронутый.

— Тронутый, — согласился брат. У него были очень ясные глаза: если у меня они были как два маленьких серых булыжника, чуть в синеву, то у него, может быть, те же камни, но на дне веселого ручья. У него даже задумчивость была веселая, какая-то напевная.

— Он не был душевнобольным, — сказал Коля. — Но тронутым — безусловно. Смотри, как здорово: тронутый идальго въезжает в мир на своем Росинанте, и оказывается, что мир густо населен умалишенными. Пока тронутого Дона нет, общего сумасшествия не видно: всюду грязь — и все грязны. Художники говорят: чем больше грязи — тем больше связи. В жизни каждый цвет существует с добавкой «грязно»: грязно-голубой, грязно-зеленый, даже грязно-черный. А тут въезжает на Росинанте рыцарь ослепительно чистый. Тронутый в сторону чистоты. Ты понимаешь, что мы видим?

— Понимаю, — сказал я. Но сам я этого не видел, и мне в оправдание было лишь то, что сам я тогда «Дон Кихота» не читал — пробовал, но скуку от него не одолел.

Брат объяснил, что позже этот прием, но с обратным знаком, использовал Гоголь в «Мертвых душах», где мошенник Чичиков на фоне российских негодяев выглядит чуть ли не образцом благородства. Гашек использовал прием Сервантеса прямодушно: солдат Швейк у него тоже сумасшедший, даже со справкой. И на фоне нормального сумасшедшего армия Вильгельма выглядит толпой идиотов и воров. Остап Бендер у Ильфа и Петрова — тот же прием.

«Золотого теленка» я еще тоже не осилил, эта книга мне тоже казалась глупой и скучной. Брат знал о моих затруднениях — глаза его смеялись.

— Конечно, — говорил он. — Глупо сражаться с баранами, если это бараны. Но если это народ…

— А почему его каторжники побили? — спросил я заносчиво.

— Если ты каторжника освободил, это еще не значит, что он перестал быть убийцей и вором.

— Но злость берет, такой дурак, — сказал я.

— Ты помнишь клоунов — Белого и Рыжего? — спросил брат. — Тебе всегда, конечно, было жалко Белого? Дон Кихот и Санчо Панса — клоунская пара.

— Не заливай.

— Да нет, так оно и есть. Это еще одно чудо этой книги. Идеи Белого клоуна Дон Кихота столь высоки, что он не кажется нам шутом, но скорее святым. Дон Кихота посвятил в рыцари трактирщик. Они альтернативны.

— Что? — спросил я. Хотя мода на иностранные слова тогда была устойчивой, этого слова я не знал.

— Взаимоисключающи, — сказал Коля. — Рыцарь — альтернатива трактирщику. Санчо Панса — трактирщик. Но он сострадает Дон Кихоту, как всякий Рыжий клоун сострадает клоуну Белому. И сострадание это снимает взаимоисключаемость — они могут через сострадание друг к другу сосуществовать. Рыжий клоун знает, что без Белого клоуна людям не справиться с жизнью. Дон Кихот выше религии. Выше Христа. Но он смешон, и потому, слава Богу, люди ему не поклоняются, не городят вокруг него мораль. Смотри, фашисты ходят в церковь, молятся Христу, но Дон Кихота они сожгли на костре. Дон Кихот — разрушитель религий, и у него одна лишь молитва — Дева.

Я возразил, сказав что-то насчет идиотских великанов.

— И великаны, — сказал Коля. — Они не бред собачий. Рабство — это не плен, это наклонность. Мы каждое мгновение готовы подчиняться: «Король убит. Да здравствует король!» Обжорство. Глупость. Мошенничество. Невежество. Нет пороков-карликов — все великаны. Пьянство! Дон Кихот прокалывает бурдюки с вином. Пьянство пока неистребимый великан.

— Тогда зачем сражаться?

— Чтобы не погибнуть. Жизнь — борьба с самим собой.

— А ветряная мельница?

— Это особый великан. Самый страшный. Ветряная мельница — мать машинной цивилизации. По определению Маркса. Сервантес до этого сам допер, в шестнадцатом веке. Машинная цивилизация поработит человеческий разум, заставит наш мозг трудиться только над совершенствованием самой себя. Ветряная мельница истощит землю, прогрызет ее, как червь яблоко. Истощит душу…

А через несколько дней мой старший брат целовался с падшей Изольдой. Я сказал себе тогда, что никакой он не Дон Кихот, а фрайер. Впрочем, Дон Кихот тоже фрайер, придумал себе дуру Дульсинею — деву, наверно, тоже падшую.

«Дон Кихота» я не сжег.

Не сжег! Поставил на полку все три книги, что принес с собой мой старший брат: и «Дон Кихота», и «Пантагрюэля», и Антона Павловича Чехова. Из всех трех книг я прочитал к тому времени только «Каштанку» да «Ваньку Жукова». А вот «Спартака» я сжег, в стужу.

Нужно сказать, лучше всего горела обувь, особенно галоши. У нас в кладовке целый угол был завален обувью со всей квартиры. К тому же мама моя дружила с семьей модельного сапожника. Я знал, что у сапожника на чердаке ларь с обувью — старой, конечно. Спалив свою, я пошел на чердак. Ларя не было, кто-то расколол его на дрова, но обувь валялась кучей. Модельный сапожник по просьбе трудящихся занимался еще и починкой. Старую обувь, которую ему те же трудящиеся отдавали за так, он пускал на заплатки.

В нашем доме не было команды ПВО по тушению зажигалок, на нашу окраину в Гавани немец их не бросал. Чердак был пуст, и я, беспрепятственно нагружая наволочку, перетащил обувь к себе. Вниз по лестнице тащить мешок было не очень трудно — я его по перилам скатывал.

На последнем заходе я встретил на чердаке старика — соседа по площадке. Он стоял у слухового окна, смотрел на город. Город был хорошо виден — наш дом был высок, стоял на пустыре. Старик даже и не посмотрел на меня. Он был гордец. До войны некоторым счастливчикам повезло у него побывать. Они рассказывали чуть не с ужасом, но обязательно шепотом, о чудесных рыбах, сверкающих, как драгоценные камни, и раковинах невиданной красоты.

Когда-то я отдал этого старика Писателю Пе. Он вставил его в недоделанный рассказ «Рыба», испытывая большую нужду в деньгах. Теперь я беру старика обратно. Он мой, и мне он дорог.

Старик стоял и смотрел на город. И что-то думал свое, а когда я пошел, он спросил:

— Зачем тебе этот хлам?

— Жечь.

— Хорошо горит?

— Печурка вмиг раскаляется добела. Особенно галоши.

Он вздохнул и замолчал — наверно, исчерпал тему и любопытство ко мне. Но я еще встречусь с ним в сверкающее утро марта, когда весенний мороз сжимает ноздри и сердце своим неповторимым запахом. Когда зарождается дух жизни.

Я не помню, как прошел Новый год — может быть, — я часок посидел у Музы. Мы выпили кипятку с солью, каждый со своим кусочком хлеба. Сказали: «За победу!» А по радио шла музыка. Наверное, так. Мы надеялись, что на Мгинском направлении наши отобьют Северную железную дорогу. Прекратится голод. Прекратятся смерти. Пойдет трамвай. Пойдет вода…

Я выходил на улицу только за хлебом в булочную и за снегом, то есть за водой.

Попытка прорвать блокаду не удалась.

Я лежал много. Приходил домой с тазом снега, ставил его на печурку и ложился. На «Галактике» хлопьями висела копоть. После войны, вернувшись в Ленинград, я выбросил ее и долгое время не вспоминал. Но потом она поднялась надо мной, как некая луна, влияющая на приливные процессы моей памяти.

Февральскую карточку я получил. Дошел до гаража и обратно домой с трудом, но без особых хлопот.

Расчищенные было трамвайные рельсы снова завалил снег. Кроме хлеба по карточкам стали выдавать спички. Мороз, наверно, тридцать градусов. Плевки, черные от коптилки. Волосы выпадают прядями. Их уже почти нет…

Теперь я жалел обувь, сожженную мной в печурке, — ее нужно было съесть. А вот галоши не жалел — ох как они жарко горели! У меня не было ни столярного клея, чтобы студень варить, ни горчицы, из которой, вымочив, можно было делать лепешки.

Люди разобрали дом молочницы Марии Павловны на дрова. Я принес домой раму. С топливом стало легче. В Гавани было много деревянных домов — их разбирали. Я тащил рамы или брусья от дверных коробок, пилил на кухне.

На фронте дела шли чуть-чуть лучше. Никто на Западе не чувствовал перелома в войне, но мы в Ленинграде чувствовали, мы знали, что война, наконец, получила свое истинное направление к победе. Но мы умирали.

Сидя у печурки, я рисовал зайцев, кошек и птиц. Зайцы хорошо поддавались окарикатуриванию — лучше, чем кошки. Их можно было рисовать часами. Но я

засыпал.

Я не помню, что я видел тогда во сне, но знаю одно — пища мне никогда не снилась. Пищу я видел только как бред.

Февраль подходил к концу. Я спал в какой-то мертвой зыби, в какой-то мелкой воде, не думая о том, что нужно жить. Может быть, я сдался?

Иногда мне грезилась жирная астраханская селедка — залом, — она и сейчас мне грезится. Я ее нарезаю ломтями. Я разрезаю зазубренным ножиком пальцы, этим ножиком я колю чурки, щеплю лучину. Из раны кровь не бежит. И я понимаю, что пальцы можно крошить, как веточки тополя.

Но чаще и зримее всего передо мной предстает августовский день с теплом железной дороги. Я вижу убитую летчиком девочку…

Я каждый день набирал и в ведро, и в таз снег, утрамбовывая его, чтобы не тащить по лестнице воздух. Я каждый день встречал мертвых. Как правило, их везли женщины, похожие на старух. В каждой женщине живет старуха, но в каждом старике живет парень — тут такая разница. Именно от этого старики умирают быстрее — парень, в них живущий, требует много сил.

Но убитого ребенка я пока что видел одного — ту счастливую дочку путейца.

Правда, в детстве, когда я учился во втором классе и одну зиму жил под городом Спасском-Дальним, где в ту пору служил мамин рыжий летчик, в нашей квартире — на четырех летчиков по одной комнате — я видел убитое дите, и оно каким-то образом проникало в мою блокадную жизнь.

Девочка соседская, Ириночка, пухленькая, в белых локонах, с длинными стрельчатыми ресницами, прошептала мне на ухо, этими ресницами мне висок щекоча:

— Моя мама братика рожает, хочешь — посмотрим.

Я понимал, конечно, и она понимала тоже, что это дело не для посторонних глаз, что нам в этом деле нужно уйти и зажмуриться — однако если из небытия является братик, то почему же нужно зажмуриваться?

— Рожают в больнице, — сказал я.

— Мама выкидыш рожает, ей до больницы не добежать. — Ириночка взяла меня за руку, и мы тихонько вошли в их комнату.

Женщины нашей квартиры и двое с лестницы стояли вокруг кровати, на

которой лежала веселая Ириночкина мама и стонала. Мы с Ириночкой нырнули под круглый стол, он стоял сразу у двери в левом углу комнаты, покрытый большой, почти до пола, гобеленовой скатертью. Мы еще не устроились, не нашли способа подглядывать, как Ириночкина мама вдруг продолжительно и слезно закричала. «Все, все», — сказали ей. И через минуту к нам под стол пихнули ногой эмалированный таз. В тазу лежал ребенок. Его нельзя было назвать ни братиком, ни сестричкой. Он прижимал кулачки к красному сморщенному лицу и плакал…

Нет, плакала Ириночка — тихо скулила и на четвереньках вылезала из-под стола. Я за ней полез, не оглядываясь. Ириночка головой открыла дверь, колени ее, убегая, дробно стучали по крашеным доскам пола. Она уже не плакала, она издавала какой-то щенячий звук. Из кухни вышла моя мама с кастрюлей теплой воды.

— Что это вы? — спросила она.

Ириночка, не переставая скулить и не сбавляя хода, ответила:

— Мы играем в собаку, — и мы устремились на лестницу, а жили мы на втором этаже в бараке из лиственничного бруса.

На лестничной площадке Ириночка резко отодвинулась от меня, как будто я в чем-то был виноват.

— Они его убили, — сказала она.

Мне показалось, что не только длинные ее ресницы, даже светлые локоны на висках были мокрыми.

— Кто? — спросил я. Во мне было больше стыда и вины за подглядывание, чем ужаса от увиденного.

— Мама, — прошептала Ириночка.

А девочка — дочка путейца — лежала на шпалах. И ленинградские женщины, похожие на старух, куда-то везли своих мертвецов. Не только рожать, но и хоронить — дело женское.

— Что же у него так мало дров? — услышал я чей-то, как мне показалось, молодой голос.

— Ему хватит, — ответил голос другой. Я узнал голос нашего управдома —когда-то она была веселой толстухой, председателем товарищеского суда вдомкоме.
— Он все равно умрет скоро.

— Что вы говорите, — возразил молодой голос. — Нельзя же так.

— Сейчас можно. Ему за карточками не дойти.

Мне умирать не хотелось. Мне очень не хотелось умирать. Я вдруг почувствовал это. И почувствовал, как у меня из глаз выкатились слезы.

— Дойдет, — сказал молодой голос.

Я открыл глаза. В комнате было светло и грязно. Надо мной стояла Наталья, такая же тощая, как и раньше, но крепкая и высокая, в крепкой, туго опоясанной шубейке. И голова ее не была закутана в платки, как кочан, и лицо чистое.

— Что же ты от нас спрятался, капитан? — спросила она. Это, конечно, она подняла маскировочную штору. Это она управдому сказала:

— Я ему за карточками сбегаю.

Слова «сбегаю» я уже не слышал сто лет. Оно меня рассмешило.

— Я сам сбегаю, — сказал я.

— Вот видите, — сказала управдому Наталья. Управдом тяжело вздохнула.

— По дороге помрет.

— Постеснялись бы! — прикрикнула на нее Наталья.

— А чего тут стесняться? Что, он сам не знает?

— Не помру, — сказал я.

Управдом ушла, поправив свои платки перед маминым золоченым зеркалом.

— Губы уже не красишь, — сказал я. Мне было мучительно стыдно за свой жалкий вид, за грязь, за то, что сдался — я так считал.

— Хочешь — накрашу? — Наталья достала из кармана помаду.

— Не надо. Ты и так красивая.

— Разглядел.

Я отвернулся к стене. Теперь мне было стыдно не за свой отвратительный вид, не за убожество моего жилья, но за свою радость видеть ее.

— «Капитан, не помирай, мы с тобой поедем в рай». Это девочки тебе сочинили стих, — сказала она и подмигнула. — Я завтра приду с мочалкой. Завтра у меня часа два найдется. Может, за хлебом сходить?

— Я сам, — сказал я. — Я встану. Целуй дочек.

Наталья ушла. Мне показалось, что нос ее подозрительно морщился и подбородок дрожал. Я сходил за хлебом в булочную на Гаванской, вскипятил воды.

А утром я пошел.

Ночью навалил снег. Он все прикрыл. Непременные мазки выплеснутых у домов нечистот. Следы ушедших людей. Мертвого человека в ушанке, лежащего на занесенных трамвайных рельсах. Прокатанную редкими автомобилями колею.

Я шел мимо Стеклянного рынка. Мимо Василеостровского сада, где на открытой эстраде мы смотрели состязания борцов-профессионалов, где пела стройная и сильная Клавдия Ивановна Шульженко, где я впервые услышал «Тачанку» в исполнении Владимира Коралли. Шел мимо игуанодона. Там же, в музее геологического института, был кристалл соли — куб с гранями метр на метр. Из всех экспонатов этого замечательного небольшого музея я помню скелет игуанодона, прозрачный соляной кубометр, который полагалось потихоньку лизнуть, и копию золотого самородка, похожую на золоченую коровью лепешку.

Дальше был чужой район, куда мы ходили играть в футбол или драться.

Неожиданный чудесный приход Натальи взбодрил меня, даже придал мне прыти. Я шел, как мне думалось, развернув плечи.

Город был пустынен. Но уже выходили укутанные в шали дворничихи, расчищали дорожки к парадным. Наверно, они расчистят и тротуар, я же шагал по нетронутому чистому снегу.

День разгорался, хотя и не был солнечным, но стало светло. Ощутимо светло — может быть, этот свет шел изнутри меня. Но скорее всего я просто отвык от света — за хлебом я ходил по вечерам и молча жил в ожидании следующего вечера.

На Петроградской стороне народу было побольше, но все равно мало.

Путь, который я еще недавно проделывал, затрачивая чуть больше часа, я прошел за четыре часа — это, как мне казалось, с развернутыми плечами и большой прытью.

Гараж стал пустым и гулким. Он промерз насквозь. Все внутри было в инее. Иней скрыл грязные пятна на стенах и копоть на потолках. Во дворе стояло несколько бортовых машин. Как мне сказала Изольда, на них возили трупы. Трупы возить выгодно, за каждую ездку давали двести граммов хлеба — дополнительно. Мужиков-шоферов нет — собрали со всех гаражей женщин. Но больше двух-трех ездок в день они не делают, работа очень тяжелая.

Изольда совсем угасла. Глаза ее стали пустыми, волосы тусклыми. Я расписался у нее за три зарплаты. И все же интересно — зарплату за умершего она могла мне выдать, но вот карточку не могла. И себе не могла взять.

Я прошел на свое рабочее место. Там было пусто и скользко — кто-то пролил воду, наверное, упал с ведром. Вода разлилась широко и замерзла. Рядом с лужей валялась покрышка от ЗИС-105, я попробовал ее отодвинуть к стене и не смог. Может, она примерзла? Нет. Я ее все же с большим напряжением сил поставил на ребро и, задыхаясь, подкатил к стене. Зачем? Не знаю. Но когда-то я без талей вынимал из «эмки» мотор. Мне казалось, что это было очень давно — в молодости.

Откуда-то тянуло дымом. Я пошел на дым. На первом этаже у чугунной круглой печки с конфоркой сидели крепкие женщины в ватниках. Лица их были неподвижны. Одна из них уступила мне место. Сама принесла себе откуда-то венский стул.

Я сидел долго, может быть, час. Женщины ушли — это были шоферы с тех грузовых машин.

Потом я пошел. Я шел медленно, экономя силы. Кварталы домов становились неимоверно длинными. Мне казалось, что не я иду так медленно, не меня покидают силы, но таким грандиозным, таким печальным и ледяным становится мир. Особенно плохо мне стало, когда я перешел Тучков мост, уже на Среднем проспекте. Мне все время хотелось сесть, однако я знал: если сяду — умру. Я останавливался у столбов, но и стоять долго, я понимал, было нельзя. Я считал до двадцати и шел дальше. Наверное, со стороны я выглядел смешно, если может выглядеть смешно обреченный. Почему-то в этом моем пути я вспоминал не маму, не брата, не бабушку, которая у меня была после брата на втором месте, а может, я любил их одинаково сильно и оба они для меня были светом

ума и светом сердца, — нет, я вспоминал своего дружка Марата Дянкина. Его глаза, которые просили меня выжить и сохранить память о нем, о парнишке, который каким-то чутьем и талантом пытался постичь иные измерения, даже не зная о возможности существования многомерных миров. Мне казалось, что я иду в пространстве Дянкина. Дома по сторонам воспринимались мной как нереальное нагромождение грязного льда. Все ледяное. Даже люди. Полоса, в которой я перемещался, все время меняла свои очертания, размеры и даже цвет. Снег в этой полосе был то зеленым, то фиолетовым, но все чаще и все продолжительнее — красным.

Я вновь шел мимо игуанодона и соляного кристалла. Именно там, у геологического института, я вдруг понял, что останавливаться у столбов мне больше нельзя, можно только идти и идти от столба к столбу. Столбы, когда я преодолевал их тяжелое притяжение, как бы падали за моей спиной, обращаясь в прах, — я ощущал только форму столба, стоящего впереди, — он тянул меня, обещая покой. Но я говорил себе: «Мимо, мимо. Не останавливайся. Только не останавливайся».

Я спрашиваю Писателя Пе, какого черта он так часто прибегает в своих рассказах к фантастическим совмещениям миров, — разве он был в Блокаде, видел глаза Горгоны? Ни черта он не был. Блокада сделала несъедобное вкусным, распрямила спирали, углы превратила в овалы и главным измерением сделала единственно верное измерение нашей жизни — наши шаги.

У Стеклянного рынка, у булочной, стояла очередь. Я шел мимо, и вся очередь, посмотрев на меня, опустила глаза. Она ничем не могла мне помочь.

Из булочной вышла девочка. У нее в руках было два куска хлеба. Она подошла ко мне и сказала:

— На… — Она протянула мне хлеб, но я не взял — взять означало бы остановиться.

— Что ты делаешь? — прикрикнула на девочку какая-то старая женщина. — Это чей хлеб?

— Бабушкин, — сказала девочка. — Бабушка померла. — И она заплакала.

Я не обернулся, не сделал попытки запомнить ее лицо — обернуться означало бы упасть…

Я шагал от столба к столбу. Лента моего пути становилась зыбкой, как пожня; мхи и осока на ней были красными, красными…

Нужно было еще подняться на третий этаж. Этот прием давно отработан. Берешь ногу руками повыше колена, ставишь ее на ступеньку и, опираясь на колено руками, распрямляешься. И снова ставишь ногу руками на следующую ступеньку. И так все выше, и выше, и выше…

Когда я вошел в свою комнату, мне навстречу из зеркала с золоченой рамой шагнуло чудовище с красными рачьими глазами и посиневшим голым черепом. Шапку я почему-то снял перед дверью. Глаза мои вылезли из орбит не фигурально, но просто вылезли. Они торчали. Они висели, как две громадные вишни, — белков не было. Только черный зрачок посреди красного.

Я не упал. Я опустился на колени. Прежде чем упасть, мне хотелось поправить глаза — засунуть их обратно в глазницы. Но на это у меня не хватило сил.

Очнулся я на кровати. Гудела печурка. Пахло знакомым мне с детства льняным маслом. На глазах моих лежало мокрое полотенце. Я знал, что, сняв полотенце с глаз, увижу Наталью.

Она помогла мне сесть. Вложила мне в руки мисочку, от которой и исходил этот чудесный льняной аромат.

— Каша из льняной дуранды, — сказала она. — Капитан, хочешь ты этого или не хочешь, но я тебе помереть не дам.

Всякое счастье живет лишь свое короткое время, лишь свой непродолжительный миг. Когда говорят: «Я ничего вкуснее не ел», — значит, говорят о счастье, о мгновении, в котором слились все желания, к этому времени человеком накопленные.

Я не ел ничего вкуснее той дурандовой каши. И лишь глупый гордец может кощунственно пожелать повторения счастья.

Фактически спасла мне жизнь другая женщина, но, впрочем, как ни крути ни верти, все же Наталья.

Хотя я и не накопил торжественного восторга по отношению к лучшей половине человечества, в самые трудные минуты моей жизни на помощь мне почти всегда приходили женщины, подчас посторонние.

— Я положу здесь кусок дуранды, — сказала Наталья. — Грызи его — растягивай удовольствие. Мы с девчонками любим грызть. Если бы ты еще меня слушался. Ну, я пошла. Девчонки тебя целуют. Не знают, что ты совсем лысый…

Всю жизнь я любил двух маленьких девочек с такими забавными именами — Аля

и Гуля, они с неподражаемой серьезностью поджимали губы, сообщая мне по секрету, что скелет есть у каждого. Они так отважно отстаивали свои права на свободу озорничать и так глубоко сострадали. Я их больше не видел, но, встречая девочку, чем-нибудь похожую на них, мне хотелось пожать ей руку и попросить ее: «Пожалуйста, не разбей по неосторожности хрустальное яйцо, из него родится и осенит тебя крылом чудесный птенец».

Был ли я сам счастлив в своем счастливом детстве? Знаю твердо — был. И счастье это было связано с бабушкой.

Жил я у бабушки возле Смольного — мама моя укатила к своему рыжему летчику на Дальний Восток. Вместе с нами в квартире жил Самсон Уткин. Был он, как и я, временным сиротой, пригретым бабушкой. Он приглашал меня к себе в комнату с широким бархатным диваном, угощал конфетами и говорил:

— Приобретаем, приобретаем: образование, навыки, пристрастия, мнения. И что-то бросаем, освобождая место для новых мнений. А что бросаем — мы же не знаем? Мы себя объяснить не можем, потому что не знаем, что в нас своего осталось: может быть, свое-то все выбросили. Ну, иди к бабушке, — и отводил меня на кухню, перемазанного шоколадными сластями.

Самсон Уткин был директором парфюмерной фабрики «Ленжет». Ушел от жены — она ему изменяла. Оставил ей квартиру и теперь временно жил у моей бабушки. А сын ее, мой дядя, был в это время в Дании дипломатом. Собственно, мой дядя сам пустил Самсона — Самсон был бабушкиным непутевым родственником.

Потом Самсон Уткин получил жилплощадь и, переехав, застрелился. «Все из-за баб».

Потом в комнате, где он временно проживал, поселился челюскинец, у которого был еще ненадеванный орден «Красная Звезда», — мне он давал подержать его.

Многое было потом. А в те дни жили мы этак втроем — бабушка, я и Самсон Уткин, к которому приходили душистые дамы с круглыми розовыми коленями. Всем был хорош Самсон, и ростом, и румяностью щек, и яркостью глаз — не сравнишь с челюскинцем, и щедростью на конфеты. Но почему-то, глядя на него, бабушка пыталась выдрать меня полотенцем.

Самсон говорил:

— Бросаем, бросаем, а что бросаем, дураки, не знаем. Пусть бога нет, но зачем же его бросать?

Бабушка говорила:

— Бросил бы ты, Самсон, пить. А ты уши не растопыривай. Любопытный какой! — это мне. — Вот выдеру — твоя доля…

Чаще бабушка ставила меня в угол, но и драла, конечно, полотенцем. Я не мешал.

Сегодняшние мои ровесники уточняют с повышенным интересом:

— Полотенце мочила? Скручивала туго?

— Нет… Такого в заводе не было.

— Тогда не считается. — Ровесники потирают руки, словно хватили с мороза стопку, и объясняют, что полотенце следует сложить вдвое, намочить и туго скрутить, лишь тогда будет то. Они почесывают бока и затяжно вздыхают.

Нет, моя бабушка стояла надо мной, и длинное полотенце развевалось, словно хоругвь великого золотого суда.

Я, конечно, под столом сидел. Она спрашивала:

— Когда вылезешь?

— Вот догляжу и вылезу.

— Что доглядишь?

— Как паук муху ест.

— Ты уже шестой раз про паука врешь.

— Ты тоже одну и ту же сказку рассказываешь. Сама других сказок не знаешь.

— Не знаю, — соглашалась бабушка. — Вылезай. Я тебя выдеру, и пойдем кисель есть.

Мы шли на кухню. Бабушка ставила на стол тарелки с киселем, густым, как студень. Бабушка ела кисель овсяный с горьковатым и терпким льняным маслом. Я — кисель клюквенный с молоком. Такой сейчас почему-то не варят. Но именно в крутом киселе возможно было течение молочных рек.

Сказку бабушка рассказывала такую.

Это давно было. Совсем прежде. Жили на елке зайцы. А под елкой в норе жили

лисы. Как зайцам кормиться? Научились зайцы летать. Но не научились лисы еловые шишки есть. Сидят зайцы на огороде у мужика, едят морковь. А по лесу лисы рыщут, зайцев на обед ищут. А нет зайцев. Тогда научились лисы у мужика кур воровать. Мужик тоже не совсем глупый — купил ружье.

— А кого он настрелял? — спрашивал я.

— А никого. Распугал всех — пусть по своим местам сидят.

— Надо было медведей настрелять, — говорил я, засыпая. — Медведь вон какой большой, на всю бы зиму мяса хватило. А собака? — спохватывался я. — Пусть и собака будет. Жоркой зовут.

— Жорок в деревнях не бывает, — объясняла мне бабушка с ухмылкой. — Все Жорки в городе. Собаку Полканом звали. А еще Полкан — чудище песьеголовое. А еще был Полкан — богатырь у князя Владимира Святославича.

Сон от меня отлетал. Я просил сказку про богатырей. Бабушка говорила:

— О богатырях и воинах сказок не бывает — бывает быль. Быль в книжках написана. В школу пойдешь — прочитаешь. Мне расскажешь.

Была моя бабушка безграмотной. Даже подпись свою срисовывала с оставленного ее сыном образца. При этом она бледнела и складывала губы так, словно хотела подуть на озябшие руки.

Но вот однажды пришла к нам красавица лучезарная. Я ей сам двери открыл.

— Афина, — сказал Самсон Уткин. Он в тот вечер готовился отбыть в ресторан — чистил в коридоре свои штиблеты ваксой под названием гуталин. Самсон выпрямился, убойно красивый от своих легких светлых волос и широких плеч.

Афина не отступила. Она была высокой и стройной. В длинной узкой юбке и длинной шелковой кофте лилового цвета. Волосы стрижены косо ниже уха. На голове белый беретик, маленький, с задорной петелькой. Туфли на каблучке, черные, с ремешком.

А бабушка поняла, что Афина не к Уткину. Она все поняла и как бы споткнулась на пороге своей комнаты, где помещались две кровати и стол, покрытый клеенкой.

— Скажите, как можно расценить ваше отношение к матери? — сказала Афина Уткину. — Наш кружок ликбеза сделал уже три выпуска, а вы все не соберетесь показать своей маме путь. Прямо из ваших окон виден наш призыв: «Граждане Советов — к свету!» В красном уголке, в конторе жакта.

Уткин вытер руки белоснежным платком, приготовленным для ресторана, взял Афину под локоть и величаво повел к себе. Бабушка же накинула на плечи теплый платок, когда-то подаренный ей ее лютым мужем, почти легендарным дедом Гаврилой.

Я пошел к Уткину заступаться за бабушку. У меня было такое чувство, что ее хотят у меня отнять. И она этого тоже хочет. В таких случаях дети плачут, но я тогда еще плакать не умел.

Я протиснулся к Уткину без стука. Афина сидела на диване, держа на коленях тетрадь в клеенчатом переплете. Уткин сидел на стуле. Грустный.

— Вы с ней поласковее. Без этих слов: «К свету. Луч разума. Именины сердца. Слова правды». Она умная и сильно битая.

Из Самсоновой грусти я понял, что бабушку у меня не заберут, и я сказал:

— Вы у него шоколадных конфет попросите. Они вон там, в большой коробке.

Афина засмеялась и встала. Пожала Уткину руку. Сказала:

— Спасибо, товарищ.

И я повел ее к бабушке. Бабушку записали на курсы по ликвидации безграмотности, иначе говоря — ликбез.

Была бабушка моя черноволоса, во всем их роду одна такая, все остальные русые да белесые. Носила бабушка ботинки для коньков, широкие, мягкие, сшитые из полосок кожи с подкладкой из шерстяной фланели цвета пунцовой гортензии. Платье обычно коричневое или темно-синее в мелкий горох или мелкий цветочек. Была она старой. Руки, деформированные артритом. Морщины. Высокий, округлый лоб. И глубоко проломленное надбровье.

Бабушка рассказывала, будто комолая пестрая корова ударила ее копытом. И как бы жаловалась, что коровы ее не очень любили, — лошади любили, а коровы нет. Мой дед, когда не был пьян, надаивал от коровы больше бабушкиного. Зато бабушка лучше деда могла пахать и косить. Но бровь проломила ей все-таки не корова, как я позже узнал от матери, а мой лютый дед проломил, кажется, кочергой. Дед в Петрограде работал на Путиловском заводе молотобойцем. В

деревне же дед занимался плотницким и кузнечным делом. Даже подряды брал на ремонт небогатых усадеб с каким-нибудь одноструйным фонтанчиком. Именовал себя дед металлистом.

К мужу, в деревню Глубокое, пришла бабушка со станции Кафтино. Там ее старший брат, купец первой гильдии Уткин, имел большой и красивый дом. Имел он торговлю в Петрограде, и в Москве, и в Бологом. Другой ее брат, младший, был членом «Народной воли» и успокоение свое нашел на дне Баргузинского моря, где по распоряжению, наверное, самого царя затопили баржу с колодниками.

Деда, хоть он и умел многое, и сестра его была уважаемой в уезде учительницей, редко называли Гаврилой Афанасьевичем, чаще Гаврюхой, бабушку же мою только Екатериной Петровной.

Была бабушка старше деда. Дед ее не любил. И помер он, сотворитель драк и гулянок, на муравчатом бугорке на солнцепеке в виду озера, где ловил окуней и щук, съев сверх крутого хмелья горшок меда.

И вот мы пошли в дом напротив, в красный уголок жакта — бабушка в своем лучшем платье и белом платке и я в чистой рубахе пестренькой. Сели за длинный стол — у меня только маковка над столом торчит да глаза. Сидим. Вдоль стола народ причесанный, красный — наверное, все после бани.

Бегут мои глаза по столешнице, покрытой кумачом, к торцу, а там двое учителей: наша Афина — зовут ее Еленой Николаевной, и парень в косоворотке — Леандр.

Смотрит на меня этот Леандр и спрашивает:

— Ты кто таков?

Отвечаю честно, как меня Самсон Уткин учил:

— Сознательный советский безграмотный. Имею право на ликвидацию. — По Самсону, нужно было еще и руку вверх выбросить и заявить звонким, срывающимся от волнения голосом: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — но я позабыл от волнения.

— Что будем делать? — спросил Леандр.

Степенные люди, дворники, слесаря, даже один извозчик отнеслись ко мне с пониманием. Они сказали:

— Куда ж его, раз он есть.

И тут встает моя бабушка, сминает пальцами платок белый.

— Товарищи, — говорит.

Я даже не понял, что это слово моя бабушка произнесла, — наверно, ее тоже Самсон учил. Внутренним своим оком я узрел, как взмывает в бабушкиной праведной руке полотенце — святое орудие мудрости и порядка. Я тут же спрятался под стол. Пришла мне на ум фраза из бабушкиной сказки: «И научились зайцы летать».

Бабушка двигала свою речь к завершению с молитвенным пафосом, наверно, накопленным за многие годы ее тяги к Слову.

— Он мальчонка надежный. А если что, я его полотенцем.

Тут я из-под стола высунулся, воздел руку вверх и все же выкликнул звонко и с хрипотцой:

— Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Елена Николаевна отвернулась, глядя в пол. А несознательные разодеколоненные девицы, между прочим, сами неграмотные, прыснули, прикрыв рты ладошками. Одна даже из комнаты выскочила, опрокинув стул.

Учителя порешили не выгонять меня — пока. Но намекнули, что это самое «пока» может уже завтра утратить силу.

Всем взрослым безграмотным выдали по тетради и карандашу. Попросили одеваться на занятия проще, поскольку праздничная одежда стеснением тела стесняет ум.

Мы шли домой. Я был в обиде.

Если бы мне тетрадь выдали и карандаш, я бы в ликбезе всему быстро выучился — мог бы сразу, скажем, в милиционеры бы. Или в вагоновожатые бы. Даже в пекари бы или в извозчики. На улице пахло ванилью, навозом и керосином.

— Даже шофером бы! — сказал я угрюмо.

Сколь много значат для пятилетнего мальчика эти громадные, эти всесильные «БЫ!». Наверно, по утешительной мощи они стоят сразу же вслед за бабушкиной рукой. Это сейчас экстрасенсы, а раньше-то — голова болит или шишка на лбу — бабушкину руку приложишь, и боль остывает, рыдательная

судорога отпускает грудь, затуманенные глаза проясняются и вдруг замечают на мостовой оброненную кем-то копейку. Копейка стоит на ребре, заклиненная меж камнями.

От людей, которым нравятся красивые выражения, я слышал, что наши детские «БЫ!» должны покидать нас вместе с цветными снами. Но они не покидают…

Дома бабушка нарядное платье не сняла, меня в старые башмаки не заставила переобуваться, но взяла в кухне серебряную ложку, ей лично принадлежавшую, большую, тяжелую, привезенную дедом Гаврилой из Петрограда с целью ее задобрить — дед в деревне мало жил, все больше в столицах, — и мы с бабушкой поехали в центр.

В «Торгсин».

Тогда голодно было жить. Стране немедленно требовались станки, и, естественно, помощи попросили у граждан, организовав акционерное общество «Торгсин» — торговля с иностранцами. В магазинах «Торгсина» граждане могли покупать у иностранцев продукты и промтовары в обмен на благородные металлы и драгоценные камни — от этого и государству была большая выгода в валюте.

Мой дядя, работавший в Дании дипломатом, присылал бабушке датские деньги, которые она, стесняясь и скаредничая, меняла в «Торгсине» на специальные боны. Она покупала на них гречневую крупу, крупную и чистую, в плотных пакетах из коричневой крафтбумаги. Бабушка говорила Самсону Уткину, что о пакетах она судить не берется, может они импортные, но гречка наша. Ее брат, купец Уткин, такой крупой торговал и объяснял ей, что в заграницe гречиху не сеют. На что Самсон Уткин скалил свои ровные белые зубы.

— Екатерина Петровна, родная, может, и сахар в «Торгсине» наш?

— Наш, — говорила бабушка. — Решительно наш. В какой заграницe, скажи, свет, льют сахар головками? Ты про духи знаешь, одеколоны — я тут с тобой не спорю, но масло в «Торгсине» наше.

Вообще бабушка спорить, даже возражать, не любила — позволяла только с Самсоном Уткиным. Был он для нее свой и, как она полагала, не мог бы над ней посмеяться. А Самсон не смеялся, но ржал от веселого нрава и успешного поворота своей непутевой жизни. Но вдруг умолкал и грустнел. Бабушка тогда тоже грустнела.

— Бросил бы ты все же пить-то. Иль запутался?

Дядюшкину валюту бабушка экономила весьма. Одна она бы и гречку не покупала. По моим понятиям и не нужна нам была гречка, мы хорошо ели: овсянка, чечевица, хлеб, масло постное, молоко, картошка, кисель — что еще надо?

Мы с ней ехали на трамвае номер двенадцать в «Торгсин» — был он напротив гостиницы «Европейская». У Аничкова моста уже курились первые в Ленинграде асфальтовые дымы.

Почему бабушка взяла свою серебряную ложку, а не сыновью валюту, я понял, когда она, получив за ложку боны, купила мне тетрадь в клеточку с уже отчерченными полями и такой ровной крепкой, плотной, глянцевой бумагой, что писать в такой тетради не умеючи был грех. Еще она купила мне карандаш с золотой надписью и золотой трубочкой на конце, в которую была вставлена красная резинка. Еще она купила гречки, топленого масла и колбасы чесноковой круг. Бабушка шиковала — может быть, первый раз в своей жизни. Шиковала она на свои, выстраданные.

Писатель Пе говорит, что ему часто задают вопрос: не знает ли он, что такое счастье? Будто писатель должен знать про этакое, а инженер не обязан. Писатель Пе выводит понятие «счастье» от понятия «честь». Может быть, он и прав. Но видится мне моя бабушка, обменявшая единственную, не считая проломленного надбровья, память о своем лихом и, судя по рассказам, красивом муже на тетрадку и карандаш для внука, и не по крайней необходимости — внук в свое время в школу пойдет, — но исключительно чтобы его приравнять с собой в радости. Страдания от неграмотности бабушка считала для себя наисильнейшими, и радость ее была велика. Но вот, думаю я теперь, пятилетний мальчик с голландской тетрадкой и карандашом «Кох-и-Нор» в руках, был рад до изумления, до отпотевания пяток, но бабушка была счастлива. Такой расклад. А может быть, счастливы были мы оба. Наверное, так.

Дома мы откопали кульки из-под круп, обертки, упаковки, сбереженные бабушкой для нужд жизни, прогладили их утюгом и сшили большие блокноты для чернового письма. Тетради же были для нас пока лишь дальними маяками, книгами радости, куда мы, ликвидировав свою постыдную безграмотность, впишем оды солнцу и свету.

С этого дня изменился наш способ жить. Мы чувствовали себя неофитами солнцеграда, полными опаляющих знаний. Я читал вывеску: «Булочная». Прохожий поправлял меня: «Калачи». И я, как равный, говорил ему:

— Правильно, дядя.

Дома мы долго ходили по комнате, бабушка в одну сторону, я, заложив руки за спину, в другую. Мы думали. Мы переосмысляли жизнь. Наконец, устав, бабушка предложила:

— Может, киселя поедим?

На следующий день мы шагали в ликбез, как два дружка, прижимая блокноты, тетради и карандаши к груди. И встречные люди, глядя на нас, улыбались.

О первых днях нашего обучения подробный рассказ был бы делом неправедным, поскольку смеяться над безграмотным, глухо мычащим, страдающим от немоты мужиком — грех. Нельзя рассказать без сострадания о том, как рыдали пышущие телом, бойкие на язык девицы, у которых судорога сдавливала горло и сводила пальцы, когда требовалось прочесть: «Мама мыла Лушу».

Когда же читала бабушка, я отворачивался. В эти моменты я ненавидел ликбез, и нашу Афину, и нашего Леандра. Бабушка считала, что, отворачиваясь, я над нею гнусно хихикал.

Но вот подхватило нас всех прозрение, и слезы уступили место сначала удивлению, потом ободряющему друг над другом подтруниванию. Звуки выпекались нашими горячими устами, как бублики. Наконец все мы прозрели в азбуке и слогах от самого маленького — меня до самой старой — моей бабушки. Кстати сказать, арифметика всем старшим давалась легче и никто, кроме меня, не умножал гусей на коров. Но посмеиваться надо мной было даже полезно — это я понимал какой-то недетской мудростью, и бабушка гладила меня за это по голове. Царь-карандаш мой мне даже очинить не дали — нанесли огрызков, очинышей. Ими я и писал. Мой карандаш сберегался, как волшебная палочка для будущих чудес. Он, конечно, в свое время стерся, я его изрисовал. Только глупые не понимают, что волшебная палочка, как и карандаш, после каждого волшебства становится чуть-чуть короче и наконец прекращает быть.

Писать, к нашему с бабушкой ужасу, нас заставили сразу в тетрадках, чтобы старались. «Чтобы плохая бумага не вуалировала вашу небрежность», — сказала Афина. В блокнотах — их изготовили все — разрешалось производить черновые арифметические действия.

Когда мы овладели чтением, улицы стали шире.

Много на свете замечательных радостей, но радость ликвидировавшего безграмотность можно сравнить только с радостью человека пустыни,

вошедшего, как сказал бы Писатель Пе, в прохладные струи реки. Нас оглушил шум афиш, объявлений, газет и журналов. Слов вокруг нас оказалось столь много и среди них столько незнакомых и непонятных, что Самсон Уткин, собиравшийся от бабушки съезжать, ускорил свои сборы, ибо мы, как разбойники, поставили его перед выбором: жизнь без мебели в новой квартире или мучительная смерть от вопросов, что такое «инвестиция, футуризм, баккара, гуммиарабик, наркомпрос…»

Он сказал:

— Воистину, грамотность есть множитель печали, — и выбрал одинокую жизнь без мебели. Он объяснил нам с бабушкой, что человек рождается на свет исключительно для мук, происходящих от попыток ответить на вопрос, что же такое совесть.

— Это зачем же мучиться? — возразила бабушка. — Живи по совести. Уж чего проще по совести жить.

Хитроумный Самсон объяснил, обнимая бабушку за плечи, что она, мол, человек редкий, но есть люди, которые совесть не различают, как дальтоники цвет. А если еще глубже в этот вопрос заглянуть, то и вовсе может показаться, что совесть обладает свободой выбора: кого хочет, того она сама и выбирает для своего помещения. И есть она далеко не у всех. Многим она и не нужна даже. Что образование, закон и порядок обществу в целом нужнее совести.

— Ты нам лучше объясни, что такое инфузория? — сказала бабушка. — А также пироксилин.

Самсон застонал и пошел на коварство. Он попросил открыть комнаты моего дяди — гостиную и кабинет, подвел бабушку к книжным шкафам и показал, как пользоваться энциклопедией.

В эти комнаты мы с бабушкой входили редко, только пыль стереть. Книжки из шкафов не брали. У бабушки все в этих комнатах было языческим табу. Вообще же она была то ли безбожница, то ли считала людей наравне с Богом, только была она свободна от раболепия перед Спасителем и даже как бы вовсе в нем не нуждалась, как не нуждалась и в милиционере.

«Когда человек не работает, откуда же Богу взяться?» — бабушка считала, что и попы нужны лишь бездельникам, чтобы как-то примирить бездельника с Богом. По ее выходило, что Бог помогает только в работе, потому и говорят люди: «Бог в помощь».

Энциклопедия меня не вдохновила совсем, но и не обескуражила. Приятнее

спрашивать и выслушивать ответы. Вопросы и ответы людей сближают, даже равняют, и, как это ни странно, задавание детьми бесконечных вопросов в большой степени хитрость и способ самоутверждения.

Но перед бабушкой открылась вдруг бездна. Сверкающий океан слов, в который она вошла так радостно, превратился вдруг в трясину, безжалостную к скудному разуму.

Бабушка моя была гордая, но тут она сразу же запросила помощи у Афины. И Афина протянула ей руку.

Афина сказала бабушке, что энциклопедию трогать не нужно, но обязательно нужно уже начинать читать. И лишь когда существо какого-нибудь слова будет играть исключительно важную для понимания всей вещи роль, лишь тогда можно обратиться к энциклопедии. Но и то лучше спросить. Энциклопедия — это инструмент. И чтобы пользоваться инструментом, нужны соответствующие навыки, более того — квалификация.

Умная была наша Афина. Бабушка ее любила. И Леандра любила, но почему-то жалела. Я ее жалость к людям чувствовал сразу же, как собака.

Самсон Уткин съехал от бабушки незадолго до окончания нами ликбеза. Обещал прийти на торжество, да уже не пришел.

В тот день все были снова нарядны, снова как бы после бани. Леандр в пиджаке. Елена Николаевна в жакете в полоску и длинном белом шарфе. Одевалась она красиво.

Всех поздравили с окончанием курсов, всем выдали документ и памятный подарок. Отличникам, в их числе моей бабушке, дали отрез материи: женщинам — ситец на платье, мужчинам — сатин на рубаху. Мне ничего не выдали. Но!..

Афина подозвала меня к доске, объяснила, что хоть я на корабле ликбеза заяц, но тем не менее успехи у меня налицо и я тоже могу гордиться. И поскольку нет фондов мне на подарок от ликбеза, она согласилась торжественно, при всем честном народе, преподнести мне подарок от моей бабушки Екатерины Петровны, так как нельзя, чтобы в такой день, радостный для всех, я был угрюм. Она вынула из своей сумки пакет, развернула папиросную бумагу и вручила мне коробку цветных карандашей из «Торгсина», купленных на сдачу от той серебряной ложки. От себя она дала мне большую конфету с турком на фантике.

Все ликбезники подумали обо мне, все дали мне кто конфету, кто пряник.

Писатель Пе, когда я рассказывал ему эту историю, зловредно шевелил своими бледными пальцами, считая в уме, что же это за ложка была такая, что на нее столько всего купили. А ложка была нормальная. И цены, я полагаю, тоже были нормальные. Подсчитаем — возьмем хотя бы по нынешним ценам. Поскольку в «Торгсине» платили благородным металлом, цены там высокие не были. Тетрадка, хоть и голландская, — 20 копеек. Крупа гречневая, пакет — 50 копеек. Двести граммов топленого масла — 76 копеек. Круг чесночной колбасы по рубль пятьдесят за килограмм — 500 граммов — 75 копеек. Коробка цветных карандашей — один рубль. Итого: 3 рубля 21 копейка. Что же ты, несчастный Писатель Пе, думаешь, что серебряная ложка моей бабушки не стоила этих денег? Если даже брать по нынешним ценам, по 120–130 рублей за ложку.

Вечером Афина пришла к нам, будто вымокшая под осенним дождем. Кроме нее мы ждали Самсона с шоколадными конфетами. Афина улыбнулась нам как-то жалко. И глаза ее, и лицо ее были в обмороке.

Бабушка вязала носки из простой шерсти.

— Сейчас, — сказала она. — Вот Самсон явится, чаю попьем с конфетами, ишь басурману сколько конфет надарили. — Басурман — это я. Афина не шевельнулась. — Никак ты ребенка ждешь? — спросила бабушка.

— Жду, — прошептала Афина. — Самсон покончил с собой…

Перед энциклопедией бабушка робела, а перед смертью нет. Она посмотрела на Афину поверх очков долгим странным взглядом и бросила клубок шерсти ей под ноги. Посидели. Повздыхали. И вдруг бабушка этак обыденно говорит:

— Елена Николаевна, глянь-ка, у ног-то у твоих мышь вертится.

Афина глянула под ноги, взвизгнула и, подпрыгнув, загородилась стулом. Потом вскрикнула, схватилась за бок и села на пол.

— Теперь все, — сказала бабушка. — Теперь не бойся. Идем в ванную. Кончен бал.

Кусок дуранды наполнил меня запахом детства. Собственно говоря, пахуче лишь только детство, вся остальная жизнь запахами не богата.

Я грыз твердый жмых, соскабливал зубами с его неровных боков микрон за микроном сытный отупляющий запах. А когда уставал грызть и отдыхал на спине лежа, вспоминал бабушку. Запах льняного масла у меня связывался только с ней. Цвет льняного масла — с избой, где я родился и рос до двух лет.

Стояла она наверху холма-тягуна, прямо посреди ржи. И двенадцать яблонь, все, как одна, антоновки, все мне ровесницы, тоже стояли во ржи.

В начале войны я по причине пренебрежения мной как воинской силой для быстрого разгрома псов-рыцарей поехал в деревню. Был я в деревне своей в сознательном возрасте дважды.

В этот раз мой дядюшка со стороны отца, дядя Степа, сказал мне:

— Не знаю, как дела сложатся, не хотел бы ты посмотреть свою избу?

Эта мысль мне в голову не приходила — я был весь такой городской, такой многоэтажный.

Стояла изба на краю деревни, опаханная со всех четырех сторон, поскольку приусадебная земля тоже была колхозная, а хозяйственные постройки, хлев да сарай, дядя Степан разобрал для каких-то колхозных нужд, был он истый колхозник. А я, если вдуматься, избы своей вроде стеснялся.

— А ты зайди. Ты в ней родился, — говорил дядя Степан. — Она светлая.

К избе сквозь рожь вела тропка к крыльцу. Дядя Степан открыл висячий замок. Дверь заскрипела — в деревнях все двери скрипят.

Пустые сени — чистые. Тесовая тяжелая дверь в горницы. Отворили ее, даже как бы смущаясь, будто там нас давно ждут. Изба была медовой. Нет, не медовой — цвета текущего с ложки льняного масла. Печка была белая-белая.

— Я специально окна не заколачиваю, — сказал дядя Степан. — Приду, постою тут — как умоюсь. Это я вашу избу рубил. Не закоптилась от жизни, не замаралась. Временем позолотилась — солнцем.

Я в избу, внутрь, не пошел, постоял на пороге — что-то сдавило мне грудь. Наверное, понял, что я деревенский — от этого дерева ветка. И весь город Ленинград от этого дерева — от новгородской земли. И теперь, когда я вспоминаю ее, свою избу, стоящую поперед всей деревни во ржи, и вокруг нее двенадцать яблонь — все мои ровесницы, так сладко и так шипуче, прямо антоновка на вкус, разливается что-то в груди моей. После войны вернувшийся с фронта отец избу продал, ее увезли на станцию Кафтино. Дядя Степан с войны не пришел. Теперь нет у меня избы — есть только память. И дяди нет деревенского. Только его слова: «Временем позолотилась».

А тогда, в блокаду, изба еще была. Я о ней думал. Я скоблил зубами дуранду и все вспоминал: и маслобойню, и мельницу. Но сильнее всего бабушку, цедящую

в свой овсяный кисель льняное масло, которое она покупала на рынке.

Я масло иначе ел. Наливал его в блюдце, сыпал в него горку соли и макал хлебом. Для этой еды следовало приготовиться: закатать рукава повыше да подложить ветхое полотенце под локоть или чистую тряпку. Масло текучее, по руке быстро к локтю бежит. И с подбородка капает. Бабушка, когда вместе со мной макала, тоже рукава закатывала.

Запах дуранды был таким сильным, что я не задремывал, нет, я просто, лежа, падал в обморок. Мне хотелось стать маленьким, мне хотелось макать хлеб в масло, мне хотелось, чтобы я снова спал раздетым…

Рост императора Наполеона равнялся одному метру пятидесяти сантиметрам. По русской мерке — с каблуками вместе — два аршина да два вершка. Мой рост был метр десять, бабушкин — метр семьдесят. Мне до Наполеона дорастать было ближе, чем до бабушки. Бабушка пометила рост императора карандашом на косяке двери, и я пустился расти. Даже ночью подбегал измеряться.

Произошло мое пристрастие к Наполеону Бонапарту из библиотеки Смольного и из бабушкиного табу к сыновьим вещам.

Читать нам нужно было, и как можно больше. За дверью в дядюшкином кабинете шкафы, набитые книгами, — читай. Нет, бабушка отправилась, прихватив и меня, в Смольный, в библиотеку. Жили мы рядом, в доме номер пять по Смольному переулку, а библиотека в Штабе Революции была открыта для всех трудящихся.

Бабушка отдала библиотекарше паспорт, узнала ее имя-отчество для вежливого обращения и попросила ее выбрать книгу про жизнь.

Библиотекарша дала бабушке книгу под названием «Угрюм-река». Название нам понравилось. И мы, очень довольные и нетерпеливые, пошли домой. Дома, попив чаю, сели читать.

Читали мы вслух — про себя не умели. Читали долго. Уставали. Но, отдышавшись и еще попив чаю, пускались по пути трудному, останавливаясь, возвращаясь и удивляясь каждый своему.

Я не накапливал книг, но они сами накапливались. Однажды я почти раздал все книги. Частично в библиотеки, частично любителям. Частично их у меня зачитали, частично их у меня украли. Но осталось все же довольно много всяких. Но «Угрюм-реки» у меня никогда не было. После бабушки я ее не читал. Живет во мне с той поры ощущение заката над лесной землей, где корявые люди старого режима душат друг друга и швыряют в ресторане золотой песок.

На вершине кедра в деревянной колоде лежит мертвая, но живая бурятская, а может, тунгусская колдунья — красавица, которая хочет высосать кровь из красавца Прохора, как паучиха из мотылька. А чеченец с черными и в то же время огненными глазами, Ибрагимка, кричит гортанно: «Стой! Црулна! Стрыжом, брейм. Пэрвы зорт!» — и грозится кого-то зарезать. А Анфиса идет нагая по снегу из бани — красавица в лунном свете. Ее длинные распущенные волосы прикрывают ей плечи и белую грудь. Прошка хочет выскочить из окна ей навстречу, чтобы целоваться. Но Ибрагимка убивает из двустволки их обоих и уходит в глухую тайгу.

Вот такая картина. От нее и сейчас у меня замирает сердце.

Бабушка воспринимала книгу строго. Книга как бы угнетала ее, пробуждала в ней что-то мне незнакомое, мрачное и недоброе.

Глаза у бабушки уставали быстрее, чем у меня, но она все же была усидчивее. Я был, по ее мнению, верченый. Когда наступала ее очередь читать, я или под стол лазал, или вокруг ее стула на четвереньках ходил, но все слышал.

Вскоре случилось у нас первое недоразумение. Когда я дошел в своем чтении до описания обнаженной женской груди, бабушка пробурчала:

— Это тебе еще рано, — придвинула книгу к себе и принялась читать сама. Но поскольку читать про себя она еще не умела, а только вслух, описание груди и чего-то еще я выслушал и высказал свое мнение в таких выражениях:

— У моей мамы титьки здоровее.

Бабушка схватилась за полотенце. А я заорал уже из-под стола:

— Ты меня в баню с собой не води. И мама приедет, пускай не водит. Я уже грамотный…

Места, недозволенные, по мнению бабушки, моему незрелому пониманию, попадались все чаще. Бабушка решила запираться от меня в кухне и открывать кран, чтобы вода в медной раковине шумела. Но и оставлять меня одного надолго было нельзя — разобиженный, я мог проникнуть в дядюшкин кабинет и учинить разор в книжных шкафах. Так бабушка, думаю, пришла к мысли о существовании книжек для ребят.

— Есть, наверно, книжки про ангелов, — говорила она мне.

— А на фиг? — это был мой ответ.

«Угрюм-река», которую мы все-таки прочитали вместе, подходила к концу.

Бабушка волновалась — новая библиотечная книга могла оказаться еще откровеннее. Я же, набираясь ума, с каждым днем наглел. Я уже спрашивал бабушку: «Отгадай загадку, разреши вопрос: что стреляет в пятку — попадает в нос?» Меня нужно было остановить.

Бабушка ждала Афину. Афина бы помогла. Но она у нас больше не появлялась.

Мы, волнуясь, направились в библиотеку.

Для себя бабушка опять попросила про жизнь, для меня — про ангелов.

— Про жизнь ему скучно, — слукавила бабушка.

Библиотекарша дала для бабушки книжку «Король-уголь», для меня «Отечественная война 1812 года», размером в половину стола, изданную то ли Марксом, то ли Вольфом. Обложки толстые, тисненные золотом, бумага мелованная, картинок и фотографий — тысяча.

И я увлекся Наполеоном.

Русский царь мне не понравился. Наши великие полководцы хотя и большой отваги люди, но все дворяне — князья да графы. А Наполеон из простых, с бедного острова Корсика, личным умом и храбростью достиг императорского чина и, главное, роста был небольшого, что обнадеживало. Правда, сделал Наполеон ошибку — попер на Россию. А надо было ему разжигать пожар мировой революции.

Я ходил, скрестив на груди руки, надувал живот и глядел на бабушку исподлобья. Вот тогда бабушка и сказала:

— Наполеон твой любезный — два аршина да два вершка. Разве с таким ростом на Россию ходят?

— Насчет России он сплоховал, — соглашался я. — Роковая ошибка гения.

— Гений, а не построил ни одного города. Бандит он с большой дороги. Царь Петр сколько городов построил. Царь Александр Великий тоже. Следующую книгу возьмем про царя Петра. Большой уже, пора мудреть.

Вскоре я заметил и то, что бабушка без должной радости относится к празднику Великой Октябрьской революции. Я спросил — почему?

— А сколько сгубили душ? А сколько погубят еще? — сказала она.

И я понял, что бабушка старая, а я молодой. И мы оба с ней разные.

Теперь нас с бабушкой связывала не общность интересов, но только сердечная приязнь, согревающая изнутри, как чай с мороза.

Затухают в памяти образы великолепных цветов и нарядов, угасают запахи шашлыков и бананов. Остается вкус льняного масла и бабушкиной овсяной каши, поджаренной до прозрачности каждой отдельной крупинки. Рис такой прозрачный я потом едал, овсянку нет. Не вижу. Не попадается.

Меня всегда преследовала боязнь вспугнуть детство. Птица иволга улетит из моего леса, ее место займет расторопная птица сорока.

Моего отчима, рыжего летчика, по какой-то причине посадят в тридцать седьмом году вместе с еще тридцатью командирами. Фабрику «Ленжет» переименуют в «ТЭЖЭ». Дядюшка мой вернется из-за границы, произойдет смена дипломатического аппарата, связанная с подписанием пакта с Германией. Время быстро помчит меня к тому дню, который навсегда разлучит меня с бабушкой. Только какой это день? Ясно одно — в самом начале марта сорок второго.

Когда я вернулся с войны, бабушки уже не было. Она умерла не дома. И никто не знает, как она умерла. Дядя пытался узнать, его в войну в Ленинграде не было. Ему говорили — ушла. И по всему было видно, что она спокойно собралась и куда-то пошла — и путь предстоял ей не близкий.

И вдруг я понял, куда пошла моя бабушка. Отчетливо, будто всегда это знал.

Она шла ко мне в начале марта 1942 года. По уже пробуждающемуся к жизни городу.

Она шла ко мне, умирающему.

— А куда же еще. Конечно, к тебе. Не умирай. У меня с собой горсть овсянки… Кстати, ты не знаешь, Гитлер какого роста?..

В моем рту было тесно от запаха льняного масла, но ждал я не бабушку, я ждал Наталью.

Демобилизовался я осенью. Писатель Пе уже был в Ленинграде и даже успел мне письмо написать. Его приняли в университет, он в Уфе почти закончил десятилетку — ему оттуда справку прислали взамен аттестата.

Последнее время мы числились в агитбригаде. Мы ее создали. После гибели Паши я не мог дудеть на трубе — как задую, так у меня горло стискивает. Писатель Пе прорезал свой барабан ножом. Капельмейстер нас понимал — он

был музыкантом от Бога.

Мы нашли в бригаде скрипача, аккордеониста, танцора-чечеточника, певцом взяли Шаляпина, он уже умел одну песню петь почти правильно. И еще был певец, грандиозно самовлюбленный вьюнош из Витебска — тенор. Когда он пел, он глаза закрывал. Когда проходил мимо стекла, будь то окно или застекленная дверь, он останавливался и начинал какие-то странные телодвижения, словно надевал свое отражение на себя и разглаживал его и прихорашивал. Пианисткой до самой моей демобилизации была у нас Старая немка. Она к Шаляпину привязалась и нас с Писателем Пе уважала.

Агитбригаду мы сколотили, программу срепетировали, и выяснилось, что мы с Писателем Пе оказались лишними, даже мешающими. Ничего концертного мы не умели.

Молодой акробат, был у нас такой из нового пополнения, сказал мне со спокойной ухмылкой: «Теперь тебе только в дерьмокоманду идти, гальюны чистить. Ни на что-то вы, герои, теперь не годитесь».

Я взял его за ворот, но он, опять же спокойно, ударил меня справа в челюсть. Я упал на колени.

В голове у меня кружились золотые нимбы всех отлетевших ротных святых. Эти нимбы каким-то своим вращением бессловесно объяснили мне суть моей ситуации и желательный рисунок моего поведения. А рисунок был такой, что я ни в коем случае не должен был умыться, но победить! — разгромно, иначе я мертвый, и все, кто ушел, мертвы. А у героев смерти нет. И именно это нужно было мне показать. Недаром я вырос на улицах ленинградской Гавани, района бедного, но гордого. Акробат был, конечно, сильнее меня и не трус, и ловкостью обладал и цинизмом. Но был все-таки акробат, я же тогда был еще солдат — еще умел идти до конца.

Кулаками мне было его не свалить. Я начал как бы с трудом медленно вставать, прием испытанный и непогрешимый. Акробат смотрел на меня в презрительной расслабленности. Но тут я вздохнул, распрямился в едином взрыве всех мускулов. Правильно проведенный удар головой в подбородок бывает страшен. Когда акробат, лязгнув зубами, начал валиться вперед, я ударил его ребром ладони по шее.

Есть разные акробаты. Есть великие. Этот великим не был; придя в себя, он стал отползать на заду, всхлипывая, опасаясь, что я ударю ему башмаком в лицо. Он нас презирал, и поэтому он не знал, что по нашим законам бить лежачего не полагалось, ногой тем более.

— Если я и буду вывозить дерьмо, то первым я вывезу тебя, — сказал я ему. — Надеюсь, ты пойдешь пахнуть в свою роту.

Акробат собрал мешок и ушел.

— Жаль, — сказал Шаляпин, ни к кому, собственно, не обращаясь. — У парня был неплохой номер.

Но музвзвод и вся культбригада, я это чувствовал, были на моей стороне. Более того, они даже гордостью какой-то преисполнились.

— Может, нам Зощенко наизусть читать — юмор, — предложил я Писателю Пе. — Или, знаешь, бывают такие скетчи.

— Давай научимся бросать ножи. Это нам как-то ближе.

Ситуацию разрядил все тот же майор Рубцов.

Вызвал он Писателя Пе и показал ему письмо, где на машинке было напечатано, что его, Писателя Пе, «студента второго курса Ленинградского юридического института, на факультете помнят и ждут».

— Поезжай, — сказал майор Рубцов. — Желаем тебе успехов в учебе и дальнейшей жизни.

— Как думаешь, откуда такое письмо? — спросил у меня Писатель Пе.

— Майор состряпал, — сказал я. Я тут же обнял Писателя Пе, руку ему потряс, воскликнул с радостным воодушевлением: — Поезжайте, товарищ Пе. Скатертью дорога. Ученье — свет, а неученых — тьма.

Писатель Пе умотал. Перед отъездом ему выдали благодарность, подписанную маршалом Жуковым, и мы проводили его — и музвзвод, и агитбригада. Он даже в разведроту сходил, но там, кроме нашего шофера Саши, уже почти никого знакомых не было.

Вскоре и меня вызвал майор Рубцов.

— У тебя сколько ранений? — спросил он.

— Два.

— А это? — он подал мне бумагу, где говорилось, что контузия, которую я перенес, должна категорически расцениваться как ранение, причем тяжелое.

— Оказывается, ты контуженый, — сказал он радостно.

— Так точно, — ответил я по уставу громко, не мог же я не доверять официальному документу медсанбата.

— Два ранения плюс обширная контузия. Выходит, мы должны тебя демобилизовать. Да ты не огорчайся. Меня вот тоже направляют в Москву, в Академию. Жалко оставлять войско. Но и в Академию надо, образование надо командирам.

Он так и говорил — «акадэмия». Даже в бане можно было бы определить в нем военного, более того — майора.

Я думаю, майор Рубцов стал генералом. Подчиненные его любили, дети и внуки любили, мы с Писателем Пе тоже. И все солдаты нашего полка — именно полком майор называл нашу бригаду — его любили.

Меня задерживали из-за шинели. На складе не было шинелей. Наконец нашли какую-то: пола кровью залита, задубела — не отстирать.

Разведчики подарили мне новый велосипед, чтобы я хоть с чем-то ехал домой, написали бумагу, что это подарок. В культбригаде со мной попрощались торжественно. Старая фрау пожелала мне покоя и счастья. Сказала, что Эльзе уехала жить в Берлин. Вместе с Шаляпиным мы сходили на бугор к Егору и Паше. Посидели там на теплой земле. Осень уже размешивала охру в своей колеровой банке.

Кто меня удивил — капельмейстер. Он подарил мне трубу. Нет, не свою, конечно, но тоже красивую.

— Она будет напоминать вам о ваших погибших товарищах, — сказал он. — Вы могли бы стать трубачом.

Почему он сказал «погибших», а не «музвзвод»? В звуке трубы есть что-то конечное, после чего возможны лишь райские голоса. Это я и тогда понимал, и теперь именно так понимаю. И никаких сурдинок терпеть не могу. Сурдинка в трубе — как свисток в устах Бога.

Отбыл я.

В Берлин нас привезли на «студебекере». Там стоял состав пассажирский. Какой-то сержант-армянин, обремененный чемоданами, узлом, солдатским мешком и картонным ящиком, предложил мне занять с ним на пару тамбур: «Шикарно! Отдельное купе, вах!»

Это было действительно шикарно. Ни вони, ни водки. Велосипед я поставил к двери — поперек тамбура. И мы завалились, постелив шинели.

Я опускаю мелочи, куда входит суматоха, радостное сердцебиение и беспокойство армянина. Он все время вскакивал, все обхватывал себя за плечи, как будто замерзал. Наверное, он был железнодорожник или очень хитроумный человек — у него был железнодорожный ключ. Он запер им все двери. Теперь рожи, прижимавшие носы к стеклам, нас не волновали.

Но на каждый хитрый ум есть ум еще хитрее. Как говорят, с винтом.

Мы проспали всю Германию. И в Польше тоже спали. Составы с демобилизованными по Польше пытались прогонять без остановок. Мы поедим тушенки — и спать. По нашему расчету выходило так: вот мы проснемся — и уже граница или где-то совсем рядом.

Был день. И небо было незамутненное синее, и в щели пробивался запах угольного дыма, запах серы, от которого становится кислой слюна.

У разведчика сон чуткий. Но в этот раз сон мой каким-то образом наложился на явь, и потому проснулся я не мгновенно… Но сначала нужно сказать о нашем расположении в тамбуре. Поперек у двери стоял велосипед. Он стоял плотно — едва вошел. У стены, где дверь в вагон, стояли чемоданы армянина. Прижавшись к ним, спал армянин. Звали его Армен Мунтян. Мне оставалось довольно много места. Сон я видел такой. Мы с Егором взбираемся по металлической пожарной лестнице на крышу дома, где-то у беспрерывно грохочущей железной дороги. За домом стоят немецкие самоходки «фердинанды». Мы идем их сжечь.

Но откуда этот шуршаще-скрипучий звук возле уха, словно кто-то потихоньку шаркает подметкой. И ветер в голову — ведь дверь закрыта на железнодорожный ключ.

И вот я вскакиваю. Мгновенно. Грудью к двери. Руками упираюсь в стены тамбура. Передо мной, за велосипедом, двое: парень-блондин лет двадцати пяти, мальчик лет пятнадцати. Дверь открыта. Мунтяновых вещей нет. Парень и

мальчик смотрят на меня какую-то секунду. Но этой секунды достаточно. Я упираюсь в стены тамбура руками еще сильнее — ногой бью в раму велосипеда. Велосипед срывает их с подножки — парня и мальчишку — кто-то из них кричит. И тут я чувствую удар по руке. Вижу вскочившего Мунтяна. Он дик. Толкнув меня, он прыгает из тамбура не как принято, чтобы не разбиться, но отчаянно, грудью вперед, как в воду. Я тоже вываливаюсь, но успеваю ухватиться за поручень.

Поезд идет по дуге, по высокой насыпи. Насыпь очень высока, как щебенчатая дамба. Катятся по щебню вниз Мунтяновы чемоданы, белокурый парень и мальчик. Их переворачивает, протирает лицом по щебню, выворачивает шеи. И Мунтян! Его еще не крутит — он пашет щебень грудью, роет его подбородком. Вот ноги его задираются, спина ломается дугой — все круче, круче. И вот он отрывается от щебня, переворачивается и падает на насыпь уже мешком.

Мне холодно. Я залезаю в тамбур. Поезд все идет по дуге. И я все не отрываю глаз от этих трех тел — теперь они неподвижно лежат на сером щебне. Паровоз протяжно гудит, наверно, машинисты видят эту чудовищную акробатику, но остановиться здесь нельзя. Да и зачем? Я достаю из своего мешка футляр с трубой. Мунтянова мешка на полу нет. Он прихватил его с собой. Трубить-то я могу, недаром я так старательно осваивал тенор. И я трублю…

Потом я принимаюсь есть тушенку…

Сейчас иногда, во время еды, неважно где, дома ли, в гостях ли, опоясывает меня щебенчатый высокий откос. Я слышу крик паровоза и хриплый голос трубы. В такие минуты мне говорят:

— Наверно, вам нехорошо. Вы поперхнулись? Выпейте воды…

Когда у человека каждодневная забота перестает быть регулятором его живого времени, прошлое вдруг надвигается так выпукло, так изумительно, что начинает казаться, будто живешь ты в двух направлениях времени или смыкаются на тебе витки непостижимой спирали. От этого одышка и пот на лбу.

До Бреста остановки не было. В Бресте я сообщил о происшествии в комендатуру.

Армен Мунтян был последним погибшим на моих глазах солдатом. Подчеркиваю — последним на моих глазах.

Поскольку в моем повествовании это место самое подходящее по настроению, скажу, что нашего шофера Сашу застрелил в октябре немец-старик. Саша зашел к нему в сад и сорвал яблоко. Немец влепил ему хорошую мерку дроби в

шею под ухо. Шаляпин демобилизовался через полтора года. И его мать, и его сестренка младшая вроде были ему и не рады. От соседей он узнал, что местный кегебист шантажировал его мать тем, что Шаляпин, мол, в плену был и стоит только ему, кегебисту, захотеть, как Шаляпин загремит в лагеря, невзирая на орден Славы, который он получил. Кегебист склонил мать Шаляпина к сожительству. Говорят, подбирался и к сестренке — студентке техникума. Шаляпин поехал в Ростов, где тот кегебист тогда пребывал на высокой должности, и застрелил его.

Дали Шаляпину десять лет. Но он так и не объявился более.

Писатель Пе говорит мне, что в моем повествовании уж больно много смертей. А если, мол, прибавить сюда солдат, погибших в сражениях, только из нашей войсковой части, — что же это получится? Много, говорю, получится. Но, говорю, твоего буйного воображения не хватит, чтобы погубить двадцать миллионов душ, тут, говорю, нужно иметь особый дар и особое предназначение. А если, говорю и подчеркиваю, прибавить к двадцати миллионам душ еще столько же…

— И не говори, — говорит. — Ох, — говорит, — лучше быть музыкантом. Музыка скорбит вообще.

Отвечаю ему:

— Ты уже был барабанщиком.

Я засыпал под гудение печурки и просыпался с криком: «Наталья!» Крик был беззвучным. А Натальи не было. Глазам моим стало легче. Хлеба прибавили. Люди на улицах убирали снег. Жизнь в Ленинграде повернулась к жизни. Но гораздо чаще, чем в январе, можно было встретить женщин, везущих куда-то своих мертвецов. Наверно, были такие пункты, где мертвецов оставляли и регистрировали.

Мне было очень трудно ходить, я растянул паховые кольца. В детстве мне говорили: физкультурник — растягивайся, делай шпагат, но я считал это делом дурацким — больно умен был. Бабушка мне говорила: «К твоему бы уму да еще столько, было бы с чего начинать». На нее я не обижался.

Я смотрел на «Галактику», она совсем закоптилась, но я был уверен, что именно она каким-то таинственным образом навела Наталью на мое жилье, она послала ей «SOS».

Как подняла Наталья в свой первый приход светомаскировочную бумагу, так я ее больше и не опускал. Свет шел в окно. Лед на окне был невиданной толщины

— во всю ширину подоконника. Начинался он чуть ли не из-под форточки; сначала прозрачный, он постепенно утолщался, затем вдруг начинал бугриться, как бы кипеть, засасывая в свои холодные пузыри копоть и сажу. С края подоконника свисали сосульки. Когда топилась печурка, с них обрывались капли. Упав на пол, они замерзали. Лепешки мутного белого льда наросли на полу. Я попытался счистить их тесаком — сил не хватило, только верхушки сбил.

На улице было солнце. Слепящее. На улице сверкал март. Мне казалось — я слышу первую капель. Мне казалось — в небе летают птицы.

В тот день я шел из булочной. Залез на свой третий этаж. Отдышался. И увидел приоткрытую дверь к старику соседу, которого я встретил на чердаке. Он меня недолюбливал: я пнул ногой кошку — легонько, но все же ногой. Наверно, кто-то вошел к старику и тут же выскочил, впопыхах прикрыв дверь неплотно. И что-то потянуло меня к тому старику, Яну Карловичу — вот как его звали.

Ян Карлович был парикмахер, толстый, рыхлый, с большими белыми руками. Его отвислые щеки дрожали, когда он бранился. Бранился он почти каждый день — предметом его ярости были мальчишки-птицеловы. Тогда почти все в нашем доме были птицеловами. Птиц ловили на Смоленском кладбище и в пригородных парках сеткой. Их покупали, меняли: чижей на чечеток, чечеток на синиц, синиц на снегирей. Только воробьев не ловили: воробей хоть и сер, и прост, но в неволе не живет — гордая, по сути, птица.

Ранним утром, когда начинали звенеть будильники, Ян Карлович выходил на улицу и неподвижно стоял, что-то пришептывая и посвистывая. На его плечи садились птицы. И воробьи тоже. Они клевали семена с его ладони. А он стоял — добрый.

В начале войны Яна Карловича арестовали по подозрению в шпионаже. Неделю продержали, где следует, и выпустили. Так и не укоренились вспыхнувшие о старике слухи, что вот, мол, фашист проклятый: добрым прикинулся, а сам вредил, в парикмахерской сведения собирал, там все поговорить любят.

То, что его выпустили, сделало Яна Карловича еще более загадочным.

Я потянул дверь на себя, она пошла без скрипа. Он никогда меня к себе не приглашал, именно это меня смущало, делало мой поход каким-то неправедным. Незваный гость хуже татарина — говорят. Я вошел в закопченную кухню. Желтые пятна на штукатурке, сырость, уныние от бесполезности кастрюль, мисок, широкой плиты, висящих на стене сечек, шумовок и молотка для отбивания мяса. И пыль… Из кухни узкий коридор вел в комнату квадратную, метров тридцати. Комната сверкала, несмотря на грязь и копоть,

на стоящую посередине ржавую печурку. Сверкали радуги, осколки радуг, пронзительные искры радуг. Неподвижно сверкали. Комната была заставлена аквариумами и фикусами. Листья у фикусов побурели, поникли. В аквариумах стояли, тараща глаза, золотые рыбки, вуалехвостки, и черно-оранжевые драконы, и какие-то еще синие-синие. Они смотрели прямо на меня. Это был лед. И вода — лед, и рыбки — лед. Ровные и прекрасно-прозрачные кристаллы. Я ощутил холод из окна. Была распахнута вся половинка.

Лед стекал с середины стекла, наслаиваясь буграми, торосился на подоконнике и свисал с подоконника сосульками.

Над аквариумами висели клетки для птиц. Дверки клеток были распахнуты. Ян Карлович выпустил их, когда еще было тепло. Они погибли — у него же не было вольных птиц, только канарейки и волнистые попугайчики.

И неподвижный Ян Карлович в плюшевом кресле. Я смотрел на него, и он смотрел на меня. Он сидел с непокрытой седой головой, на его лице с обнаженными в улыбке искусственными зубами темнели полосы сажи. Глаза его покрыл иней.

Я попятился. Я и на лестнице пятился. Потом повернулся и быстро, насколько позволяли болевшие ноги, заковылял к себе в квартиру. Двери я не запирал на ключ. Я их и до войны-то не запирал.

В моей комнате у печурки сидела Наталья, перелистывала книжки, оставленные мной на полке. Полка была не книжная, на ней когда-то стояли слоны — двенадцать слонов из уральского камня, подаренные маме на какой-то ее день рождения. Полку сколотил я. Это была приличная полка, как мне казалось, с деталями от какого-то старинного шкафа. Наталья ее расколола тесаком австрийским, времен империалистической войны, я им тоже дрова колол. Нужно сказать, подобное оружие — тесак, или штык-кинжал, или морской кортик, — было у половины жильцов нашего дома в кухонном обиходе. Потом они исчезли. Все — вдруг.

— Ты почему эти книги не сжег? — спросила Наталья. — Все сжег, а эти оставил?

— Это Колины.

— Я так и подумала. Я Чехова тоже люблю. — Наталья тряхнула волосами. Было как-то чудесно видеть блестящие, чистые, густые волосы. — Я их возьму себе. Вернешься — заберешь. Будет у тебя, с чего новую, послевоенную жизнь начинать.

— Куда вернусь? — спросил я.

Наталья протянула мне листок, это был эвакуационный документ. Напечатанный, как похоронка, на плохой бумаге… Сердце у меня сжалось и гулко застучало. Все эти дни, как звук часов, на которые не обращаешь внимания, но всегда слышишь, я нес в себе понимание неизбежности своей смерти. Я смотрел на «Галактику» и искал себе место там, в каком-нибудь скоплении космической пыли. Когда умираешь неспешно и в сознании, то весьма тоскливо соглашаешься с процессом гниения и распада. И может, все же улетает душа?

Я держал эвакуационное удостоверение и улыбался.

— А я-то думала, ты откажешься, — сказала прямодушная Наталья. — Думала, будешь молоть: «Я ленинградец и не покину!» Нужен ты тут такой…

— Я бы и не покинул, — сказал я. — Но я на фронт хочу.

Наталья оглядела меня внимательно, правая ее бровь высоко задралась над озорным глазом, чтобы не рассмеяться.

— Просись в разведчики, — сказала она. — Там силачи нужны.

Ну а я что мог сказать ей!

— Смейся, — сказал я. И она засмеялась.

Работала она в каком-то воинском подразделении, не говорила в каком, но, наверное, солидном.

— Без меня не ходи, — сказала. — Не дойдешь. Ты слышишь? — Она повысила голос. — И перестань, пожалуйста, фокусничать! Отвезу тебя на Финляндский вокзал, тогда душа у меня успокоится. Не надо, не глупи, а? — Она повязала платок, опоясалась поверх шубейки широким офицерским ремнем. — Я бы сегодня тебя отвезла, да времени у меня в обрез. — Она поплевала на свой носовой платок, потерла мне щеку и удивилась, что на платке нет сажи. — Ты умывался? А где у тебя мыло?

— Нет мыла, — сказал я. — Щелок делаю из золы. Еще бабушка научила. Он не для умывания, конечно, для стирки, но и лицо помыть можно, и шею.

Она поцеловала меня в щеку.

— Жди меня, — сказала.

Но я ее ждать не стал.

Как только она ушла, лед Яна Карловича остудил и мою комнату. Я понял, что обрек себя на смерть сам, позволив себе остаться таким одиноким, — по существу, один на один с Блокадой. Надо было искать людей, надо было к кому-то прижиматься. Даже ругаться и буянить. Перейти на «Севкабель» — там казарменное положение. Записаться в МПВО. Наверно, слишком большую долю в моем выборе играли моя волевая мать и мой старший брат. Моя же воля, не растраченная на упорный и трудный путь, побуждала меня лишь к активному балбесничанью, дракам, футболу и борьбе с застенчивостью — самой, пожалуй, трудной задачей из всех тогда стоявших передо мной.

Ян Карлович не пожелал увидеть умирание своих пучеглазых рыб. Как он их кормил все это время? Наверно, менял свой хрусталь или даже хлеб на мотыля и дафнию у знакомого продавца зоомагазина. Сколько сюжетов, неожиданных и невообразимых, можно отыскать в блокаде, если рассматривать ее все же как жизнь, а не только как массовый героизм и не как явление тривиальных ужасов, пугающих воображение.

А я ждал чуда. И оно пришло, им оказалась Наталья.

И я понимал, что явление одного и того же чуда дважды и трижды переводит жизнь в некую логику театра, где все чувствительно до слез, но все же за плату. Я боялся этого больше всего. Мне не хотелось, чтобы Наталья привезла меня на Финляндский вокзал, подвела к нужной двери и помахала мне ручкой.

И я пошел. Нет, я прибрал в комнате. Подмел. Написал Наталье записку. Мол, спасибо тебе. Обними девчонок. Хотел приписать «Целую», но не посмел.

Я опять вышел утром — правда, не так рано. Свет уже разгорелся, и всюду было сверкание. Город в косых крестах. Косой крест — символ жизни. Правда, я тогда не знал этого.

В булочной на Стеклянном рынке я выкупил свой хлеб. Хлеб стал лучше… Люди обгоняли меня, и я обгонял кого-то.

Не помню, вернулись в Ленинград сразу же после блокады лошади? Кошки, собаки и всякая тварь живая — рыбки и птички — да, но лошади? Лошади вроде нет.

Я снова шел мимо игуанодона и даже попрощался с ним.

Где-то на углу Восьмой линии понял, что мне будет труднее, чем я предполагал. Начали болеть ноги в паху и очень сильно дрожать колени. Приходилось то и

дело останавливаться на секунду-другую. Но все же я шел — продвигался. Так же примерно, как в конце февраля с карточкой. Теперь я совсем зажмурил глаза. На мгновение я размыкал веки — и прямиком в мозг мне врывался свет.

Шаги мои становились все мельче и мельче, чаще и короче становилось дыхание.

Я вышел к Тучкову мосту. В самом начале моста стояли двое — женщина в белом песцовом воротнике и белом, но очень грязном пуховом платке, и парнишка в модном тогда у парнишек теплом полупальто — может быть, мой ровесник. Еще далеко от них я услышал, как женщина кричала: «Ты пойдешь! Я говорю — ты пойдешь!» — «Нет, — говорил мальчишка. — Оставь меня. Иди одна. Я не могу».

— Нет, ты пойдешь! Пойдешь. Я тебя заставлю, — кричала женщина. И вдруг, мне это не показалось, хотя до сих пор мне думается, что это мое усталое воображение, дистрофический мозг породил химеру — женщина со всего маху ударила мальчишку по носу. У него дернулась голова. Глаза широко раскрылись. А из разбитого носа полилась кровь, какая-то нестрашная, алая-алая. Что-то не блокадное и в то же время ужасное было в этой сцене. Я вдруг вспомнил цвет крови на шпалах, когда немец-летчик застрелил дочку путейца. У парнишки на Тучковом мосту кровь была такая же яркая. А может быть, еще ярче, поскольку капли ее падали в белый снег.

Женщина вытащила платок, стала вытирать ему лицо и пальто. Паренек отворачивался. Глаза его гасли.

Когда я подошел, она мне сказала:

— Не хочет идти. Мы эвакуируемся. Умереть хочет. Нет, ты пойдешь! — снова заорала она, словно обрела у меня поддержку. Голос ее был истошным и диким.

— Он не может, — сказал я. Рядом с женщиной на санках стояла ручная швейная машинка в обычном фанерном футляре с ручкой. — Вы машинку оставьте. Бросьте ее. А его посадите. Он не пойдет. У него сил нет.

— А на что жить? — спросила женщина с испугом. И снова наполнилась гневом, и голос ее окреп. — На машинке я на жизнь заработаю. А милостыню просить — лучше тут сдохнуть.

— Он не пойдет, — сказал я.

Колени у мальчишки сильно дрожали. Вот они подломятся, он упадет в снег ина него сойдет блаженство, ему будет мягко, тепло и совсем безопасно.

Медленно, шаркая подошвами, я прошел мимо них. Я шел в гору, поскольку Тучков мост немного горбат.

У меня все обмирает внутри, когда мать или отец, особенно мать, бьют сына-подростка по лицу, — это все равно что бить кочергой по иконе. Тогда уж и не заводите богов. Я был бит матерью всеми предметами, она была горяча, могла швырнуть в меня будильником, ступкой, поленом, но она никогда не била меня по лицу. В глазах моих расплывались красные капли. Они окрашивали снег. Они окрашивали небо. И я понял, что не могу больше сделать ни шага. Ни одного, даже маленького, шажка. В движении участвуют не только ноги — весь организм, все его клетки. И сердце. И разум. И все это вдруг отказало. Сердце смирилось. Смирился разум.

Я облокотился на широкие деревянные перила Тучкова моста, от инея они были похожи на шершавый литой алюминий. Все в глазах у меня было розовым.

Мимо меня, глянув зло и затравленно, прошла женщина в белом пуховом платке и песцовом воротнике. На санках сидел ее сын, прижимал к носу платок. Мокрый от его слез платок был тоже розовым. В глазах у парнишки не было никакого чувства, они были погасшие. Он выживет и поправится, станет большим и сильным, но близкие так и будут называть его бесчувственным. Он стал недоступен вере и эйфории.

Я повернулся лицом к реке — поворотил свое тело движением шеи. Розовая пелена сходила с моих глаз. Небо снова стало синим, река белой. Вдалеке ее перечеркивал мост Трудящихся. Ростральная колонна казалась отсюда недомерком. И шпиль Петропавловки не блестел. Но главным на реке и на набережных был свет. Небо и воздух сверкали. Мне казалось, что я вижу каждую снежинку, зарождающуюся в небе, каждую снежинку, опускающуюся, как блестка, на снежный наст, и на мост, и на мои плечи.

Так я стоял долго. Коченеть начал. Но страха не было. И меня не покидало чувство, что вся эта солнечная мартовская иллюминация зажжена только ради меня. Я уйду — и все это погаснет. Вот сейчас подогнутся ноги, я сяду на снег, прижмусь к столбику перил щекой и виском, и уйду.

Она остановилась за моей спиной и спросила простуженно:

— Что это ты? — Потом повернула меня лицом к себе, приперла мои колени своим коленом, чтобы они не подломились, потом изогнулась как-то, но,

прижимая меня к перилам, зачерпнула пригоршню снега и сильно растерла мне лицо. — Я тебя помню, — говорила она. — Ты недавно за карточками приходил. Мы после тебя пошли в кассу, а Изольда уже померла. Я тебя и запомнила. Ты у печки грелся. Я еще подумала: не жилец парень. А ты вона чего — на простор вылез… Ты зачем вылез-то?

Я тоже узнал ее, она была шофером тех грузовых машин, на которых возили трупы. Может быть, город им обязан, что в блокаду не вспыхнула эпидемия.

Машина ее «ЗИС-5» стояла тут же — мост был расчищен широко.

Она затолкала меня в кабину, закрыла дверцу, подергала, чтобы я случайно не вывалился, и, лишь усевшись за руль, спросила:

— Куда тебя, гуляка?

Я вытащил из внутреннего кармана паспорт и эвакуационное удостоверение.

Она взяла себе мои документы.

— С Богом, — сказала. — У меня дочка чуть младше тебя. Придешь с войны — свадьбу справим…

Память моя — как лес. В моем лесу много птиц. Они прекрасно поют, и прекрасно их оперение, но они не несут яиц и не выводят птенцов. Они могучи, как птица Рух. Они могут поднять слона, если этот слон тоже миф.

В моем лесу живет птица иволга. Я видел ее однажды в детстве, но больше уже никогда. Надеюсь, она жива, обитает в наших лесах, поет негромкие ясные песни. Надеюсь, ее не занесли в «Красную книгу». Мне хочется ее повидать и послушать. Мне говорят, что в нашем лесу ее нет — есть в зоопарке. Но душа моя посетить зоопарк не хочет.

В августе сорок четвертого мы с ходу вкатили в предместье Варшавы Воломин.

Улица была забита танками, грузовиками, пылью, пешими солдатами и жителями Воломина — городка, как мне тогда показалось, довольно обшарпанного. Какая-то женщина подошла к нам, полная энтузиазма, наговорила что-то о русских храбрых жолнежах, коснулась чего-то трогательного, прослезилась и позвала нас к себе домой поесть гуляш. Мы отказывались, видит Бог, отказывались. Мы не были голодны. Но если освобожденное население приглашает отведать гуляш, то гостеприимство — дело святое.

Краснея и поправляя одежду, мы поднялись за женщиной на третий этаж,

вытерли ноги о коврик и уселись вокруг стола, просветленные, как будто сдуру согласились на крестины. В большой комнате стояла горка с хрусталем, висели фотопортреты родителей, с потолка свисал на цепочке с гирями зеленый шелковый абажур, отделанный бисером. Хозяйка быстро накрыла стол, положила перед каждым из нас по куску хлеба, по вилке и ножу, поставила тарелки. Из кухни, прижимая большую кастрюлю к животу, вышел красивый плечистый парень лет двадцати двух и с этакой нагловатой ленцой красавца положил всем по половнику гуляша. Хозяйка вздохнула, перекрестила нас и сказала:

— С богом, панове.

Мы, смущаясь — этого смущения чертова на войне нет хуже, — смели с тарелок гуляш. Пробормотали вразнобой: «Дзенкуем, пани, бардзо», — и толпой ринулись к дверям.

Чутьем угадав во мне старшего, хозяйка схватила меня за рукав испросила почти с ужасом:

— А пенензы?

Я похолодел.

— Пенензы! — хозяйка показала на тарелки и зачастила что-то быстро и жалобно: мол, она хочет услужить советским солдатам, накормить их по-домашнему, но от этого коммерция не должна страдать, мы же культурные люди.

— Ясно, — сказал я. На войне мне дважды хотелось провалиться сквозь землю — это был один из тех случаев. Заплатить мы не могли — у нас не было денег. Нам, конечно, давали, кажется, по тринадцать рублей в месяц, но приходил помпотех со своими слесарями и обыгрывал нас в очко. Мы же с удовольствием проигрывали ему. Играл помпотех весело, а деньги асе равно девать было некуда.

Я снял часы с руки — хорошие часы, антиударные, водонепроницаемые. Хозяйка схватила их, и по ее глазам я понял, что часов этих и достаточно, и мало — грабеж среди бела дня. Я крикнул на лестницу Егору и Писателю Пе. Они просунулись обратно в квартиру. Узнав, в чем дело, сняли часы с рук. Хозяйка запихнула их в карман под передник, поглядывая, не видит ли сын. Красавец тем временем на площадке лестницы торговал у нас автоматы. У него коммерция была крупнее, он подбрасывал на ладони три золотых обручальных кольца.

Мы скатились вниз в каком-то липком пару. Выглядели мы, конечно, кретинами, поскольку наш советизм, интернационализм и классовую солидарность поляки характеризовали словами: «Пан фрайер?»

А поздно вечером наша бригада была уже под самой Варшавой, под ее заречным районом Прагой, а если точнее, то Южной Прагой.

Писатель Пе объяснил мне, что такой переход от блокады к Варшаве есть полное пренебрежение не только формой, но и довольно хилыми принципами взаимодействия, которыми я до сих по руководствовался. Мол, нарушена даже апелляция к подсознательному.

А я ему отвечаю:

— Больно ты умный, как я погляжу.

На Финляндском вокзале мне дали сочную сардельку с горячей и масляной пшенной кашей. В Кобоне мне дали макароны с тушеным мясом. И больше об эвакуационном пути, полном смертей и дизентерийной простоты нравов, я говорить не намерен, поскольку повесть моя хоть и скорбная, но в основе своей романтическая.

Тогда Писатель Пе и говорит, что и тем не менее в любом случае, следуя мною же придуманному построению, эта глава должна быть посвящена моему возвращению домой и Наталье.

А я ему говорю, что именно в этой главе я должен рассказать об одном поляке, жителе деревни под Южной Прагой. У меня какое-то такое впечатление, что был он железнодорожником. Говорю «был» потому, что уже тогда он не был молод и, надеюсь, помер он с ненабитым, но и не с пустым животом, в своей постели. Смерть его была тиха и достойна.

Писатель Пе подтягивает к своим зубам свое колено в светлых штанах из плащевой ткани.

— Ты мою племянницу Аврору помнишь?

— Ну а как же.

— Я от тебя скрывал — смеяться будешь — она же плавала в Осаку на том теплоходе, ну, который сгорел.

— Что рассказывает?

— Ничего не рассказывает. И в списке погибших ее нет. Пропала без вести.

Надеюсь, вышла за японца-пожарного… А ейный муж, не тот первый, а тот, который Ардальон, погиб в Арзамасе от этого идиотского жуткого взрыва. Там, понимаешь, дома барачного типа — летом в них набивается приезжих людей, как тараканов. И Ардальон, стало быть… Стало быть, там…

— Давай уж сразу все. В этом самолете, где семь Симеонов, у тебя никто не усоп?

— Слова бы хоть выбирал — «усоп!» — Писатель Пе вскочил. — Группа захвата! Постыдились бы хоть в газете так называть тунеядцев из ленинградской милиции. У балалаечников обрезы и никакой подготовки, а эти менты — группа захвата! — подставили балалаечникам задницы и бегом к лекпому. Представляешь? Мальчики в Афганистане умирали на раскаленных камнях, в чертовом пекле, а эти менты — группа захвата!.. Кстати, помнишь, самолет в Новгороде врезался в пятый этаж жилого дома? Как идти от гостиницы к вокзалу. Вот там у меня мужик был знакомый. Он пошел втихаря от жены за маленькой в магазин напротив, прямо в домашних тапочках на босу ногу. Выходит из магазина с маленькой, а из его квартиры хвост самолета торчит. Мужик и говорит: «Я еще и глотка не сделал, а мне уже видится…»

Под Прагой мы остановились в деревне под темными громадными тополями. Вестовой меня нашел, сказал, что меня зовет начальник разведки майор Виноградский. Сейчас, поди, генерал.

— Велел пошевеливаться, — вестовой, рыхлый парень с бабьим лицом и маленькими глазками, как если бы две серые пуговицы пришили посередине мятой подушки, повел меня через огороды, через сжатые небольшие поля и кусты.

На бугорке у густой заросли то ли орешника, то ли ольхи стояли наш генерал и наш майор Виноградский. Глядя на генерала, трудно было понять, выпил он или нет. Но майор был крепко хвативши. Он изо всех сил старался быть значительным, театрально жестикулировал и вздрагивал оптимистично.

— Сержант, — сказал он и погрузил свою правую руку в жидкие чернила небес. — Там! На два пальца правее луны проливает кровь наше хозяйство.

Наше хозяйство, как я уже говорил, стояло на шоссе под тополями. Но я не стал заострять на этом внимание я спросил:

— Товарищ майор, а как с луной?

— То исть? — спросил майор. — Я тебе боевое задание даю…

— Извините, я только хочу уточнить: двигаясь в направлении два пальца правее луны, не зайду ли я себе за спину?

— Ах ты курицын сын! А вот только попробуй! — Майор принялся решительно искать что-то у себя на боку. Он носил пистолет почти на спине и никогда не мог туда руку завести.

— Сержант, — сказал генерал, — майор немножко перегрузился, а так он ничего — орел. Пойдешь в Прагу. Посмотришь… Танки пойдут с рассветом. Попробуй изобразить много пехоты. Основной удар будет нанесен не здесь, и все ваши мотострелки понадобятся. А ты тут. Ты погромче…

— Знамя на ратушу! — воскликнул майор Виноградский.

— Извини, майор, знамени нету. Не предусмотрели, — успокоил его генерал. И мне: — Пойдешь этой лощинкой. Здесь близко центр предместья. Воевать не начинай, пока не услышишь танки. А то захватишь Прагу один.

— Знамя красивее, — сказал майор. — Знамя над ратушей…

Лощинка, по которой нам надо было идти в Прагу, оказалась небольшой и ровной, при хорошей погоде и мирных обстоятельствах ее бы назвали лугом. Киношники любят снимать на таком лугу девушек, собирающих колокольчики. А у нас в то время такие лужки назывались «долинами смерти», потому что были практически непроходимыми. Днем такой луг кинжально простреливался из пулеметов, ночью минометные батареи перепахивали его, перемешивали землю с травой, дробя все живое, способное летать, скакать и ползать.

Некоторое время мы стояли на бугорке, привыкая к ритму обстрела. Сейчас на спартакиадах прыгуны в высоту так же стоят и что-то в себе улавливают, перед тем как начать разбегаться.

Я пошел первым. В этом нет особой смелости — это правило для таких маленьких подразделений. Последним пойдет Егор — последнему страшнее.

Мины разрывались то ближе к бугорку, то дальше — стреляли две батареи. После взрыва я побежал. Я чувствовал следующую — часы уже были запущены. Падаю в воронку. Разрыв. Вскакиваю и снова бегу. Переждал очередной минный удар, как мы говорили — «присыпку», и рванул вперед, в следующую воронку. Меня снова присыпало землей и травой, и я снова перескочил вперед. За мной шли ребята — один за другим. Можно идти цепью, но тогда не будет уверенности, что после очередного броска двое не столкнутся в одной воронке. Ямка от мины неглубокая, и двоих она не укроет. Она и одного-то укрывает

едва-едва. А тут еще автомат тюкает тебя по башке. С ним аккуратно надо: земля рыхлая — забьет механизм, и прощай, оружие, чистить его некогда.

Наконец я запрыгнул в канаву, в сухой придорожный кювет. Я прошел! За канавой мощенная булыжником улица. На той стороне черные дома — ни лучика в окнах, ни отблеска — жители по подвалам сидят. Над тесно сбившимися крышами шпиль костела.

Вскоре рядом со мной уже тяжело дышали Писатель Пе, Паша Сливуха и два автоматчика. На марше они ехали в нашей машине. Последним пришел Егор. Долго выплевывал траву изо рта. Траву изо рта выплевывать трудно, она зацепляется за слизистую оболочку — приходится пальцами.

В городе стреляли. Городской бой по звуку отличается от других, как, впрочем, и все другие друг от друга: он глуховатый, но многозвучный, в нем больше визга — снаряды рикошетят чаще. Винтовочная пуля, когда рикошетит, поет. Звук выстрела в городе и звук разрыва почти слитны — расстояния до целей маленькие, стреляют прямой наводкой или просто в упор. И эхо...

В городе звуки сшибаются, как вихри. Эхо такое крученое...

Мы знали, что в Варшаве восстание.

Здесь же, на окраине Праги, было тихо. Было слышно даже, как переговаривались немецкие минометчики. Они располагались за домами, во дворе или в сквере, как минимум две батареи. Поблизости были и пулеметные гнезда. Пулеметчики сейчас дрыхли. Их-то для начала мы и должны были найти. Потом и с минометчиками поговорим, если по дороге не встретим противотанковых пушечек...

Вообще это задание мало чем отличалось от обычной нашей работы: мы должны были сделать все, чтобы уберечь танки от дурацких случайностей.

Где-то рядом, может быть в доме напротив, дрыхли пулеметчики. Они, конечно, дрыхли, даже зная, что мы обретаемся неподалеку.

Егор кивнул на дом с угловым, далеко выступающим эркером:

— Там Гансики. На третьем этаже. Небось маму видят во сне или гутиг фрау.

К пулемету мы пошли с Егором. Их было трое.

— О Мария!

— Я же просила! У меня плод…

— А я не вас, милая студентка. Я поднимаю свои глаза к Божьей Матери. Я у нее прощения прошу. Все мы перед ней виноваты…

Вслед за нами поднялись на третий этаж остальные. Немцев оттащили в соседнюю комнату. Мы посидели, покурили. Это так говорится «покурили» — курил в нашем отделении один Егор. Из окна луг хорошо просматривался, он вскипал черными пузырями. Кто сквозь это кипение пройдет? Мы бы тут тоже спокойно дрыхли. Звезды застегнули небесный кафтан на серебряные пуговицы, луна — как пряжка. Их наши дела не касались. Зато нам тут же стало ясно, в каком доме другое пулеметное гнездо.

Чтобы простреливать скрытую кустарником часть луга, нужно было поставить пулеметик в доме с осыпавшейся штукатуркой, неприглядном, от старости распузатившемся.

Отправились туда Писатель Пе и автоматчик. Паша Сливуха с ними поперся, нетерпеливый, аж ляжки дрожат.

Вернулся Паша сильно хромой. Штаны его были полны крови. Немец, умирая уже, ему в задницу кинжал воткнул.

— Я над другим наклонился гадом, — рассказывал Паша. — Думал, этот уже глаза закативши, а он… Во гад! — В голосе Паши Сливухи расплавленной медью клокотал восторг.

На его задницу мы извели все наши бинты — очень бинтопотребное место. Хоть и плевая рана — уже слаба была рука бьющего — но кровь из нее льет. Паша кинжал своего позора с собой принес и любовался им. Собирался после победы увезти его в свою деревню и повесить в изголовье кровати, солдатский немецкий кинжал, обоюдоострый, с орлом и свастикой на рукоятке, фирмы «Золинген». Мы посоветовали ему орла со свастикой выковырять. Командиры, особенно старшие, весьма ярились, когда видели у нас на ремнях эти ножи. Но ведь кинжал был хорош — финку, которую нам выдавали, он прорубал до половины.

— Ну, как там? — спросили мы Писателя Пе. Он только плечами пожал.

Когда Писатель Пе действительно стал писателем, его спросили пионеры однажды, сколько он убил немцев? Он вот так же пожал плечами, как будто сразу озяб, потом ответил: «Ни одного. Я воевал…» Вопросик тот простодушный покоробил его тогда еще интеллигентную душу — выступать перед

школьниками Писателю Пе разонравилось, но вопрос так и повис на всю оставшуюся жизнь перед писателевым носом.

Мы прокемарили в эркере до рассвета. На улицу нас вытащило не желание размяться, а шум боя. Где-то шел бой. Бились танки…

Бой уходил от нас…

В Праге, где мы сейчас околачивались, никакой обороны не было. Мы хоть и топтались с самого краешку, но оборона, она и бывает по краешкам. Уж мы бы ее заметили, либо — она нас. «С кем же они там подрались?» А минно-пулеметная завеса тут на всякий случай: немец и там, где не нужно, поставит заслон.

Минометчики прекратили обстрел. Уже рассвело. Танков наших все не было. Как прекрасен этот гул танковой атаки. Он начинается с низкой негромкой, но уже мощной ноты. Танки еще далеко. Они приближаются, и рокот их, оставаясь общим, членится на отдельные громы. И вот он, звук танка, который прет на тебя, — он возносится до неба вместе с твоим криком и твоей молитвой.

Но танков нет.

Мы их прождали около часа, понимая, что ждем зря.

— Пошли, — сказал я.

Над исковерканной минами луговиной слоями ходил туман, вспенивали его невидимые какие-то дрожжи. Мы вошли в него, опасаясь приближаться к кустарникам. Там, уж будьте уверены, немец понавесил противопехотных мин.

Есть такое удовольствие у разведчика — когда он идет во весь рост и грустно ему.

Мы вышли на бугорок, с которого начали наши скачки под минами. Было досадно, что наши внутренности могло расшвырять по этой лужайке не за понюх табаку, за два пулеметных гнезда. Войну нужно считать километрами наступления, но не количеством трупов.

Где танки?!

Танки стояли на шоссе под тополями. Мы слышали даже, как железо брякает, — танкисты мылись у водоразборной колонки.

От танков нас отделяло широкое капустное поле. Пригородная деревня — по всем канонам — жила от огородничества и молока.

Мы шли по междурядьям, толстые белые кочны доходили нам до колен, они как бы приготовились глубоко вздохнуть и, напрягши жилы и отряхнув шарики утренней росы, распахнуть свои листья все вдруг и явить озлобленному миру новое дитя человеческое.

Рано было, но хозяин этих кочнов, поляк, похоже, в форме железнодорожника, что-то делал на поле. Может быть, обирал гусениц, может быть, так копошился, чтобы не нарубили капусты прыткие армейские повара.

Впереди шел Егор. Он любил ходить впереди — ему бы, а не мне быть командиром машины. Но не обладал он, хоть и старше был и опытнее, мгновенной твердостью в решениях, плохо ориентировался в городе и совсем худо читал карту. Но силен был физически и самокритичен.

— Слышь, — сказал он, — что это пан поляк нам показывает?

Поляк, нагибаясь к кочнам, одной рукой как бы пригибал ветку — общепринятый знак «ложись!».

— Показывает, чтобы мы легли, — сказал сзади Писатель Пе.

И тут мои глаза как бы открылись: под тополями стояли на отдыхе немецкие танки с вытащенным на броню немудреным барахлишком танкистов.

— Немцы, — только и сказал я.

Все уже увидели и угловатость форм, и темный цвет танков, и даже кресты.

Мы легли, как стояли, в капустную тень. Нам ясно стало, какого боя гул мы слышали под утро. Немец укомплектовал пару танковых дивизий — наверно, все те же проклятущие «Мертвую голову» и «Викинг» — и двинул нашей лихой, но шибко уставшей армии в скулу.

Мы лежали среди кочнов капусты, обалдевшие и как бы потерявшие дар соображать. К нам приближался поляк. Он шел по соседнему междурядью. Нагибался, осматривал кочны, собирал с них что-то. Кочны были чистые, словно из особого фарфора.

— Ночью вашим панам-товарищам герман надрал дупу. Ваши паны-товарищи к соседней деревне ушли. Далеко не ушли. Вам с этого поля выйти нельзя. Кругом, кроме этой капусты, герман. Варшава горит. Свента Марья. Сталин так

мало панцеров прислал. Я принесу воды и покушание. Панцеров мало, и панцеры горят…

Поляк как бы проплыл над нами, очертив мир нашей жизни капустным полем и тем счастливым случаем, что удержит подвыпившего немецкого танкиста от прогулки среди кочнов. Убереги его Бог!

Солнце поднялось, жгло сильно. Кочны как бы уменьшились, испарив росу. Мы наломали капустных листьев, прикрыли затылки. Какая тень от пилотки. Немецкие танки стояли в тени, «пантеры» и «тигры». И сами немцы чего-то там расшумелись. И не будь поляка на капустном поле, усердно собирающего гусениц, они поперли бы капустные кочны футболить и волейболить.

В ведре у поляка были две бутылки воды, хлеб и сало.

— Варшава горит, — все повторял он. — Нема Варшавы. Надо ж было наступать…

За «долиной смерти», за Прагой бухали взрывы, как будто били валенком по горячей печке. Что-то шуршало, потрескивало. Это терлись боками об углы домов, разваливая их и испепеляя, железные коты на железных когтях. Из каждой шерстинки такого кота вылетали искры, вылетали пули, и зубы кота разрывали горло всему живому.

Выяснилось позже, что основными участниками восстания в Варшаве были подростки. Школьники. Сколько же их погибло в те дни? Потом вину за их гибель кто-то переложит на нас.

За тополями, в другой стороне, за неожиданно взревывающими «пантерами» слышалась стрельба. Там шел бой. Немец не смог отбросить нас далеко.

Солнце жгло сквозь гимнастерку, от прикосновения к автомату на теле вздувались мокрые пузыри. И никто не спрашивал: «Что будем делать, если немец в капусту придет?» У нас оставался шанс красиво повоевать.

Я не помню, о чем я там думал, глядя в синее, без облачка небо или в хорошо разрыхленную, но уже высохшую землю. Думал ли я о том дне, когда умирал на Тучковом мосту? Нет, не думал. Тот день у меня как бы выпал из памяти, и когда я его вспоминал по необходимости заполнения анкет, мне кажется, будто бы я прошел тогда мимо себя и все случившееся видел со стороны, как видел парнишку с разбитым лицом. Но я вновь перечувствовал наши скачки через смертный лужок в Прагу, от одной воронки до другой. В просвеченной солнцем капусте надо мной было черное небо, и от пересохшей земли шел запах тола и болота. Мое тело чесалось, покрываясь волдырями запоздалого страха. Кожа наша очень чувствительна к перипетиям войны. Недаром же говорят: «Испытал

на своей шкуре».

Сумерки сгустились, когда поляк подошел к нашей борозде в последний раз. Нас там уже не было. Мы отползли. Его настойчивая привязанность к этому месту могла заинтересовать немцев. Он говорил: «Варшава, Варшава…»

В борозде было чисто, ни сорванных капустных листьев, ни пустых бутылок, ни тряпки, в которую были завернуты хлеб и сало.

Мы поползли не назад, к луговине, а вперед — к танкам. Мы сидели в канаве, и нам оставалось только перебежать шоссе.

«Тигр» выкатил в нашу сторону для какой-то своей разминки, развернулся круто, как бы специально чтобы прикрыть нас от глаз колонны, и когда он откатил, громыхая, мы уже были в кустах по другую сторону шоссе.

Мне иногда кажется, что счастливые случаи — правило выживания не только на войне, но и в обыденности, иначе как объяснить существование человека, хрупкого и ничтожного, среди самоподвижного режущего железа и всевозможных маний, среди которых самая кровавая — мания величия. Обрывается цепь счастливых случайностей — и человек встречается либо со своей пулей, либо, как говорит циник-интеллигент Писатель Пе, «с совершенством канцера и триппера».

Со сжатого пшеничного поля за деревней тянуло танковой гарью. Танковых костров уже не было, но еще тлело танковое уголье. Мы шли мимо сожженных «пантер» и «тигров». Подбитые, они безжизненно опускают пушку, чего не случается с «тридцатьчетверкой»: у «тридцатьчетверки» от взрыва внутри нее далеко отлетает башня — или грудь в крестах, или голова в кустах, так ее спроектировали, так построили и так она воевала.

У не сгоревшей, но подбитой «пантеры», подсвечивая себе мазутовым факелом, возились немцы-ремонтники. Они попятились за танк, пропуская нас. У ремонтников были свои законы войны. Нам встречались такие картины, когда у двух подбитых, почти сцепившихся танков возились две команды ремонтников — и наши, и немецкие, — делавшие вид, что не замечают друг друга. Нас-то они побаивались, мы в их джентльменское соглашение не вписывались. Но для нас немецкая лошадь была просто лошадь, и немецкий ремонтник был тоже не солдат, а так себе — живое, тяжело живущее на войне существо.

Следы гусениц «тридцатьчетверок» уходили вправо, и мы пошли по этим следам. И если бы не выстрелила пушка, мы бы так и не увидели танков, мы бы, наверное, упали на них. Пушка фукнула длинным огнем. Может быть, наши тени насторожили танкистов.

Танки стояли каждый в своем окопе, тесным кольцом. Мы, наконец, увидели башни, невысоко торчащие над землей.

Иногда эпизоды твоей собственной жизни, рассказанные вслух, повергают собеседника в смущение и даже в краску. Сам-то ты знаешь, что именно так и было, хотя со временем все больше удивляешься и досадуешь на себя за свое удивление. Но знаешь ты и то, что человек, которому ты рассказываешь, не верит ни единому твоему слову. Опираясь на свой опыт и на свой характер, и со вздохом и тоже с досадой открывает в тебе неожиданно, что ты и приврать можешь и, более того, прихвастнуть. Его душу наполняет великое чувство собственного достоинства, даже нравственного превосходства над тобой. А ты и не врал вовсе и тем более — не хвастал.

В центре круга, образованного танками, на соломе у полуразрушенного то ли погреба, то ли просто сарайчика, лежали два генерала. Командир корпуса генерал-лейтенант Веденяев и, как это ни странно, командир нашей бригады. На снятой с петель двери стояла «летучая мышь». На полотенце лежало сало и хлеб. Чуть отделясь от генералов, сидел майор-танкист.

Генералы приготовились по нам палить, по-генеральски — с колена.

— Да наши это, такая мать, — крикнул майор. И, смутившись, пояснил генералам: — Конфигурация солдата и в темноте разная.

Я подошел ближе.

— Сержант, — как-то устало констатировал наш генерал. — Видишь, как обернулось. Докладывай.

— Варшаву жгут. Вся немецкая пехота там. Поляки думают, что мы отступили специально. К рассвету фрицы сюда доберутся. Если не солдатами, то просто-напросто расстреляют самоходками. В деревне полно «фердинандов».

— Ну и что же ты предлагаешь? — спросил командир корпуса чисто для демократии.

— До рассвета не уйдем — придется бежать.

— Для тебя лишь в том и разница — идти или бежать?

— Да.

— Не «да», а «так точно». Это твой солдат? — Он показал на Пашу Сливуху. — Твой солдат дерзит или не знает, что я запретил таскать на поясе фашистские ножи?

— Он не знает, — ответил я. — Он еще радуется. Прошлой ночью он этот нож из своей задницы вынул. Приказать, чтобы вставил обратно? — Я козырнул и каблуками щелкнул.

Генерал-лейтенант приподнялся, чтобы лучше меня разглядеть, он, в общем-то, знал меня… Но тут танки принялись палить по всему полукружью, направленному в сторону Праги. Я извинился и побежал к ребятам и танкам.

Немцы лезли нахально — они не знали, что мы подоспели.

Паше снова повезло: танкист, вылезший из машины повоевать, огрел его ведром по башке, хорошо — на Паше была пилотка толстая. Он стащил танкиста за ногу и принялся его давить. Когда мы вернулись к танкам, они стояли нос к носу и, сжав кулаки, орали:

— А я откуда знал, что ты свой?!

— По конфигурации видно!

— А я твою рожу сначала увидел!

— Ах, тебе моя рожа не нравится?!

Паша наш оказался очень сильным и очень гордым.

До рассвета еще дважды приходили немцы небольшими группками.

На рассвете мы ушли из кольца танков. Майор приказал было танки поджечь, но танкисты не захотели. Майор оказался командиром танкового батальона. Взял на себя командование бригадой, а бригада — только те танки, которые они закопали.

— Все равно немцы их на переплавку увезут, — говорил он, шагая рядом со мной впереди. — Они неподвижные уже. Моторесурс давно выходили. На злости двигались.

Все у нас знали, что к Варшаве мы подошли, уже исчерпав все технические

возможности машин. Но так вот, чтобы танки просто не двигались, — это казалось мне чистой теорией.

На рассвете на гребне холма мы увидели «тридцатьчетверки», задыхающиеся, но еще ползущие. Это еще одна бригада нашего корпуса выходила из боя. Она тоже потеряла своего командира.

Генералы приободрились. Самое для них отвратительное — это ходить на войне пешком.

Я отчетливо вижу танки, медленно идущие по гребню холма, у них на броне горстка солдат, майор и два генерала, а внизу, в сизом тумане, Прага и дальше — во мгле, в дыму, в аду кромешном — Варшава. И я говорю владельцу капусты: «Ты видел, старик, наши танки, ты видел нас. Мы хотели, но мы ничего не могли. А что касается планов Верховного — не надо… И поляки, и немцы исповедуют волю Христа, но планы Верховных этого не учитывают».

По телевизору шла передача «Монитор». Какой-то мужик на Невском, в комнате, заставленной книжными полками, развлекался, накручивая себе на шею питона. У телекорреспондента тоже висел питон на шее. Мужик говорил:

— С питонами хорошо — отдыхаешь.

Питоны раскачивали головами, похожими на отвертки.

— Каким образом отдыхаешь?

— С одной стороны — будто встретил близкого родственника. А с другой стороны — еще лучше. Он не спрашивает: «Как живешь? Тебе уже дали визу?»

— А вы как относитесь к визе?

— Хорошо отношусь. Но еще лучше отношусь к Ленинграду, к Невскому, даже к очереди за водкой. Ниагару я еще, возможно, увижу, но вот очередь за водкой нигде и никогда. Это творение гения.

Питонам нравилось висеть и свиваться на шеях собеседников, они, наверное, тоже отдыхали..

Пришел Писатель Пе, принес сливок, пива и вяленую мелкую корюшку.

— Сейчас один идиот у меня спрашивает по телефону, я ему по делу звонил: «Какого черта нужно было штурмовать рейхстаг, когда его можно было просто превратить в песок самоходными пушками?» Но ведь нужно было. Не сегодняшним, конечно, золотарям, а тому народу, который дошел до Берлина и

до рейхстага и не постоял за ценой, чтобы позволить себе Последний Штурм. А вдруг этот штурм действительно Последний. Все золотари желают говорить о новых фактах, но не о старых чувствах. Но зачем человеку факт, если он в свое время не вызывал чувства? Даже патологоанатом не может игнорировать ни чувства, ни душу своего объекта… Пей пиво.

Я сошел с поезда в городе Лысьве Пермской области. Почему я там сошел? Я устал ехать в никуда. Я хотел быстрее поправиться, я быстрее хотел на фронт. Мне думалось, что там, на фронте, теперь мой дом.

Какая-то женщина сказала, что до войны в Лысьве на станции продавали соленые огурчики, крепенькие, пупырчатые, хрустящие и ароматные, с куском мягкого черного хлеба. Она так вкусно об этом рассказывала, что я взял свой мешок с чистой парой белья (грязное белье я выбрасывал под откос), носки, носовой платок и вышел из поезда.

В Лысьве я вышел один. Что за каприз эвакуироваться из блокады в Лысьву?

Я медленно шел вдоль высокой кирпичной стены, за которой, это можно было понять, без отдыха и сна работал громадный завод.

В горисполкоме посмотрели на меня без досады и неприязни, но с изумлением, и направили в райком комсомола. В комсомоле на меня тоже посмотрели с изумлением, напоили чаем с шанежкой и сказали:

— Поедешь в Кын. Завод Кын заводчика Демидова. Там детский дом. Там тебя устроят. Почему ты не поехал в Ташкент? В Ташкенте дыни…

Я взял у них бумагу и пошел на вокзал, чтобы ехать в поселок Кын.

В Кын я приехал утром. Я не помню, далеко поселок от станции или нет, помню, надо было идти пешком пустынной снежной дорогой.

К конторе детдома я подошел совсем без сил. Это был странный дом, двухэтажный, крашеный барак, но лестница на второй этаж шла снаружи, и не по стене дома, а перпендикулярно к ней, на деревянных столбах, похожая на узкий мост через железнодорожную линию. Директорский кабинет находился на втором этаже. Я представил себя, взбирающегося по этой лестнице: вот я руками ставлю ногу на ступеньку, выпрямляюсь, вцепившись в перила, затем снова и снова, ступенька за ступенькой.

Я сел на скамейку у лестницы и попросил пробегавшего мимо мальчика отнести мои документы директору. Было тепло. Я расстегнулся, снял шапку.

Сверху сошел директор в пиджаке.

— Вы привезли мальчика? — спросил он.

— Какого мальчика?

— Из Ленинграда.

— Это я и есть, — я назвался и встал.

— Здесь написано «шестнадцать лет», — сказал директор. — А вам по меньшей мере за сорок при плохом здоровье.

— Это у меня волосы выпали. А с волосами и при хорошем здоровье мне шестнадцать с половиной.

Директор вздохнул, и вздох этот был похож на скрип высокого дерева, готового сломаться под сильным ударом ветра.

— Читаешь и понятия не имеешь, как это выглядит, — сказал он, имея в виду, конечно, не меня — дистрофика, а блокаду в целом.

Я не стал ему объяснять, что, и глядя на меня и на сотню таких, ему даже отдаленно не представить себе блокадного Ленинграда, и тем более понять его он так и не сможет, как не смогут понять это сами блокадники уже ко Дню Победы. И публицисты в итоге будут записывать выцветшие воспоминания, зная, что суть их в призрачной слезе, заволакивающей глаза, во вздохе, и главное, в молчании, — и это будет попыткой уловить молчание.

— Посидите, — сказал директор.

Он ушел наверх, а я остался сидеть на скамейке.

Подходили ребята группками, девчонки и мальчишки, останавливались поодаль, и таращились на меня, и шептались. Пришел директор с невысокого роста хромым мужчиной.

— Как вы понимаете, мы не имеем права зачислить вас в наш детский дом воспитанником, — сказал он мне. — Дети у нас живут до пятнадцати лет включительно. Мы их трудоустраиваем, а также посылаем в школы ФЗУ или техникумы. У нас есть несколько ребят-старшеклассников, особо одаренных, которые по разрешению облоно заканчивают десятилетку, живя в детдоме, с тем чтобы поступить в высшие учебные заведения. Ну и для того, конечно, чтобы в детском коллективе были свои авторитеты. Мы возьмем вас на работу. А поселковый Совет позаботится о вашем жилье. Скорее всего, вы поселитесь у

нашей же работницы Клаши Иноковой. У нее дом большой. Познакомьтесь: Иван Макарович, начальник нашего производства, он о вас позаботится.

Высокий, сутулый, погруженный в свои педагогические заботы директор потрепал меня по плечу и пожал мне руку. Стесняясь этого своего театра, снова вздохнул и вдруг, рассутулясь, быстро взбежал по крутой лестнице.

Мне выдали аванс, продовольственные карточки. В магазине я купил шестьсот граммов хлеба, сахару и перловки. И не Иван Макарович меня водил всюду, а девушка Феня — Феодосья, из особо одаренных. У нее был пушистый чуб над круглым детским лбом, детские насупленные глаза и очень крепкие ноги в туфлях со шнурками. Она привела меня на квартиру к молодой женщине Клаше Иноковой, у которой было двое ребятишек, мальчик да девочка, да свекровь, приехавшая из деревни, чтобы за ребятами присматривать, да дом-крепость.

Большая русская печь, возведенная чуть ли не посередине дома, делила его на три части. Муж Клаши воевал. Сама Клаша, черноволосая, миловидная, работала в детдомовском производстве швеей, шили они трехпалые солдатские рукавицы. Была Клаша не из местных. Родители ее с какой-то стати купили в Кыну этот дом и переселились сюда и тут вскоре померли. Пускала Клаша жильцов еще до замужества. И мужа себе из жильцов подобрала. Сейчас у нее в постояльцах был только я. Но потом поселятся двое поляков, один из них, Збышек, собственно, и станет причиной того, что поселок Кын и Клаша попадут в это мое повествование.

Клаша с семьей жареную картошку ели с большой сковородки. Они и меня за стол попросили, но я отказался. И Феня отказалась и убежала — у нее была контрольная по физике. А я уже не был жаден до еды, хоть и хотел есть все время. Есть и спать.

Утром за мной зашел Иван Макарович. Он привел меня на электростанцию, где мне и предстояло некоторое время работать дежурным монтером. Работа эта была чрезвычайно простая. От турбины, заменившей демидовское водяное колесо, шел вал с двумя широкими шкивами. С одного шкива шла ременная передача на вал электростанции, с другого — на вал мельницы.

Когда включались цеха, дежурный монтер должен был бежать по ступенькам в небольшое помещеньице, под полом которого гремела вода, и, вращая черный стальной штурвал, увеличивать подачу воды на турбину. Когда мельница начинала помол, нужно было тоже бежать к штурвалу.

И когда цеха отключались, нужно было бежать — уменьшать подачу воды. При большой воде турбина выла. Вышвыривала из себя рабочие лопатки, они у нее

были деревянные.

Первый день был самый для меня отчаянный. Иван Макарович объяснил мне мои действия и ушел, уверенный во мне.

Я напихал каменного угля в печку. На электростанции стояла печка на ножках, она была похожа на ступенчатую пирамиду из чугунных ящиков, поставленных друг на друга. Жаркая была печка — наверно, еще демидовская. Я нарезал хлеб тонкими ломтиками и положил на печку подсушивать. Тут отключился какой-то цех. Турбина начала набирать обороты. Я помчался на самой большой для себя скорости по ступенькам к штурвалу, ухватился за него и… ни с места. Штурвал, который так легко поворачивался в руках начальника производства, у меня не двигался. Я болтался на нем, как насекомое, сносимое сквозняком. Тут отключился еще один цех. Динамо-машины выли, шкивы грохотали. Мельник, чтобы не залысить насечку, поднял жернова и побежал ко мне. Турбина еще прибавила оборотов.

Я болтался на штурвале, как белый флаг.

Ворвался мельник, отшвырнул меня, тоже белый, — завывание валов и вращение колес пошло на убыль.

Когда я поднялся с пола, мы долго молча рассматривали друг друга: мельник был в возрасте, но крепок. Мне было невыносимо горько. Дух мой был горд, пламень бушевал в тиглях моей души, но где-то, не во мне. Но снаружи. Душа покинула мое тело. Внутри меня была пустота, готовая заполниться льдом. Душа предала меня. Она наблюдала за мной со стороны и, как я понял, посмеивалась.

— А если дрючком? — сказал мельник.

С улицы в машинный зал, сильно хромая, вбежал начальник производства. Он был в поту. Я позабыл, как его зовут.

— Что случилось? — крикнул он. — Живой?

— Парню штурвал не пошевелить.

— Как это? Со штурвалом мой внук-третьеклассник справляется.

— Вот я и говорю — если дрючком? — Мельник вышел к себе на мельницу и тут же вернулся с небольшой березовой палкой. Протянул палку мне. — Попробуй запусти.

Я вставил палку в штурвал и навалился на нее грудью, штурвал стронулся, валы

медленно пошли вращаться. Орудуя палкой, я довел работу машин до нормы. Мельник похлопал меня по спине и ушел к себе — из машинного зала на мельницу вела дверь.

— Все моторы пожжем, — сказал начальник производства тоскливо. — Ты что, действительно повернуть колесо без палки не можешь? — Он не верил. Он видел во мне идиота, шпиона, он только не мог понять, что у меня просто не хватало на это плевое дело ни силы, ни веса.

— Я постараюсь, — сказал я.

Начальник производства — я уже вспомнил, что зовут его Иван Макарович, — взял с печки подгоревший ломтик хлеба, покрутил его, положил на печку аккуратно и вытер пальцы. Тут включился цех. Я помчался к штурвалу. Березовым дрючком повернул колесо. Оказалось, что для меня трудным было лишь стронуть его с места. Я думаю, что уже проклюнулась в моем организме злость, и расслабленную силу, рассредоточенную по всем печеночкам для поддержания жизни, она уже начала собирать в единый сгусток, для единого кратковременного действия.

В дверях мельницы стоял мельник. А Иван Макарович снова вертел в руках кусочек хлеба.

— Сгорят, — сказал он.

Тяжело дыша, я собрал ломтики с печных террасок.

— Феньку пришлю, — сказал Иван Макарович.

Еще цех подключился. Я выронил хлеб, побежал крутить колесо.

Глядя на вольтметры из двери, я видел, как Иван Макарович собрал мой хлеб с пола, положил на скамейку и пошел на мельницу. Я сел к печке. Принялся хлеб жевать. Из десен у меня шла кровь. Не знаю, что там понял про меня, а может, и про войну Иван Макарович, но спустя некоторое время он вернулся в машинный зал с узким, согнутым из кровельного железа корытцем в руках. Корытце точно устанавливалось на нижней терраске ступенчатой печки, на самой горячей.

— У тебя кровь, — сказал Иван Макарович.

Я кивнул, растер кровь по щекам.

— Кастрюля, бери, — сказал Иван Макарович. — Поди к мельнику, намети бусу — это мучная пыль — завари себе кашу. Тебе, парень, есть надо.

Я так и сделал. Мельник намел мне с карнизиков и филенок мучной пыли. Кашу он называл затирухой.

На мельнице чинно, неразговорчиво стояли женщины-помольщицы, у каждой было не меньше полумешка зерна. Они таращились на меня, и в глазах их, каменно-блестящих, карих, сочувствие свивалось с инстинктивной опасливой брезгливостью. И никто из них не отсыпал мне в шапку пшеницы.

Я сварил затируху и съел ее мигом.

После школы пришла Феодосья, сняла пушистый берет, сбросила ватник с заячьим воротником, погрелась у печки и принялась за уроки.

— Меня Иван Макарович прислал, — объяснила она. — Думает, ты не дотянешь до конца смены.

— Дотяну, — сказал я.

Феодосья кивнула: «Дотягивай».

Была она бела, красна, светла. Я употребляю эти слова во всех их высоких значениях — они приложимы к ней, кроме имени Феня, а вот Феодосья — это имя ей шло.

Феодосья не помещалась в одежде не потому, что одежда была ей тесна, — одежда находилась в противоречии с ее телом, вернее, со всей ее сущностью, как если бы бронзовую скульптуру, к тому же горячую, обрядить в застиранный трикотаж.

Из всех Фениных ярких примет на первое место, как исключительная примета, выходило то ощущение, что она очень крепко стоит на ногах. У нее были несуетливый взгляд, неформированная улыбка, неторопливость речи, непоспешность в ответах — вопросов она, кажется, и вовсе не задавала.

Она взяла мою кастрюльку, вымыла ее, вытерла, пошла на мельницу, принесла бусу и заварила мне затируху.

Когда я съел это варево пальцем, Феня сказала:

— Ну ты и страшен. Особенно уши. Тебя в детстве часто за уши таскали?

— Прибивали, чтоб не вертелся. — Я отлично представлял себе свою внешность: голый череп, челюсти, обтянутые пустыми губами, острый нос, провалившиеся глаза, и уши врастопырку, как крылья воробья, когда он тормозит в полете. — Погоди, — сказал я. — Еще стану красавцем. Влюбишься.

— Хорошо бы, — согласилась она. — Влюбиться охота. Я бы и в нашего мельника влюбилась, будь он чуток помоложе. Его Иваном Наумовичем зовут. Он раскулаченный, очень работящий и спокойный. Ты этой дряни много не ешь. От нее пустой жир нарастает, потом не избавишься. Будешь как те кастраты миланской школы пения… — Видать, она много читала.

— А что же мне есть? — спросил я и подумал: действительно, что же мне есть? Аванс мне выдали. Можно купить картошки. На карточки хлеб дают, да перловку, да сахар. Всего — на три хороших обеда. И ни капельки жира. Интересно, что о мясе я вовсе не думал. В Ленинграде возле печурки накатывали на меня мечтания о вкусной пище, но все они были примитивны и самым высоким пиком моей кулинарной мечты была картошка, сваренная исключительно в чистом сливочном масле.

— Да, — сказала Феня, — нас тоже голодно кормят. Пацаны, как волчата, зубами лязгают, того и гляди палец откусят. Летом огороды грабят. Я сказала директору: пустой земли много, давайте распашем для ребят — пусть пасутся, зачем население злить. У нас свой огород большой, но там сторож. А ребятам хочется — они даже ботву жуют. — Она снова уткнулась в свои учебники, потом снова на мельницу вышла.

Тут подключилось что-то энергоемкое, динамо-машины загудели, как грузовики, идущие в гору. Я побежал прибавлять оборотов. Прибавлял, прибавлял, но подключение внезапно прекратилось, турбина будто с горы прыгнула — хорошо, я у колеса был. Когда я уже сидел на ступеньках, отдувался и вытирал пот со лба рукавом, пришли мельник и Феня.

— Пацаны короткое замыкание сделали, — сказала Феня. — Протестуют. Обед был плохой.

Мельник выгреб из карманов своего ватника зерна пшеницы и высыпал мне в кастрюльку.

— На старости лет воровать стал. Истинно говорят: из-за девки и против Бога пойдешь. — Мельник был седой, за шестьдесят лет мужик, но без лишних морщин, с прямым носом и высоким лбом. С Феней они были совсем непохожими, но казались родственниками. Они, и я вместе с ними, вскоре стали персонажами той комедии, которую с подачи поляка Збышека Валенко и моей

квартирной хозяйки Клаши пришлось нам сыграть.

Иван Наумович был из-под Полоцка. Когда его раскулачили и сослали, он был зрелым пятидесятилетним матерым кулаком. Только коров у него было восемнадцать.

— Нас было много, — говорил он. — Четыре сына, да четыре невестки, да мы с женой. — Тем самым он давал мне понять, что наемных работников у него не было. Но вообще о своем кулацком прошлом он рассказывать не любил, хотя вся его жизнь и все радостное, что в человеческой жизни может статься, были там, в том времени. Все последующее его существование было как бы во имя памяти.

Его не только раскулачили, не только сослали, но за покорную непокорность и посадили. «Слава Богу, жену и сыновей не тронули». Срок он отбывал на Урале, все время на одном месте, на реке Чусовой. «Слава Богу, не в Березниках, не на химкомбинате». Урал его принял, как принимал он беглых, рискованных и упрямых. В сороковом году, отбыв свой десятилетний срок в лагере, он приехал на завод Кын — детдому нужен был опытный мельник. Через год сошелся с одинокой женщиной, чистенькой и молчаливой кержачкой. Теперь они жили вместе: «Она с Богом, а я со своей памятью. Так что нас четверо. А со скотиной — так девять душ: корова да три овечки». И выходило, что память свою он почитал за отдельную душу.

Больше всего дорожил Иван Наумович своей честностью: «У нищего, кроме честности, ничего нет». Второй в этой табели шла телесная чистота. Он мучился, если рубаха у него оказывалась в чем-то вымазанной — например, в мазуте. И ватник, у всех мельников забитый мучной пылью и кое-где проклеившийся насквозь, залоснившийся, у него всегда был чистый. На бровях, на ресницах мучная пыль. Он сам смеялся, говорил: «Работать некогда, то и дело отряхиваюсь».

И вот этот человек воровал для меня зерно. Придет какая-нибудь помольщица с полумешком пшеницы — он сунет руку в зерно, чтобы проверить влажность, немного в кулаке утаит и сунет в карман, а потом высыплет в мою прожорливую кастрюльку.

Мельничному делу он меня обучил. Я даже молол, когда он хворал. И жернова насекать научил. Кроме того, что насечка зерно рушит, она еще плавно подвигает муку к краю жернова. И когда я уже не работал на электростанции, а был свободным столбовым монтером, я приходил к нему — он был мне опорой. Домой в Белоруссию он ни разу не ездил, опасался принести беду детям. Влюблен был мельник в реку Чусовую и в девушку Феодосью, и все это знали.

— Когда она приходит, у меня как будто снова семья в полном составе, — говорил он. — То ли она мне внучка, то ли дочка, то ли я снова парень…

Привезли Феню в детдом тринадцатилетней из глухой деревни. Она была то ли рысь, то ли теленок. И еще была безграмотной — писать совсем не умела, читала едва по складам. Училась она в девятом, а лет ей было — девятнадцатый. Так что воспитанницей она уже не могла быть, но жила в детдоме с разрешения большого начальства. И была она аварийной силой. Заболевал кочегар на локомобиле — бросали туда Феню. Надобился вдруг молотобоец — Феня шла кувалдой махать. Но основная ее работа была монтером на электростанции во вторую смену, когда работал всего лишь один генератор, давал освещение. На электростанции она делала уроки и за себя и за неучтенное количество девчонок и мальчишек. Они толкались вокруг нее, как поросята. Теперь ей на шею повесили еще и меня.

На следующий день я пошел в баню. Как во всех небольших поселках, баня была одна: один день — женская, другой день — мужская. Когда я вошел, старики заторопились — в основном мылись старики да мальчишки. Кое-кто даже перекрестился. Мне освободили не просто место, а большое пространство, я, наверно, полбани занял. Но тут набежала орда пацанов-детдомовцев. Они проорали все, что обо мне думают. Побожились, что «выковыренные дистрофики» бывают еще хуже, но те неходячие. Один из них, подбородок острый и острые скулы, похожий на волчонка, предложил мне потереть спину.

— Дистрофики незаразные, — сказал он местному населению. Но у тех было на этот счет свое мнение, думаю, они и детдомовцев считали на круг заразными.

— Небось сто лет спину не мылил? — спросил мальчишка. Звали его Скула. Роль в драме-комедии выпала и ему, причем ответственная.

Шел апрель. В Ленинграде еще умирали люди, у которых дистрофия погасила волю к жизни на клеточном уровне. Я не вспоминал блокаду. Если меня наводили на разговор о ней, я уходил буквально, чтобы не отвечать на вопросы. А вопросы были самые дикие: «Правда, в Ленинграде люди людей ели? Правда, на рынках студень из человечины продавали?»

Мне никогда не снилась блокада. Но один раз мне приснилась печурка, только печурка в темном пространстве. Это было в полевом госпитале. Госпиталь располагался в селе, а палата, где мы обитали, в бывшем коровнике, помытом и побеленном. Я сидел у чугунной печки. Топилась она кизяком и хворостом. Я уснул. И мне приснилось, что на печурке блокадной сгорает что-то живое. Я пытаюсь это увидеть, спасти, но вокруг тьма. Я пытаюсь найти какое-то

подтверждение тому, что печурка блокадная, пытаюсь проникнуть сквозь тьму, хочу разглядеть «Галактику» Дянкина. И темное пространство сна преобразуется в машинный зал кынской электростанции. Я просыпаюсь от уже нестерпимого запаха горелого мяса — это моя рука, раненая, нечувствительная к боли, прислонилась к раскаленному чугуну.

Даже во сне, даже через боль, растормаживающую сознание, мозг не захотел пропустить меня в блокадную память, только в память о Кыне. Блокада не конструктивна — я говорю о чувствах, — потому и реконструкции не поддается. Можно написать пьесу по поводу блокады, но не о страданиях и не о ее сути. Драматургия — самодвижение. Блокада — неподвижность. Суета подмешивает в рассказ о блокаде желание оправдаться. Также и обилие деталей. Глаз не выхватывал мелочей — глаз держался за сущности: хлеб, печурка, вода, дрова…

Горе, боль были притуплены — иначе разве кто-нибудь это выдержал бы.

— Студентка милая Мария… Ах да, вы просили не беспокоить.

Моя блокадная судьба ставила меня среди людей уральского поселка в положение то ли холерного больного, то ли прокаженного. Даже Клаша, моя квартирная хозяйка, уже привыкшая ко мне, кривилась, когда я касался ее детей. А ее свекровь прямо отталкивала их от меня и, не стесняясь, говорила: «Мало ли чего он из Ленинграда своего притащил?»

А во мне ломался лед, все хрустело, гукало, трещало. Весенний воздух входил в меня и вычищал сажу коптилки, сажу галош, башмаков и разобранных на дрова квартир. Я еще харкал черным, но уже дышал легко. Я стал делать приседания и отжимы от стены, от пола мне было еще не отжаться. Я долго дрожал после упражнений, и если требовалось бежать сбавлять обороты турбины, то бежал на негнущихся ногах. Палку, которой я ворочал штурвал, я вскоре выбросил.

Феня меня хвалила молча. Странная, в общем, она была. Иногда придет с куском хлеба, посыпанным сахарным песком, — учит свои уроки, ест и со мной разговаривает немногословно. Мол, ел ли ты уже? Как себя чувствуешь? Начал ли книжки читать?

Я долго не мог книгу взять в руки. Может быть, потому, что я их так многосжег? Но скорее всего — не читалось. Не волновали меня чужие страсти икнижные смерти. Раскрою книжку, а в глазах моих Марат Дянкин со своей«Галактикой»; Изольда — у меня еще Изольдины деньги были, я на них постногомасла купил; женщины, везущие своих мертвецов; замерзший человек,глядящий на меня из сугроба; девочка на шпалах. Сколько их уже во мненакопилось. Голова у меня начинала кружиться, я закрывал книгу и засыпал.

Радио — другое дело. Радио как пульс, оно не выключалось по всей стране: «Наши войска после продолжительных упорных боев оставили…»

А эта Феодосья сидела себе и лениво, как телка, жевала хлеб. Я у мельника спросил: мол, почему так — девушка она хорошая, отзывчивая, приходит, чтобы страховать меня, — мало ли что со мной, хиляком, может произойти. Но почему никогда не разломит горбушку пополам? Это же так естественно.

— Такое у кержаков не принято. В этом они на казаков похожи. Ты для нее чужой. Ты хоть замерзни у кержацкого порога — в тепло не позовут. Вот если проситься будешь слезно да Бога помянешь — в сени пустят. Она же не виновата — так воспитали.

На следующий день я выкупил свой хлеб. Нарезал толстыми ломтями, круто посолил, а когда пришла Феня, сказал:

— Давай поедим с тобой хлеба с солью, — и пододвинул к ней горбушку.

Мой кусок она, по-моему, даже не заметила. Она сказала: «Давай поедим», — и достала из портфеля свой хлеб. Она ела с достоинством, я же чавкал и гримасничал.

— Не балуй, — сказала она. — Ишь ожил. — И я почувствовал, что я действительно ожил.

— Я еще стойку на руках делать буду! — сказал я.

Феня спросила:

— Зачем?

— По всем статьям ты, девка, хороша, но дура, — сказал я.

Феня подумала, ее чистый детский лоб, не пораженный оспой переживаний и печали, не омрачился, не построжал, но оставался так же чист и гладок.

— У нас пацаны говорят: можно и по сопатке.

— Это потом, — согласно улыбнулся я. — Когда распустятся листы берез.

Когда распустились листы берез, я уже на электростанции не работал, там работала тихая кашляющая женщина с Украины.

Я работал на паровой машине кочегаром. Машинист называл ее красивым словом — локомобиль. И гордился, что машина изготовлена на Людиновском локомобильном заводе Калужской области, построенном, как и завод Кын, легендарным Демидовым.

Локомобиль был стационарный, с низко расположенной топкой. Нужно было, открыв чугунные дверцы, стоя перед ничем не защищенной огненной пещерой, уходящей вниз, где скручивался, вздувался и опадал белый ревущий пламень, швырять туда двухметровые березовые дрова, выбивая из огненного клубка искры и громкий рев. Дрова так и назывались — швырок. Попробуй швырни, если ты из блокады.

Машинист, хоть и знал, что ему прислали не Илью Муромца, громко кашлял, осматривая меня.

— Не возьму! — вдруг закричал. — У меня тут огонь, жар! Тут вмиг!

— А как же быть? — спросил я.

— А я под статью не согласен. Есть охрана труда.

Пререкаясь, мы накидали в топку сухих специальных растопочных дров — на ночь, чтобы высохли, их укладывали на печь. Машинист плеснул на них керосином из жестяного бидона. Кинул в печь подожженные протирочные концы.

Негромкий хлопок. Дым, похожий на мокрый пар. И огонь загудел.

Машинист пошел смазывать машину из долгоносой жестяной масленки.

А я… врагу не пожелаю такого дня.

Двухметровые березовые швырки крутят дистрофика на отшлифованных подошвами до блеска чугунных плитах перед самым жерлом печи. Поддув был так устроен, что основной жар, конечно, шел в котел локомобиля, но и жерло топки обдавало до спекания бровей. Швыряешь бревно в клубок огня, а клубок этот даже не притухает, только поворачивается, будто подставляет тебе бока. Одно бревно, другое, третье, и все они тянут тебя за собой. Живот сводит от

страха: будешь падать — рукой упереться не во что. На фронте, когда мне бывало страшно, я вспоминал мои первые дни у локомобиля и успокаивался. Умирать в блокаде было тоскливо, печально, но страха не было, а тут… Главное, что этот огонь тянет тебя, как тянет с высоты. Хочется в него сигануть. И улетит твоя горячая душа, может быть, к черту, и хватит уже мучиться. Но я уже ожил, а жизнь, она запрограммирована на спасение самой себя, на выживание.

Машинист ходит, как мне тогда казалось, в отдалении в розовом тумане, — это он специально, это он показывает, что снял с себя ответственность. А я с себя ответственности снять не могу. Мне надо жить — стало быть, нужно ставить себя на ноги. Любезный Иван Макарович, начальник производства, сказал мне: «В сало пошел…» Ну, до сала мне было еще даже в мечтах километров тысячу, но начальству виднее. Я швыряю в топку плаху за плахой. Это плахи моей свободы.

Мне тяжело, я устыжаюсь, что так быстро забыл блокаду, людей, бредущих по снежным улицам, копоть, свисающую с потолков и карнизов, отвалившиеся заиндевелые обои. Это должно жить во мне вечно, должно быть отпечатано в каждой клетке моего организма, в каждой светочастице моей души. Холод и лед. И люди блокады, они идут кучными группками, они деловиты и энергичны. Выживание — коллективное дело… Жар топки тянет, как тянет спрыгнуть с крыши, с вершин Кавказа. Правая нога моя мелко-мелко дрожит. В лицо, как кипяток, плещет жар. Кто-то хватает меня за шиворот и отталкивает в сторону.

Когда я прихожу в себя, надо мной стоят мельник и машинист.

— Ты что, не мог подменить парня на пару минут? — спрашивает мельник. Он бледен, он может ударить.

— Однако я парня спас. Значит, не зевал. И вообще, ты мне кто? Ты мне каторжник.

Мельник успокоился. Принялся спокойно швырять дрова в топку. Набил ее доверху и дверки закрыл.

— Теперь хоть пар постоит, — говорит машинист.

— И тебе лень было ему помочь? Спина не сгибается?

— Я в это подсудное дело не вмешиваюсь. Пусть решает судьба и Иван Макарович.

— Однако ты его спас.

— Слаб человек. — Машинист стар, старше мельника, и желт лицом. Раньше он работал на Березниковском химкомбинате, там все желтые.

Мельник ушел. Пришла Феня. Машинист встретил ее радостно, хлопотливо.

— Феодосьюшка, чего они тебя ко мне не назначат? С привидениями у огня нельзя — жар. Привидениям возле воды лучше.

Феня подкинула поленьев, спросила машиниста:

— С чего вы не любите Ивана Наумовича?

— Кулак. С чего же его любить? Я, к примеру, тоже сидел, но я за пьяную поножовщину. По молодости — горяч был. А он — кровопийца беднейших слоев.

— А его вы почему невзлюбили? — Феня кивнула на меня.

— А его я никак. Я его и не вижу. Говорю — привидение. Может быть, от него мокрицы заводятся.

До конца смены Феня проработала со мной.

Сейчас, глядючи на молодых атлеток по телевидению, я говорю себе: «Безусловно, они красивы, даже толкательницы ядра, но Феодосья была бы среди них как Диана среди коряг». Она играла двухметровыми толстыми бревнами, которые я отодвигал в сторонку, поскольку были они мне более чем непосильны.

На следующий день Феня тоже пришла. Я попросил ее дать мне самому отстоять смену. Говорю — сиди, уроки учи. Но не сдюжил.

Феня еще дней десять приходила. Затем локомобиль остановили — в топке свод прогорел. Не от моих трудов — от времени.

Разобрали мы с машинистом печь. Починили стены, затерли огнеупорной мастикой. Начали свод выкладывать по лекалу. Дело нехитрое — в подмастерьях-то.

Выложили мы с машинистом свод, выложили портал. Стали печь сушить. Потихоньку протапливали. А потом и затопили.

Тут в поселок и прислали поляков, двух здоровенных молодых мужиков. Меня от кочегарского дела отстранили — мужики есть. Перевели на волю, в столбовые

монтеры. Когти через плечо, заявки от населения в карман — и пошел на ремонт и профилактику электропроводки. Но вот что странно: печную трубу починят, крыша прохудилась — залатают, забор накренился — подопрут, электрические провода пересохли, изоляция сыплется, нитяная оплетка истлела, медь голая — ноль внимания.

Со столбов мне видна была Чусовая. Красивая река, темная, крученая, громкая. Меня все сильнее тянуло на высокие скалистые ее берега.

Со столбов я и сделал одно полезное для себя открытие. В поселке, в домах, было мало радиоточек. Война гремит, последние известия не радуют. Народ набивается, тревожный, к моей хозяйке Клаше Иноковой, спрашивает: «Клаша, как там на фронте? Чего муж пишет?»

— Давайте я вам радио проведу, — говорю им.

— Так небось дорого, парень?

— Чего ж дорого? Я вам проведу и зарегистрирую. Потом будете в контору платить раз в квартал.

— Так-то оно конечно. А враз — за проводку?

Тут я почувствовал, что в руки мне упала жареная курица.

— Ну, стоимость репродуктора. — Кивают. — И за работу — сколько дадите…

— А сколько дать?

— Ну, котелок картошки. Пузырек масла. Огурец.

— А к огурцу? — Ждут чего-то, смотрят на меня печально. И тут я понял.

— Непьющий я, — говорю. — Мне бы поесть.

Дело радиофикации пошло быстро и для меня с большой пользой, мне не только давали картошку, шаньги, пельмени, иногда даже сало, но уже потом, завидев меня на столбе, кричали: «Монтер, зайди, щи поспели».

И все равно даже радиофицированные женщины набивались к Клаше и спрашивали: «Клавдия, как там на фронте-то? Что муж пишет?»

Клаше на постой дали двух поляков, Збышека Валенко и Томаша Вишневского из Варшавы. Збышека я уже видел, его привел начальник производства на паровую машину, когда меня подменяла Феня. Я тогда на табуретке сидел, отдышивался. Феня была разяще прекрасна. Но и Збышек не в замазке — с

глубокой ямкой на подбородке и разбойничьими черными глазами.

Збышек меня узнал сразу, предложил «Беломор». Но я не курил. Какой постный герой — не пьет, не курит. Все дурные привычки у меня появились уже после войны, а тогда мне шел семнадцатый год.

Клаша на Збышека озорно смотрела, и он ей говорил: «Пенькна пани — красивая девушка».

Свекровь Клашина ходуном ходила:

— Какая девушка — двое детей, муж на фронте.

— Красивая пани — всегда девушка, — говорил Збышек, и все смеялись, даже свекровь смеялась.

В доме кроме шуток и смеха появилось чувство тревоги, ожидание какой-то шальной беды.

Через три дня я наткнулся вечером в сенях на целующихся Збышека и Клашу. Клаша стояла в углу, выставив колено, и отталкивала Збышека:

— Отстань, поцарапаю.

Я выскочил из сеней на улицу. Вслед за мной и Збышек вышел.

— Кошка, — сказал он. — Если да, то не надо когтей.

— А если нет? — спросил я.

— Какое — нет, — Збышек фыркнул. — Я об нее все ладони обжег.

Подошел Томаш. Послушал и объяснил мне, кивнув на Збышека:

— Юрный пан, — в его интонации, хоть она и казалась бодрой и, может быть, даже как бы восхищенной, отчетливо прослушивались презрение и усталость.

— Больше куражу, Томаш, — сказал ему Збышек. — Еще Польска не сгинела. Еще вудка не сплешняла…

Зачем их прислали в Кын, поляки сами не знали. Они знали, что где-то в России должны организовать большие лагеря для поляков. Там будет формироваться армия, чтобы идти на Гитлера.

Я еще несколько раз натыкался на Клашу и Збышека, и всегда Клаша стояла, вжавшись в угол и выставив колено вперед. Свекровь шептала ей за печкой, что убьет ее, если пузо увидит: мол, сын ее на фронте не для позора. Клаша так же

зло отвечала, что у нее у самой голова есть и все прочее, чтобы этого не допустить. И обе вздыхали — свекровь тоже была не старая.

— Ох какой змей, — сокрушалась она с каким-то стоном. — Бес черный. Глаза-то варнацкие.

А Збышек, доведенный Клашей действительно до черноты, разрушал топку локомобиля, швыряя в нее дрова, как если бы он швырял камни в голову Гитлера.

И вот именно в этот самый момент наивысшего Збышекова горного кипения и страдания я увидел его со столба под вечер на Чусовой с Феней. Он вел Феню за руку и торопился. И она шла за ним. А когда он вдруг, притиснув ее к березе, впился ей в губы губами, а левой рукой попытался смять ее несминаемую грудь, у Фени подкосились ноги, казавшиеся всем такими незыблемыми. Она, наверно, упала бы. Но тут из кустов вышли детдомовские пацаны и девчонки во главе со Скулой.

— Фенька, хватит, — сказал Скула. — До края дошла, стерва. Иди домой. А тебя, пан, если еще раз с Фенькой увидим, порежем. — На Скуле был надет пиджачок, и вот из рукава этого пиджачка выпала ему в ладонь финка. — Кишочки вынем. Разумеешь? — Скула был из Смоленска. Он был эрудит.

Феня заслонила было Збышека собой, но Скула мирно сказал ей:

— Пошла, Фенька, пошла. Уроки делать. Мы пана сегодня резать не будем.

Феня побежала. Я со столба слез, оказался на ее пути. Возле меня она как бы споткнулась.

— Сволочь! — сказала. — Дистрофик вонючий. Падаль!

Збышек мимо меня прошел молча. В его черных глазах, как в камне-кровавике, горел мрачный красный огонь.

— Они думают, ты нас навел, — сказал Скула. — Не вовремя ты подсунулся. На пана нам наплевать, но Фенька тебе не простит. Она дурная. Что в голову себе заберет, не своротишь. Феньке говори не говори… Нас мельник натырил — сказал, что пан ее водит… — Скула закашлялся. Мальчишки-детдомовцы курили крапиву и мох.

Збышек весь вечер молчал, глаза от меня отводил. Отводил он глаза и от Клаши. Томаш позвал меня на улицу и, прикуривая, попросил:

— Ты Клаше про ту девоньку не говори, про Феню. Я предупреждал Збышека.

Думаешь, зарежут?

— Полезет — зарежут. Она им как мать и как сестра. И как знамя надежды.

— Какое ж из девки знамя? Девка — она и есть девка.

— Девка — может быть. Но Дева!..

Томаш долго разглядывал меня, прищурясь. Долго курил, потом сказал горько:

— Дева, конечно. — Он лучше Збышека говорил по-русски. В Варшаве у него была жена и две дочки-школьницы. У него была их фотография. «Цурки мои», — говорил он. Он был капралом. Збышек был рядовым. Оба они давно подали заявления, что желают воевать с фашистами в рядах Красной Армии.

На следующий день я пришел к мельнику, рассказал ему о вчерашнем.

— Потерпи, — попросил он. — Не говори ей. Тебе легче. Она сейчас всякую любовь в ненависть обращает.

На каком-то пути, похожем на лабиринт, моя блуждающая эгоистическая душа набрела на желание спросить у мельника, знает ли он что-нибудь о своей семье. И я спросил.

— Нет у меня семьи, — сказал мельник. — Сыновья еще тогда от меня отказались. А жена давно умерла. — Ни обиды, ни желчи в его словах не было, и потому естественно прозвучали его с безразличием сказанные слова: — Сыновья воюют на фронте или в партизанах. Где же им быть. Им можно, они красные. А мне нельзя. Я, видишь, без родины, поскольку родина, она, видишь ли, парень, классовая. Не Богом, не отцом с матерью данная, а каким-то, парень, классом.

— Вы просились?

— Умолял!

И вот этим странным путем я допер, что есть наказание пострашнее тюрьмы — лишить человека права защищать свою родину.

— Она уже давно ко мне не приходит, — сказал мельник. — Как этот панок начал ее водить, так ей некогда стало. Ясное дело — время ее подступило. Она же в голову не берет, что на виду у всех. Ты бы что сделал, будь ты ее отцом?

— Всыпал.

— Ей!

— Если отец?

— Может, родному она и позволила бы, — сказал мельник. — Единственно, кто ее мог одернуть, — пацаны.

Вот, собственно говоря, и весь инцидент.

Збышек и Томаш вскоре уехали под Рязань, в Селецкие лагеря, где зимой сорок третьего года была сформирована дивизия имени Костюшко. Клаша на огороде, опершись на лопату, плакала. Про Феню она не знала, думала, что пан Збышек полюбил ее горячо. Что он там ей нашептывал, зажимая в темных углах?..

Феня меня ненавидела. Ее детский лоб покрывался красными пятнами, когда она со мной сталкивалась. Однажды она избила меня ведром. Так страстно, что, перепади эта страсть Збышеку, небось был бы тот час для юрного пана звездным.

Завпроизводством Иван Макарович позвал меня поработать в кузнице молотобойцем. Молотобойцами работали Томаш и парень-десятиклассник из детдома. Десятиклассника в мае призвали, не дав ему даже сдать экзамены на аттестат зрелости. Томаш уехал, а нужно было скобы ковать. Я уже кувалдой махать мог, но недолго. Помашу чуток — и одышка.

И кузнец, и Иван Макарович — оба хромые — надо мной посмеивались: мол, мясо наел, а силы-то где? Наверно, ленинградцы все слабаки. Потом они заявили, что скобы будут особой закалки, нужно совковое масло.

— Сбегай к кладовщице Дарье Никитичне, попроси полведра. Запомни, не автолу, а совкового масла. Исключительно. — Кузнец подал мне ведро, и я полетел в кладовую.

Дарьи Никитичны, смешливой женщины лет сорока пяти, не было — была Феня.

— Ты, что ли, за кладовщицу? — спросил я.

— Ну.

— Дай полведра совкового масла.

Она взяла ведро и, обычно румяная, вдруг побледнела до меловой хрупкости, даже губы будто известью покрылись.

— Чего ты спросил?

— Полведра совкового масла.

И тут я получил ведром в лоб, да так, что с катушек слетел и вывалился из кладовой. Тут же вскочил и, заслонив голову рукой, помчался в кузницу. Феня бежала за мной и уже в кузнице трахнула меня по голове еще раз.

— Я тебе дам, дистрофик проклятый, совкового масла, захлебнешься!

— А Дарья Никитична где? — спросил кузнец.

— У нее дочь захворала. Попросила меня подменить… Это вы его подучили? И вы негодяи. Старые, а негодяи, — сказала она и ушла, так и не порозовев лицом.

Я пошел за ней. Я уже понимал, что не удался какой-то розыгрыш, но спрашивать у кузнеца и начальника производства мне не захотелось. Я пришел к мельнику.

— Что у тебя с головой? — спросил он.

— От любви до ненависти один шаг, а вот от ненависти до любви — дорога без конца. — Я рассказал ему, как меня Феня отделала.

На голове у меня к тому времени уже волосы отросли. Сначала на голом черепе появился мягкий пушок, он был похож на сияние, такой пушок бывает на щенках. Я его сбрил. Новые волосы выросли крепкие, но я их тоже сбрил. Теперь на голове густо перло что-то похожее на проволоку.

Змеилась, распахав эту поросль, длинная рана с белыми краями — крови вытекло мало.

— Совковое масло — на местном наречии — мужское семя, — объяснил мельник.

Мне стало жаль Феню.

При встрече она отворачивалась от меня или опускала голову. От Скулы она знала, что не я навел пацанов на Збышека, но в чем-то я был перед ней виноват. Это была какая-то непростая вина.

Первого января 1943 года я пошел по призыву в армию. Провожал меня мельник.

— С Богом, — сказал он.

Он долго махал мне. И была дорога снежная, неширокая. И мешок мой был легок. На войну с тяжелым мешком не ходят.

Так я и иду по этой дороге с легким мешком за плечами. Лишь голова становится тяжелее от груза памяти, который нельзя уложить в какую-то уже привычную форму.

На станции Кын ко мне подошла Феня.

— Я не тебя жду, — сказала она. — Я в Свердловск. В госпиталь санитаркой. Не могу я здесь больше…

Мой поезд пришел раньше. Она подсадила меня в вагон. Губы ее хотели что-то сказать: не разум, не сердце, но только губы. Я понял их.

Память моя — как лес. Все деревья в моем лесу полые. В них возникает звук, от низкого рокота до высоких смычковых нот.

Все кусты, и все травы, и все цветы… От них задыхаешься…

А Збышека я встретил на войне. Случилось это уже после освобождения Варшавы.

Наша машина остановилась у какого-то польского поместья. Пруд большой перед домом. На днях был сильный ветер, и снег с пруда сорвало. Лед светился нежно-бирюзовым светом. И вот все мы разом, не сговариваясь, торопливо срезали в постриженных кустах по палке и бросились на лед. На льду из ватников сложили ворота. Шайбой нам служила граната с вывинченным запалом. Хоккей! Мы так торопились, так орали. Мы играли без вратарей. Каждый хотел гранату по льду гонять, а стоять в воротах никто не хотел. Вдруг нас стало вдвое больше. На берегу пруда, рядом с нашей машиной стояли две «тридцатьчетверки» с польскими орлами.

Мы разделились на команды. Выбросили гранату в игру.

И тут мы столкнулись со Збышеком. Я и он — нос к носу. Мы сразу узнали друг друга. Мы с маху обнялись и упали на лед. Мы орали. Мы махали руками. Мы шлепали друг друга по плечам…

Подо льдом стояли и шевелили жабрами и хвостами полуметровые красные рыбы. Они подплывали. Их становилось все больше.

День был солнечный, белоснежный — весь он, от небес до нас грешных, орущих на льду, напомнил мне хрустальное яйцо в медленном, но все убыстряющемся

вращении.

Еще были живы и Егор, и Паша Перевесов, и Толик Сивашкин.

Мы играли в хоккей гранатой.

День был солнечный и белоснежный…

Две маленькие девочки мне объясняли: «Надо взять синего-синего, прибавить немножко белого-белого и получится голубое-голубое…»

И она вошла. Писатель Пе ей дверь открыл, — ошеломляюще молодая, тощая, с головой, похожей на осенний осиновый веник.

Поздоровавшись, она вынула из сумки хрустальное яйцо и положила его на стол.

— Бабушка говорит, что вам оно сейчас нужнее.

Я обнял ее. Плечи расправил. Писатель Пе печально заварил чай грузинский.

Воробьи за окном чирикали легкий птичий мотивчик.

Ее звали так же, как бабушку.

Наталья знала, — я жду ее молодой. Во снах и мечтаниях девы являются нам молодыми. Конечно знала — на небесах стариков нет.